

[Polaris]



КНИГА СЕМИ ПЕЧАТЕЙ

Фантастика Серебряного века

Том VI

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLXVI



Salamandra P.V.V.

КНИГА СЕМИ ПЕЧАТЕЙ

Фантастика Серебряного века
Том VI

Подготовка текстов, составление
и комментарии
М. ФОМЕНКО и А. ШЕРМАНА

Salamandra P.V.V.

Книга семи печатей: Фантастика Серебряного века. Том VI.
Подг. текстов, сост. и комм. М. Фоменко и А. Шермана. —
Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 328 с., илл. — (Polaris: Пу-
тешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLXVI).

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается *terra incognita* — белым пятном на литературной карте. Не мало замечательных произведений как видных, так и менее известных авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении.

Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел. Фантастическая литература эпохи представлена в ней во всей своей многогранности: здесь и редкие фантастические, мистические и оккультные рассказы и новеллы, и образцы «строгой» научной фантастики, хоррора, готики, сказок и легенд. Читатель найдет в антологии и раритетные произведения знаменитых писателей, и труды практически неведомых, но от того не менее интересных литераторов. Значительная часть произведений переиздается впервые. Книга дополнена оригиналыми иллюстрациями ведущих книжных графиков эпохи и снабжена подробными комментариями.



КНИГА СЕМИ



ПЕЧАТЕЙ

П. Зайкин

ПРОКЛЯТЫЙ ЗАМОК

(Быль)

Из рассказов приятеля

I

Была ночь.

Осенний ветер свободно гулял по полю, шуршал в бурынях, уцелевших на межах, захватывал мелкую землю с рылья* и сек ею лица путников, замешкавшихся в безлюдной, неуютной степи.

Я ехал на перекладной. Изморенные лошади с трудом тащили почтовую тележку, немилосердно прыгавшую по колоти**. Ямщик дергал их, бил кнутом, кричал, но это помогало слабо. Лошади брались дужней, но через минуту снова едва тащились и останавливались, как вкопанные, тяжело дыша. В темноте можно было разглядеть, как ветер трепал их белые гривы и хвосты и относил в сторону вожжи, точно желая вырвать их из рук ямщика.

Порой откуда-то из окружающей нас непроглядной тьмы срывался резкий, жесткий снежок и колол лицо словно булавками.

— Долго еще? — вероятно, уже в десятый раз спрашивал я ямщика. Но ветер отнес мой голос в сторону. Ямщик не слышал. Я ткнул его в спину:

— Долго?

Он обернулся ко мне и, придерживаясь за грядку тележки, прокричал над самым ухом:

— Ось як проминем проклятий будинок***, то застанется верстров пять.

— Что проминем?

Но ямщик, очевидно, не расслышав моего вопроса, ответил: «Эге-ж!» — и повернулся к лошадям.

Скоро дорога стала сворачивать круто в сторону, и среди темноты ночи зачернело что-то еще более темное, и где-то высоко над землей замелькал тусклый свет едва освещенного окна.

* Пашня (*Здесь и далее прим. авт.*).

** Замерзшая грязь.

*** Дворец, замок.

Ямщик снова повернулся ко мне и крикнул.:

— Ось, дивиться, проклятий будинок!.. Эй вы, ледащо!
— обрушился он на лошадей и погнал их рысью.

Справа, на косогоре, мимо нас потянулось какое-то большое двухэтажное здание, черное, мрачное; на всем его огромном фронтоне светилось только одно угловое окно, и от этого оно казалось еще страшнее и мрачнее. Кругом него ветер выл в голых сучьях старинного сада, заставляя тоскливо скрипеть старых великанов, и где-то под самой крышей бился и гремел кусок оторванного железа...

Стало жутко, особенно когда мы въехали в затишье дома. Ни звука людского, ни лая собак. Какой-то островок могильной тишины и вокруг него вой яростного ветра. Только окно светится, как умирающий глаз таинственного чудовища.

— Погоняй!

Но ямщик спешил и без того. И лошади рысью волокли по колоти таратайку, точно наше настроение передалось и им...

Дорога стала постепенно спускаться вниз, и скоро мы въехали в глубокую балку. Здесь было тихо и тепло; ветер выл где-то вверху, над нашими головами, долетая до нас лишь отдельными, короткими и слабыми порывами.

Мы остановились.

— Что ты мне говорил про этот дом? — обратился я к ямщику.

— Що? А ось...

Он набил трубку, не спеша закурил ее в затишье и, повернувшись вполоборота ко мне, рассказал следующую грустную историю, которую я предлагаю вашему вниманию в обработанном виде...

II

Много лет тому назад там, где теперь пугает запоздавших путников руина старого жилья, стоял лицом к дороге

красивый замок с белыми колоннами на фронтоне. Перед замком были разбиты узорные цветники, дорога была обсажена стройными пирамидальными тополями, а с боков и сзади замка, по косогору, зеленел густой парк, в котором зеленые лужайки чередовались с вычурными куртинами деревьев. За парком, по ту сторону косогора, тянулся фруктовый сад, кончавшийся обрывом в балку. На обрыве стояла резная беседка. Внизу, под ней, на дне балки и по склонам ее, залегал курчавый дубовый лес, — место охот старого князя, владельца усадьбы, а за нею, насколько глаз хватал, тянулась зеленая степь, по которой стелился белый ковыль да гуляли стадами журавли и дрохвы. В красивом доме с белыми колоннами жил князь с супругой, высокой, стройной, чопорной дамой, окруженные бесчисленной челядью, да летом приезжала на каникулы юная княжна, институтка, учившаяся в одном из больших южных городов, поближе к родным. Было у князя еще двое сыновей в гвардии, но жили они много лет в Петербурге, почти никогда не наиведываясь домой. Писали только. Об этом знали все, ибо если князь внезапно вызывал старосту и делал распоряжение насчет денег, — значит, от панычей пришло письмо.

В то лето, когда случилась эта грустная история, в доме старого князя царило особенное оживление.

Молодая княжна окончила институт и ждала к себе гостей-подруг из губернии да, кроме того, со дня на день ожидали приезда гвардейцев-князей из Петербурга на побывку. Отворялись и приводились в порядок никогда не открывавшиеся запасные покои княжеского замка, ремонтировались многочисленные экипажи для предстоящих веселительных поездок, расчищались в парке площадки для игр.

В старом замке, на дворе, в саду хлопотливо засуетились слуги и рабочие, и старая усадьба ожила.

Но она ожила бы теперь и без этой суэты. Ее оживляла молодая княжна, как веселая птичка, прыгающая с ветки на ветку, оживляет в майское утро тишину цветущего сада.

Ее звонкий голосок звенел, как серебряный колокольчик, то в роскошных залах княжеского палаццо, то в конюшнях, где стояли красивые с блестящей шерстью разномаст-

ные кони, тянувшиеся навстречу ей своими изящными мордочками с нежными, трепещущими губами, то в парке, то в саду над обрывом. Ее светлое, легкое как облачко платье неуловимо быстро мелькало то среди строгих, тяжелых драпиров зал и гостиных, то в яркой зелени парка.

Старые и молодые с восторгом глядели на юную княжну и говорили:

— Птичка!..

При виде ее огонек восторга и ласки вспыхивал даже под суровыми, нависшими бровями старых рабочих людей.

Когда солнце становилось на поддень и начинало проникать в самую гущу парка, юная княжна с букетом простых, но роскошных своей простотой полевых цветов шла в беседку над обрывом.

Там она сбрасывала свою легкую широкополую шляпу, садилась на перила над самым обрывом и часами смотрела вдали, на волнующуюся ковылем степь.

Она так была поглощена своими мыслями в эти минуты, что не заметила бы, если бы кто-нибудь подкрался к самой беседке и стал смотреть на нее.

А подкравшийся увидел бы стройную молодую девушку с нежным тонким профилем, ямочками на юношеских щеках, большими, широко раскрытыми голубыми глазами под резкими дугами темных бровей и тяжелую каштановую косу, змеей вьющейся по плечу.

Девушка смотрела в степь, но она не видела ее, ее курганов, ковыля, ее взгляд был устремлен куда-то дальше, к самому голубому небу, шатром опрокинувшемуся над зеленою степью.

В нежном эфире его мягко тонул ее взгляд, а в воображении мелькал чей-то неясный прекрасный образ, как отблеск тех смутных волнений и желаний, что зарождались среди этой тишины сада в ее молодом сердце.

И сад, и курчавый лес внизу, и степь, и небо были прекрасны; радовали взгляд и пестрые веселые бабочки, нежили слух счастливые песни птиц, но вся эта прекрасная жизнь, — она смутно чувствовала это, — шла как-то стороной, сама по себе, ничем не связанная с нею, и в душе ее рождалось

желание собственного искрящегося трепетного счастья. Но чего-то не хватало для этого. Чего?

Она не знала... И легкая дымка грусти окутывала ее.

Она вздыхала и, собрав свои цветы, покидала беседку...

III

Юная княжна почти не помнила своих братьев, — так давно они покинули родительский дом, — и знала их лишь по портретам. Судя же по ним, старший был высокий пле-чистый мужчина с красивым, надменным, как у матери, ли-цом, а младший — низкий, слегка сутуловатый, с серьезны-ми, немного грустными глазами.

Княжна узнала их сразу, когда однажды, совершенно неожиданно, к воротам замка подъехала перекладная с дву-мя офицерами.

Портреты верно передавали их лица.

Она первая выбежала к ним и протянула было руки для обятияй, но смутилась. В глазах приехавших и их позах она увидела лишь мужскую почтительность воспитанных людей перед незнакомой дамой, смешанную с чувством любопыт-ства и удивления. В сутолоке большого света молодые кня-зья, вероятно, забыли, что оставленная когда-то ими малень-кая худенькая девочка выросла в прелестную взрослую де-вушку.

— Кто вы, дитя? — мягким, певучим голосом обратился к ней старший.

— Я? — перепросила она смущенно. — Я... вероятно, ва-ша сестра.

— Да! О, в таком случае, здравствуй, моя милая, прелес-тная сестренка! — так же мягко сказал старший князь, за-ключая ее в свои объятия.

IV

С приездом молодых князей шумное веселье воцари-
лось в старом замке.

Игры, пикники, охоты, вечера один сменяли другой.

Душой и украшением их служила молодая княжна, ок-
руженная атмосферой поклонения и восторга, наперебой
выражавшихся ей всеми участниками этих увеселений.

Но чаще, горячей всех и как-то совершенно особенно
выражал ей свои чувства старший брат, и когда он подхо-
дил к ней, брал ее маленькие ручки, нежно целовал их, в
его поцелуях она неясно чувствовала нечто больше родст-
венной нежности и невольно смущалась. Смущалась она
еще и тем, что как-то случайно всегда выходило так, что в
эти моменты вблизи их никого не было, и его родственные
ласки приобретали характер какой-то тайны.

Но если бы она сказала, что эти братские ласки ей не-
приятны, она солгала бы. Они смущали ее, но в то же вре-
мя пробуждали в ней какое-то новое, до того неведомое ей,
неизъяснимо приятное чувство.

День ото дня старший князь делался с ней все нежнее и
ласковее и, одновременно с этим, младший становился все
серьезнее и нелюдимее. Он перестал участвовать в общих
увеселениях и пикниках, отговариваясь нездоровьем, запи-
рался в своей комнате или брал книгу и уходил на обрыв.
Если во время своих уединенных прогулок он встречался с
ними, то быстро сворачивал куда-нибудь в сторону и спе-
шил удалиться.

V

Однажды ночью, когда полная луна заливала и замок, и
парк, и степь своим голубоватым светом, когда деревья стоя-
ли, как завороженные, в чуткой дреме и тишину степи на-
рушали только сверчки да летучие мыши, старший князь

и княжна сидели в беседке над обрывом.

— Ты помнишь, — певуче говорил князь, нежно обвивая ее стан рукой, — эти стихи: «...И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной...» Помнишь?

— Да, — отвечала она, — помню...

— Ведь она блеснула мне, правда? да? — внезапно со страстью прошептал князь, наклоняясь к ее лицу.

— Я не знаю... — нерешительно, смущенно отвечала она.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь...

— Ты любишь меня? — продолжал он прерывающимся от волнения шепотом.

— Конечно, милый! — громко отвечала она, глядя на него открытым ясным взором.

— Да? Любишь?

Он страстно обнял ее и прильнул к ее устам...

— Что с ним? Что он делает? — мелькнуло в ее мыслях.

Ей стало страшно, даже крик готов был вырваться из ее груди, но сладостное, опьяняющее чувство охватило ее, и крик замер на губах....

На заре, когда старший князь пробродив словно в чаду всю остальную часть ночи, усталый, едва двигающийся, пробрался в свою комнату и собирался броситься на кровать и уснуть, на пороге бесшумно показался его младший брат.

— Ты пришел? — тихо спросил он, плотно притворяя за собой дверь.

— Я спать хочу... — упавшим, разбитым голосом отвечал тот.

— Подожди, — тихо сказал младший. — Слушай!.. Я знаю все! Понимаешь?! Ты совершил неслыханное преступление, которому нет названия. Единственное искупление его — твоя смерть. Ты должен умереть...

Он вынул из кармана длинный пистолет и протянул ему.

— Я не могу... — пролепетал старший, беспомощно опускаясь на диван и отстраняя протянутое ему оружие. — Я не могу... Оставь меня... Потом... Уйди...

— Нет, ты должен это сделать сейчас! — уже крикнул младший.

— Уйди...
— В последний раз предлагаю тебе!
— Не могу... Оставь!..

Младший князь молча навел пистолет на брата... Раздался выстрел... Старший князь откинулся навзничь, как сидел. Только легкий хрип вырвался из его груди.

Второй выстрел, гулко отздавшийся в стенах дремавшего замка, и падение человеческого тела свидетельствовали о том, что часть ужасной драмы, начавшейся в беседке над обрывом, кончена...

VI

Взошедшее солнце встретило еще вчера столь оживленный замок в глубоком молчании и трауре.

Смерть точно крылом своим накрыла этот вчера счастливый дом, погасила шум жизни, поселила ужас в сердцах живых.

Ей мало было двух жизней, она взяла третью, разрушив слабое сердце старой княгини. Но и этого было мало ненасытной смерти. Она ликовала, когда молодое тело прекрасной княжны готово было повиснуть на шнурке от вентилятора. Но ликование ее было преждевременно.

Чьи-то грубые дрожащие руки перерезали плетеный шелковый шнурок...

.

В этом царстве смерти, среди потерявшей голову челяди, бродил внешне спокойный, бледный, как смерть, старый князь. Он отдавал короткие, отрывистые приказания. Его волнение выдавали только трясущиеся, побелевшие губы да глаза, глубоко ушедшие в орбиты.

За ним наблюдали, боясь, что он наложит на себя руки, но все его слова и поступки казались столь спокойными и

обдуманными, что добровольные соглядатаи-слуги невольно умерили свою бдительность.

И в то время, когда они думали так, ненасытная смерть уже стояла за плечами старого князя.

В тот момент, когда приехавший священник приступил к панихиде в большом зале замка, князь вышел на высокую террасу со стороны двора, вскочил, как юноша, на каменные перила, прокричал какие-то слова и бросился вниз, на каменный помост.

Через минуту оттуда подняли его бездыханный труп.

Люди, присутствовавшие при этом, уверяли, что последние слова старого князя были проклятием его дому...

VI

С кончины князя благосостояние его вотчины, подточенное широкой жизнью молодых князей, растаяло, как дым.

Уцелела только одна усадьба, из которой во все стороны разбрелись старые слуги. В проклятом доме остались одна молодая княжна да та дворовая девушка, что спасла ей жизнь. Но княжне и она была не нужна. Тихая, с потухшими глазами, бродила она, распустив волосы, по замку и парку, сидела в беседке, целыми часами что-то шептала и пела порой...

Шли годы, десятки лет. Парк зарастал, обращаясь в дремучий лес, замок ветшал и рушился. Зимой мыши набивались в него со всей округи, и по ночам дрались, точили его дорогую мебель, ковры, библиотеку.

В разбитые окна залетали летучие мыши и совы. Старый филин по ночам садился на полуразрушенную трубу и будил ночную тишину своим тоскливым криком.

Из всех бесчисленных комнат замка уцелела только та, где свершилась страшная драма братоубийства. В ней ютились теперь две древние старушки. Одна из них ходила за другой, как сестра, спокойно ожидая, когда придет смерть

и возьмет их.

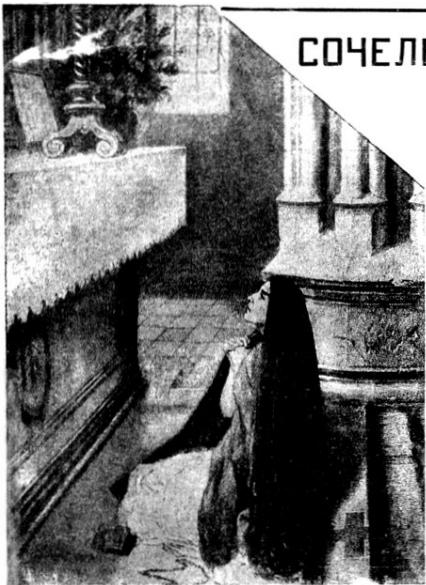
Но годы шли, а она не приходила, точно забыла об обитателях проклятого замка.

И он продолжал стоять в руинах и пугал своим одноко светящимся в ночной темноте глазом-окном запоздавших путников.

Антоний Оссендовский

СОЧЕЛЬНИК В СТАРОМ ЗАМКЕ

Илл. К. Биндинга



СОЧЕЛЬНИКЪ ВЪ СТАРОМЪ ЗАМКЪ.

Рассказъ А. Оссендовскаго. □ Рис. К. Биндинга.

В старинном, как Кейстутов камень, замке княгини Рожковской в сочельник собрались друзья. В большом, сводчатом зале, верхушкой своей касаясь расписанного итальянцами XVII века потолка, горела елка.

Заливая тысячами электрических огней, увешанная блестящими безделушками, разноцветным мишурным дождем, золочеными пряниками, звездами и фонариками, елка отражалась в гладком, как ледяная поверхность, паркете из палисандрового и розового дерева.

Гости не танцевали.

В доме не было молодежи, так как единственный сын княгини, молодой князь Адольф, не мог покинуть, несмотря на праздник, свою дипломатическую службу при венском дворе.

Гости сидели группами, весело и непринужденно беседуя и смеясь.

Молчаливые лакеи ловко и быстро разносili подносы с плодами, сладостями и вином.

Сама княгиня стояла перед большим столом из ляпис-лазури, скованной бронзой, и, нахмурив свои властные брови, говорила почтительно склонившемуся перед ней дворец-кому:

— Когда гости уйдут, — тогда...

— Поздно и опасно, ваше сиятельство...

— Я так хочу! А опасности я не боюсь. Кто посмеет бросить тень подозрения на меня, княгиню Рожковскую?!

И она пошла к гостям, величественная в царственном платье из золотистого, тяжелого, как парча, шелка, покрытого тонкой паутиной кружев.

Лицо ее было гордо, но какая-то тайная прелесть, очарование ума и еще могучей, хотя уже осенней, красоты влекли к ней все взоры.

Мужчины при ее приближении поднимались в каком-то стихийном восхищении и, как зачарованные, шли ей на встречу, а женщины невольно улыбались ей, как солнцу, и даже забывали о зависти и сплетнях.

Глядя в эти гордые и прекрасные глаза, все прощали ее безумную жизнь в пирах и угарных развлечениях и здесь, в тесном кругу немногих друзей, и за границей, где имя красавицы-княгини Рожковской было окружено поклонением и изумлением.

— О, как вы прекрасны, княгиня! — сказал глубоким баритоном богатый помещик Коптский, сосед по имени.
— Красота бессмертна!

— Вы — льстец! — ответила она, наклоняя голову.

Бойкая молодая дама, сидевшая на мягкой козетке, при этом движении княгини всплеснула руками и воскликнула:

— Боже мой! Какой чудный камень!

Все взглянули на грудь хозяйки замка. На белой матовой коже с просвечивающими, как у девушки, синими жилками, на цепи из крупных разноцветных алмазов, висел изумительной величины рубин, красный, как кровь.

Все обступили княгиню, а она, сняв цепь, передала ее гостям.

Драгоценность ходила по рукам, а когда она вернулась, княгиня сказала:

— Этот рубин принадлежал моему предку, другу и советнику герцога Филиппа-Равенство. Он, по приговору Трибунала якобинцев, погиб на эшафоте. Святая гильотина обагрилась кровью моего прадеда и смешалась с кровью сан-

кюлотов. Какая честь для французских высокочек, людей неизвестного происхождения и случайного родства.

Княгиня умолкла, но огни, внезапно загоревшиеся в ее глазах, долго не гасли.

— А скажите, — продолжал Коптский, — в вашем роду сохранились подробности казни вашего прадеда, его последних минут?

Княгиня крепко сжала губы и холодным, почти резким голосом сказала:

— Да! Палачом, работавшим в этот день, был Круо, прозванный «Быком»...

С этими словами княгиня пошла навстречу маленькой, изящной девушке, несшей в корзиночке конвертики, перевязанные желтыми лентами.

— Кто эта особа? — спросила полная, пожилая дама, вскидывая на девушку золотой лорнет.

— Новая компания княгини, — ответил, с видом своего человека, Коптский. — Она недавно прибыла из Парижа вместе с нашей очаровательной хозяйкой.

— Господа! — сказала в это время княгиня, хлопнув в ладоши. — *Mademoiselle Blanche* раздаст всем конверты с номерами. По ним вы найдете на елке маленькие подарки себе на память.

Началась суматоха. Около елки толпились гости, разыскивая свои подарки, смеялись, острили и шутили. В общем веселье не принимали участия только княгиня и дворецкий.

Княгиня сосредоточенно, с каким-то упорством, смотрела на большой портрет мужчины в роскошном костюме времен последнего Капета.

Дворецкий же стоял в почтительной позе, но глазами он следил застройной фигурой компании...

Уже давно опустел зал дворца. Погасили огни, и только кое-где, освещенная одинокой угловой лампой, блестела позолота рам и разбрызгивали разноцветные огни хрустальные слезы люстры.

В синем будуаре княгини горят лампы, и за столом сидят двое людей. Это — княгиня и дворецкий. Почтитель-

ный француз преобразился. Он сидит, с достоинством и спокойствием смотря в глаза княгини, и говорит с ней, как равный ей.

Княгиня повернула ключ в стоящей перед ней шкатулке и, переглянувшись с дворецким, шепнула:

— Пора...

— Да! — бросил он коротко, и в его глазах появился стальной блеск.

Княгиня нажала кнопку изящного звонка. Через несколько минут дверь открылась, и на пороге показалась компания.



Увидев дворецкого, она вскрикнула от изумления.

— Войдите! — сказала княгиня, — и заприте за собой дверь на ключ.

Девушка исполнила приказание.

— Сядьте! — приказала княгиня и, злобно улыбнувшись, продолжала:

— Вам, вероятно, неизвестно, какая связь существует между нами троими? Страшная связь, *mademoiselle*, связь, которая уже в четвертом поколении служит проклятием вашей семьи!

— Моей семьи? — прошептала девушка, бледнея и дрожа.

— Да! семьи Кроу, потомков палача, прозванного «Быком»! — рассмеялась княгиня, и пальцы ее начали сгибаться, как когти хищ-

ной птицы.

Девушка молчала, в ужасе глядя в прекрасное, ставшее зловещим, лицо княгини.

— Кроу-«Бык» казнил на площади Бастилии моего предка, и кровь его тысячелетнего рода смешал с кровью по-

донков Вандеи. Сын Круо, Гаспар, пропал без вести, и только впоследствии его труп найден был в одном из подземелий города. Потом Альфред Круо, а затем Себастиан...

— Ему мой отец всадил нож в спину на улице Прони, мстя за смерть на гильотине своего деда... — сказал, вскидывая на девушку злые глаза, дворецкий.

— Теперь пришел твой черед! — сказала княгиня. — Мы не хотим убивать тебя... Мы предоставим твою участь решению судьбы...

И она еще раз повернула ключ в шкатулке.

Девушка бросилась к двери, но ее грубо схватил за плечи дворецкий и швырнул на землю.

— Tenez! — крикнул он повелительным голосом княгине.

Она бросила шкатулку на пол, рядом с упавшей девушкой, а сама быстро вскочила на диван.

Из шкатулки едва заметной тенью выскользнула маленькая змейка. Узкое коричневое тело ее, с красной полоской вдоль хребта, замерло на одно мгновение, а затем темной лентой быстро поползло по белому платью обезумевшей от страха девушки и вновь остановилось, коснувшись теплой шеи. Маленькая плоская головка с быстрыми зелеными глазками и жадным языком прильнула к коже и искала то место, где бился пульс.

Глаза лежащей девушки расширились, как у безумной, и в ужасную маску превратилось красивое лицо. Она не кричала и не шевелилась.

Змейка одним броском соскользнула с плеча девушки и, быстро извиваясь, поползла по ковру. Дворецкий схватил щипцы и, поймав змею, запер ее в шкатулку.

— Это — сурит! — прошептала княгиня, наклоняясь над девушкой. — Самая ядовитая из змей. Ее укус — смерть! Всякую ночь ты будешь заглядывать в глаза смерти, пока сурит не избавит тебя от мучений ужаса. А теперь в подвал ее, — крикнула княгиня.

Дворецкий, больно выворачивая руки ослабевшей девушке, поставил ее на ноги и поволок куда-то, изрыгая проклятия, какие слышит Париж тогда, когда перед тюрьмой

Рокетт в утреннем тумане маячит силуэт «красной вдовы»... гильотины.

...А наутро от крыльца дворца тронулась карета, запряженная четверкой рысаков.

Княгиня отправлялась к торжественной рождественской обедне и никто, смотря на ее прекрасное и гордое лицо и величественную фигуру, коленопреклоненную в молитвенном экстазе, не знал, что палач, жестокий и беспощадный мститель, молится вместе с народом.

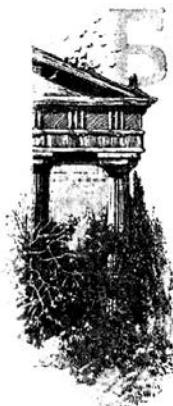


Борис Никонов

ЛЕГЕНДА СТАРОГО ЗАМКА

Из западноевропейских преданий

I



лизился вечер.

В старом замке графа Людвига фон-Штэлингена шли приготовления к обычному осеннему пиру.

Каждый год, когда с полей снималась жатва и поспевало молодое вино, а по скажтым полям становилось легко и удобно гоняться за зверем, — граф Людвиг созывал в гости соседних баронов. Целый день он с гостями рыскал по полям и лесам за дичью, а вечером в старом замке зажигались огни и начиналось шумное пирование.

Граф Людвиг и его гости были еще на охоте, когда в замке уже начались хозяйствственные хлопоты и суета. Многочисленные прислужники бегали взад и вперед по обоим дворам замка, наружному и внутреннему, и сновали в обширных, мрачных и холодных покоях главного фасада, над которым возвышалась сторожевая башня. Подъемные мости то и дело поднимались и опускались со скрипом и визгом на своих ржавых цепях: в замок прибывали семьи приглашенных рыцарей — их жены, дети, пажи и многочисленная прислуга. Нужно было принять всех их, помочь вылезти из экипажей, провести в назначенные комнаты, указать умывальные помещения и подать новоприбывшим горячего вина с пряностями в ожидании пира.

Все это создавало большую суetu, не говоря уже о приготовлениях к самому пиру.

Приехавшие гости, в особенности дамы, подмечали и подвергали осуждению явный беспорядок, царивший в этой хозяйственной сутолоке. Прием гостей шел плохо и бесполково, без понимания дела. Слуги сутились зря, без надобности входили в покой, а между тем нельзя было ничего добиться своевременно. Были допущены даже такие явные бес tactности, как помещение в одной и той же комнате

двух враждовавших дам: баронессы фон Гуттен и графини Эммы фон Швальбе.

К слову сказать, в замке Штеллинген подобные непорядки были заурядным явлением. Но хуже всего было то, что они усиливались с каждым годом. И если бы не уважение к благородному и знаменитому графу Людвигу, его соседи и не подумали бы заглядывать в его замок.

Ни для кого не было секретом, в чем крылась причина всего этого: все знали, что в замке не было хозяйств, потому что супруга графа Людвига, графиня Берта, была — не от мира сего.

Она дни и ночи проводила в служении окрестной бедноте: ухаживала за больными, лечила их, нянчилась с их детьми, устраивала странноприимные дома для нищих и бродяг, кормила их, — и на домашние дела, на собственное хозяйство у нее уже не оставалось времени.

Окрестные бедняки считали графиню святой и приписывали ей способность творить чудеса. В знатных же кругах, в обществе соседних герцогов и баронов, Берту называли просто сумасшедшей и... колдуньей. Ее презирали и немного побаивались. А графа Людвига считали очень несчастным в семейной жизни.

Последнее было совершенно справедливо. Граф Людвиг страстно любил свою жену и хотел бы, чтобы она всегда была нераздельно с ним и любила бы только его одного. Между тем, графиня нередко покидала его на долгие часы, иgraf, беспокоясь и боясь за нее, тщетно ждал ее, томился и проклинал бедняков, которые отнимали у него жену. С каждым днем он становился все мрачнее и мрачнее, и ходили слухи, что он собирался с горя отправиться в крестовый поход.

Сегодня, еще до приезда гостей, граф Людвиг приказал жене быть непременно весь день дома и никуда не отлучаться. Но графиня, видя его собравшимся на охоту, улыбнулась и спросила:

— Ты поедешь с гостями охотиться?

— Да, — ответил граф. — Ты же знаешь это...

— Ты бьешь на охоте диких и страшных вепрей, — задумчиво продолжала графиня. — У меня есть свои злые вепри: чужое страдание и нищета. Я, как и ты, свою веду борьбу... Зачем же ты отнимаешь у меня и оружие, и силу духа, и свободу, и делаешь меня жалкой и бездействительной рабыней?

Граф махнул рукой и ушел.

На охоте он неистово носился на своем арабском скакуне по полям и перелескам, желая этой бешеной ездой изгнать нараставшее беспокойство и ненависть ко всем окружающим. К своему удивлению, он теперь убеждался, что любовь его к жене неизбежно порождает тяжкую *ненависть* к другим.

Это беспокоило его, как необъяснимое противоречие жизни. Но виной этого он считал жену и говорил себе, что его совесть должна быть спокойна, так как не он тому причиной. То же самое сказал ему и капеллан*, которому граф Людвиг признался в своем томлении...

Охота еще не кончилась, когда граф, извинившись пред гостями, поспешил домой, чтобы убедиться, как он им сказал, все ли в порядке для предстоящего пира. В действительности он поспешил в замок главным образом для того, чтобы узнать, дома ли графиня.

Уже смеркалось... Из-за гор поднимались тяжелые сизые тучи, обещая жестокую грозу и бурю.

II

В главном зале замка ярко горел огромный камин. Камин этот был так велик, что в него уходила почти целая сажень дров. Рассказывали, что прадед графа Людвига, человек необычайной физической силы и очень жестокий, однажды сжег в этом камине своего коня. Ему захотелось

* Настоятель церкви в замке (*Здесь и далее прим.авт.*).

похвастаться своей силой перед дамами. Подъехав к подъезду замка, он слез с коня, взвалил его на плечи, втащил по парадной лестнице в зал и бросил его в камин...

Сейчас камин пыпал так жарко, что казался настоящим пожаром в стенах замка. Кровавый от свет играл на высоких стенах и в узких стрельчатых окнах. Длинные рога оленей и зубров, топорщившиеся по стенам, казалось, прыгали в этом танцующем багровом свете.

Слуги под руководством сенешала*, толстого и коротенького человечка с серебряной цепью на груди, накрывали длинный дубовый стол посреди зала. Сенешал покрикивал на них и грубо шутил, получая в ответ такие же шутки от распущенной и грубой челяди.

— Почему у некоторых приборов не поставлено кубков? — спросил он, окинув взглядом стол. — Ведь я говорил, что к каждому прибору надо отдельный кубок... Неприлично заставлять рыцарей пить вдвоем из одного кубка.

— Пусть меньше пьют, — рассмеялся слуга. — Нам больше останется...

— Ты отвечай вежливее! — прикрикнул сенешал. — Чем болтать такой вздор, сбегай-ка к шамбеллану**, да захвати у него штук десять. Да скажи, чтобы подал кораблик. Я не вижу кораблика.

— Откуда же я возьму вам его? — возразил вошедший шамбеллан, высокий и худой человек с неприятным лицом. — И кубки, и кораблик забрала графиня. Для бедных понадобились они ей.

— У вас теперь во всем графиня виновата! — сердито возразил сенешал. — Украли, заложили, пропили, — свалили на графиню — и правы...

— Стало быть, я вор? — гордо спросил шамбеллан.

— Вы все тут воры! — воскликнул сенешал.

Слово за слово, началась брань.

— Висельники! — кричал сенешал. — Я прикажу дать вам

* Так назывался один из главных служащих в замке, заведовавший хозяйством.

** Шамбеллан заведовал посудой и благоустройством столовой..

палок!

— А ты колдун! У тебя волчья голова! Мы можем срубить ее безнаказанно!

Сенешал поднял палку, чтоб ударить оскорбителей, но те схватили его и поволокли к лестнице. Сенешал отбивался, кричал. В разгар этой сумятицы в зал вошел граф Людвиг и жестоко разгневался на слуг.

— Негодяи! — воскликнул он громовым голосом, так что, казалось, вздрогнули испещренные прыгающими тенями высокие стены. — Вы осмелились заводить драки в этом зале?.. Сегодня же вы будете посажены в ослиные ямы*... Что у вас тут за беспорядок? Стол накрыт безобразно... Все криво, косо, небрежно... Откуда вы притащили это пойло вместо вина? Оно назначено для челяди! Кто смел принести его сюда?! Ленивые твари! Если не стоять над вами с палкой, то вы ничего не сделаете!

Он лично поправил скатерть на столе и придинул скамьи. И, помедлив, спросил:

— А где графиня? Вернулась ли она?

— Ваша светлость, — ответил сенешал, — графиня еще не вернулась.

Граф вздрогнул от досады и тоски.

— Немедленно послать за ней гонцов. Да поживее! Взять факелы и обыскать всю окрестность! Уж ночь на дворе... За воротами замка теперь рыщет зверь и шляются толпы всяких проходимцев... Бог знает, что может случиться с ней...

Слуги удалились. В зал вошел маршал**.

— К нам прибыли уже все приглашенные, — доложил он. — Пора начинать пир.

— Еще не вернулась графиня, — заметил граф.

Маршал пожал плечами.

— Графиня вернется. А пока мы можем попросить быть хозяйкой баронессу фон Ритгерсгейм, как старейшую из

* Места, куда сваливалась падаль и всякие нечистоты.

** Маршал наблюдал за внешним порядком в замке, принимал гостей и следил за соблюдением церемоний и обычаяев.

всех...

Граф мрачно промолчал: ему было неприятно думать о гостях и даже хотелось прогнать всех их вместе с баронесой; его снедала тоска бесплодного ожидания и тревога за жену.

В узких стрельчатых окнах сверкала молния. За стенами глухо рокотал гром и выл ветер...

— Где графиня? Почему она до сих пор не возвращается?..

III

Веселая толпа нарядных дам и рыцарей наполнила зал. Камин по-прежнему пыпал пожаром; на стенах дрожали и колебались тени огромных рогов. Гости осведомлялись у графа о здоровье графини, о том, почему ее не видно, и втихомолку сплетничали о ней. Кто-то пустил даже слух, что графиню похитил какой-то сарацин, проезжавший сегодня мимо замка, — и теперь графу Людвигу уже поневоле придется отправиться в крестовый поход, чтобы добыть жену обратно.

Граф Людвиг попросил капеллана благословить пир, потом произнес краткое приветствие гостям и теперь сидел молча, не прикасаясь к кубку, опустив голову на руки. Ему страстно хотелось прогнать гостей или, по крайней мере, самому уйти отсюда, но он одерживался. И только, когда он еще раз позвал пажей и приказал им отправиться на поиски графини, голос его гневно дрогнул, и он невольно топнул ногой.

— Несчастный!.. — переговаривались между собой гости. — Он не помнит себя от огорчения...

— Но какова невежливость с ее стороны: уйти от гостей, Бог знает куда спрятаться... Какое пренебрежение к нам!..

— Клянусь, что я больше не покажусь сюда!

— И я тоже...

— Она ухаживает за прокаженными, угощает бродяг и нищих, а до нас ей нет никакого дела...



— Ханжа! Юродивая!..

— Да еще и колдунья!..

Между тем, гроза все усиливалась. Молнии все чаще и ярче вспыхивали в окнах. Гром обрушивался своими тяжкими ударами прямо над замком, и вместе с ударами грома в окнах слышалось глухое царапанье и шорох, как будто снаружи бились в них какие-то огромные птицы.

— Проклятье!.. — вдруг воскликнул граф Людвиг и бросил свой кубок на пол.

Гости бросились к нему успокаивать и утешать.

— Проклятье этой буре, — стонал он, — проклятье вихрю, грому, дождю, проклятье моему беспомощному, жалкому незнанию!.. Я не знаю, где она и что с ней, и никто не скажет мне этого... Ко мне сбегаются злые думы и, словно собаки, лают на мою любовь и счастье. Я не могу ни пить, ни веселиться, ни быть приятным моим дорогим гостям, когда я не вижу ее...

В эту минуту появились гонцы, посланные за графиней.

— Ну что?.. Ну что?.. — воскликнул граф, устремляясь к ним. — Вы привезли ее? Вы нашли ее? Где же она?

Но гонцы молчали, опустив головы.

— Вы не нашли ее, ленивые собаки! — закричал на них громовым голосом граф. — Вы поленились отыскать ее!.. Я выколю вам глаза, которые не могли увидеть ее!.. Я отрублю вам ноги, которые не хотели напастить на ее верный след!.. Я вырежу у вас языки, которые не хотели спросить у людей, у ветра, у молний, где она!.. Я вас посажу в звериные клетки!.. Я убью вас!..

Он кинулся с мечом на пажей и оруженосцев, но вдруг остановился в оцепенении: в дверях показалась женщина в белом, с распущенными волосами, в вымокшем и разорванном платье...

Это была графиня...

— Берта, это ты! — воскликнул он.

Гнев его мгновенно упал, и душу его охватила великая радость.

— Ты жива, ты снова со мною! — говорил он, идя к ней с простертыми руками. — Дай же, я отнесу тебя, как малень-

кого ребенка, на тепло и на свет. Ты жива, ты жива, — какое счастье!..

— Как вы бледны, графиня! — воскликнули гости, опомнившись от неожиданности. — Что с вами?

— Я была под дождем, — рассеянно ответила Берта и обратилась к капеллану:

— Святой отец, не можете ли вы пойти к старому леснику Земмелю? Он получил смертельную рану и, умирая, хочет приобщиться. Вы, конечно, не знаете дороги к нему, но я охотно проведу вас сейчас туда...

— Ты с ума сошла! — воскликнул граф. — Сейчас, в такую погоду... И знаешь ли ты, к кому зовешь досточтимого капеллана? К браконьеру, к мошеннику!..

— Он тяжело болен... — продолжала Берта, не слушая мужа. — Я вас очень прошу, святой отец...

— Охотно, дочь моя, — ответил капеллан. — Я хочу сказать, что я охотно пошел бы туда, несмотря на адский гром и вихрь, но мне кажется излишне так спешить. Я знаю старика Земмеля: он так могуч и крепок, что, наверное, доживет до утра. А там, Бог даст, и совсем поправится...

Берта печально поникла головой.

— Освободите, графиня, меня от хозяйственных обязанностей, — любезно улыбаясь, обратилась к ней старая баронесса фон Риттерсгейм. — Мне слишком грустно хозяйничать в чужом доме и приятнее быть просто гостьей...

Берта не ответила и, по-видимому, даже не заметила обращения к ней этой почтенной дамы, вдовы знаменитого полководца и соратника Карла Великого.

С прежним усталым и скорбным видом она подняла свой взор и сказала мужу:

— По крайней мере, будь милосерд и вели впустить в ограду замка бесприютных прохожих. Они стоят толпой у ворот и со слезами молят, чтоб им позволили укрыться от дождя и грома.

— Впустить! — приказал граф.

IV

В числе впущенных в ограду замка оказался трубадур. Графу доложили об этом, и он распорядился впустить трубадура в зал.

Высокие дубовые двери раскрылись, вошел стройный и красивый юноша в темном дорожном плаще, с длинным монохордом* за плечами. Юноша низко поклонился на все четыре стороны и пожелал присутствующим здоровья и удовольствия.

— Спой нам песню, славный трубадур, — милостиво и любезно обратился к нему граф, — мы скучаем без музыки.

— Спой о весне и любви! — стали просить дамы.

— О чести и верности! — предложили со своей стороны рыцари.

— О преданности дамам! — настаивали дамы.

Трубадур установил монохорд, прижал руку к сердцу и обратился к обществу с такой речью:

— Я спою вам, что знаю и умею. Слушайте же меня, рыцари и дамы, благочестивые и знатные! В то время, пока вы здесь пировали, за оградой замка бродило старое, мрачное, больное Горе. Оно кричало, стонало и плакало, умоляя о внимании и помощи. Но вы его не слыхали... Тогда Горе обернулось вороном. Оно билось железными крыльями о решетки ваших окон. Но в шуме веселья вы не слышали ни криков ворона, ни шороха его крыльев... Горе обернулось грозой. Гулко загремели над замком раскаты грома. Яркие молнии вспыхнули у вас перед глазами. Но вы лишь усмехнулись: вам стало весело, что вы находитесь в тепле и покое, под защитой крепких стен замка. И вы не слышали Горя... Но вот Горе обернулось певцом-трубадуром. Оно сложило песню о людском страдании и смело вошло с той песней сюда, в ваш блестящий круг... И теперь вы волей-неволей услышите Горе...

В толпе гостей пробежал смутный ропот.

* Музыкальный инструмент об одной струне.

— О чём он тут толкует? — недовольно заметил барон фон Швальбе. — Нам нужны песни, а не проповеди.

— Обратите на него внимание, — шепнула баронесса фон Риттерсгейм своей соседке, — у него очень старообразный вид... Мне кажется, что это вовсе не юноша...

— Зажгите еще факелов! — приказал граф Людвиг. — Гаснут они, что ли? Почему так темно?..

В зале, в самом деле, стало темнее: как будто под потолком нависла грозовая туча, пробравшись сюда снаружи...

В окнах ярко блеснула голубоватая молния.

Трубадур заиграл на монохорде и потом запел:

О, рыцари блестящие! О, дамы горделивые!
Упреком вашей совести пред вами я стою.
Не ждите нежной повести: я песню вам тосклившую,
Я песню вам щемящую о Горе пропою...
Не муки томной ревности, не радости любовные,
Не слов игру жемчужную, не теплых уст красу, —
Тоску я вам недужную, я вам уста бескровные,
Я крик голодной гневности вам в песне принесу...
Вам, тешащимся золотом, смеющимся, играющим,
Вобью, как тяжким молотом, я мысли об ином:
О голоде, о холоде, о брате умирающем,
Как василек, растоптанный безжалостным жнецом...
Я шел дорогой торною над тихими долинами,
Я видел ночью черною, я видел белым днем
Людей с очами тусклыми, с надломленными спинами,
Изъеденных, источенных, измученных трудом...
Я видел злого пастыря... Болезни и страдания,
Зубастые, несытые, за ним, как овцы, шли,
И пахари, забытые в тревожном ожидании
Встречали племя Голода, склоняясь перед ним в пыли.
Как волны моря грозного, вздымаются, взвиваются
И хлещут пеной алою их стоны и мольбы,
И руки их усталые тоскливо поднимаются,
И просят, просят помочи забытые рабы...
О, рыцари надменные! О, дети наслаждения!
Я чашу песнопения дал выпить вам до дна,
Я спел вам песнь мучения. До смертного мгновения
В сердцах у вас останется, как вещий крик, она...

Гости слушали трубадура с возрастающим удивлением и беспокойством. По мере того, как трубадур пел, — в зале становилось все темнее и темнее, и в сгущавшейся мгле странно изменялся его вид: из стройного и красивого юноши он на глазах у всех превращался в сгорблленного старика-нищего в рваных лохмотьях и с сумой за плечами... И когда прозвучали последние слова песни и воцарилась тишина, все сидели в оцепенении, не веря своим глазам.



И вдруг раздался громкий плач испуганной дамы:

— Мне страшно!.. Мне темно!.. Я умираю!..

Граф Людвиг вскочил с места.

— Обманщик! Негодяй! Гоните его прочь!..

— Это призрак, привидение!.. — восклицали гости.

— Да сгинет сатана! — торжественно, голосом заклятия провозгласил капеллан.

Рыцари выхватили мечи и с криком кинулись на страшного старика. Но он вырос во тьме в огромное, лохматое чудовище, пронесясь над их головами, подобно огромной черной птице, и исчез...

И сразу стало светлее.

— Какой зловещий призрак! — говорили взволнован-

ные гости.

Рыцари гневно размахивали мечами. Женщины плакали. Граф Людвиг приказывал зажечь как можно более свечей и факелов, чтобы прогнать оседавшую повсюду, словно копоть, тьму.

— Что с вами, рыцари и дамы? — воскликнула графиня Берта, снова появившись в зале. — Почему такой испуг? Что устрашило вас? Убогий нищий?.. На кого вы подняли мечи? На скорбь, на нищету! Неужели вы никогда не встречали таких несчастных?.. Зачем вы зовете привидением живую действительность?.. Опустите же ваши мечи. Взгляните: у меня нет ни меча, ни иного оружия, но мне не страшен этот бедный и печальный трубадур...

Но графине не внимали испуганные гости. В огромном зале глухо гудели взволнованные голоса. Кубки были забыты, кушанья оставлены. Все встали с мест и толклись беспорядочной гурьбой, не зная, что предпринять. Пламя в камине угасло, и под потолком и в углах колебались страшные, черные тени, грозившие поглотить все окружающее.

— Братие! — раздался глухой голос.

Все обернулись на этот призыв. В конце стола на возышении виднелась высокая, темная фигура капеллана, казавшаяся черной на багровом фоне огненного отблеска. На противоположной стене вздымалась огромная колеблющаяся тень его в остроконечном капюшоне.

— Не ведал я, братие, — воскликнул он, — что в собрании благочестивых христиан ныне примет участие сам сатана. И поэтому благословил я ваш пир. Но я беру назад свое благословенье. Среди вас свил гнездо властелин ада. Собранье ваше им осквернено, и, проклиная его, я проклину и пир ваш!..

Он завернулся в свой капюшон и удалился.

Смятение среди гостей еще более усилилось. О пире нечего было и думать. Один за другим подходили рыцари и их жены к графу Людвигу и прощались, извиняясь, что не могут дольше оставаться в замке.

— Это она вызвала привидение, — втихомолку говорили они, кивал на бледную Берту. — Колдунья...

— Колдуња! — казалось, откликалось эхо где-то под потолком.

Пламя в камине по-прежнему пылало, в углах по-прежнему танцевали свою адскую пляску тени.

V

Прошло несколько месяцев.

Наступила весна. Цвели деревья, и воздух был напоен их благоуханием и веселым весенним шумом, в котором слышалось и пение птиц, и рокот освободившейся от ледяного покрова речки, и неуловимая музыка теплого ветра, качающего стебли трав и ветви деревьев. Кругом замка цвели розы всех видов: и огромные красные, выступавшие, словно пятна крови, на яркой зелени сада, и маленькие бледные, и простые, и махровые. Их садила и ухаживала за ними сама графиня Берта, находившая свободную минуту для этого занятия среди своих трудов на пользу близких.

Граф упорно преследовал ее за ее страсть к благотворительности. Однажды он едва не убил слугу, который пришел доложить графине, что ее ждет увечный нищий. В другой раз, когда графиня, после долгого скитанья под дождем, уставшая и дрожавшая от лихорадки, сидела вместе с графом у камина и граф впервые после долгого промежутка времени чувствовал себя спокойным и счастливым, — она вдруг вспомнила, что не наложила необходимой повязки больному ребенку дровосека. И, несмотря на страстные протесты графа, она вскочила и отправилась снова под дождь и на холод... И граф в порыве досады поклялся тогда употребить силу и заключить жену в четырех стенах, если еще раз повторится подобное происшествие.

Его жестоко беспокоила и угнетала боязнь за ее здоровье. Он ясно видел, что с каждым днем щеки ее бледнели и слабели ее силы. Ему было ясно, что она чахнет и хиреет, отправленная ядом чужих страданий. Он страстно жалел ее

и любил ее и все более и более ненавидел тех, кто отнимал у ней здоровье и самую жизнь.

Однажды утром, после ранней мессы в капелле замка, он пригласил капеллана прогуляться вместе с собой и увлек его в глухое место близ замка, к обрыву, где пробивалась узкая и крутая тропинка среди горных уступов.

Кругом было тихо. Только птицы пели в кустах да журчал ручей, катившийся с уступа на уступ и невидимый в густой чаще кустарников.

— Святой отец! — говорил капеллану граф. — Я вас увлек сюда затем, чтобы в тишине и полном уединении поговорить о графине. Я чувствую, что так жить дольше нельзя. Я люблю ее, и она моя жена, а между тем она далека от меня и отвергает мою любовь, как досадную помеху. Ее несчастное пристрастие к этим тунеядцам и ворам постоянно вырывает ее из моих объятий, — и иногда мне кажется, что я не совершу большого греха, если даже убью кого-нибудь из них... Скажите, святой отец, возможна ли такая семья, где жена, покинув мужа, забросив свойственный ей женский труд, проводит дни и ночи в лазаретах и убогих хижинах у рабов и мошенников?

— Скажите, граф, — спросил в ответ капеллан, — не замечали ли вы каких-нибудь особенных примет на теле у графини? Например, родимое пятно необыкновенного вида, цвета, или иной подобный знак, как бы выжженный раскаленным железом?

— Нет, не знаю, — удивился граф, — зачем вам это, святой отец?..

— А как думаете вы, — снова спросил капеллан, — тот ужасный призрак, который, помните, появился на пиру, — самостоятельно появился он, или был вызван графиней?

Граф с тревогой взглянул на капеллана. Он понял, в чем дело. Очевидно, капеллан заподозрил Берту в страшном преступлении, которое каралось жесточайшими пытками и сожжением на костре, — в том, что она колдунья и имеет сношения с сатаной. Ни знатный род, ни богатство, ни покровительство самого короля не спасали заподозренных в этом лиц от ужасного суда и наказания. Судьи были оди-

наково безжалостны и к сильным мужчинам, и к слабым, болезненным женщинам и девушкам.

— Я понимаю нас, святой отец! — глухо промолвил граф.

— Но я отказываюсь продолжать разговор на эту тему: это было бы чересчур страшно. Я не верю этому.

Капеллан мрачно промолчал. Кругом было тихо, светло, радостно. Розы (они цвели и здесь) раскрывали под солнцем свои душистые чашечки.

На тропинке вверху показались две нищие женщины.

— Смотрите! — воскликнул граф. — Какая наглость! Эти твари уже ищут ее. Они бродят целыми днями вокруг замка, словно гиены.

Женщины, услышав голос графа, испуганно скрылись.

— Весь мой дом приходит в разрушение, — продолжал граф, — у меня нет ни семейного очага, ни семейного круга. Я должен сам глядеть за всем в доме, как ключница, как баба. Надо мной смеются, и мне хотелось бы уйти из собственного дома и никогда не возвращаться в него. Я лишен друзей. Я одинок. От меня бегут, как от зачумленного, в особенности после того несчастного пира.

— Да, после того пира я убедился, что ее душе грозит серьезная опасность! — с зловещей выразительностью промолвил капеллан.

На тропинке показалась нищая старуха с ребенком, у которого была повязана голова.

— Благородные господа, — обратилась она к графу и капеллану с низким поклоном, — сказывают, в этом замке живет добрая госпожа, которая помогает бедным и лечит их детей. Вот мой внучок-сиротка...

— Убирайся прочь! — воскликнул граф, замахиваясь на нее палкой. — Я выпущу на тебя собак, если ты еще раз заглянешь сюда, проклятая старушонка!

Старуха с ужасом заковыляла прочь и скрылась в кустах.

— Проклятые! — повторил граф. — Они пьют у моей милой Берты кровь. С каждым днем она становится бледнее и бессильней. И я не могу избавить ее от этой злой заряды! Вы видите, я силен и могуч, я вооружен с головы до ног — но я бессилен против царящего в ее душе безумства!

Граф маxнул в отчаянии рукой и повернулся, чтобы идти в замок. Но вдруг из кустов выскочил мальчишка. Прыгая на одной ноге, он бесстрашно подскочил к графу и со смехом запел:

Где твоя хозяюшка?
Где твоя голубушка?
Спряталась, спряталась
У чужих людей!
Поищи-ка, поищи
Попроворней, поживей!..

— Уходи ты, безумный, прочь! — замахал на него руками капеллан.

Но было уже поздно. Граф пришел в совершение бешенство. Он мгновенно выхватил меч и пронзил несчастного мальчугана.

— Щенок поганый! — воскликнул он, задыхаясь от гнева, и оттолкнул ногой маленькое тело в кусты. — Видите, святой отец, как развращены эти собаки! Эти негодяи позволяют себе сочинять непристойные песни на мой счет и учат им своих щенят!

Капеллан собирался что-то сказать, но в это мгновение на тропинке наверху показалась стройная фигура графини Берты.

— Вот и графиня! — воскликнул капеллан. — Должно быть, она идет к своим беднякам.

— Берта, — изумился граф, — зачем ты здесь?..

Услыхав голос мужа, графиня вздрогнула и остановилась. И граф увидел, что она несла с собой большую корзину, покрытую белым холстом.

— Куда ты идешь? — гневно обратился он к ней. — Ведь я приказал тебе оставаться в замке! Зачем же ты ослушалась? Я вижу, ты опять принялась за старое? Ты опять тайком от меня пробираешься к своим бездельникам?.. Опять ты несешь им мое добро, мои припасы?

Графиня поникла головой, бледная, как покрывало, которым была покрыта ее корзина. Граф грозно подступил к

ней со сжатыми кулаками. Она затрепетала и отступила, с трудом сдерживая тяжелую корзину.

— Я... Я сейчас иду в сад! — пробормотала она, дрожа всем телом.

— В сад? — воскликнул граф. — А зачем эта корзина? Что в ней? Покажи!

Испуганная, трепещущая, как пойманная птица, она закрыла лицо и тихо промолвила, как бы обороняясь от мужа этими словами:

— В ней розы!

Граф гневно сдернул покрывало с корзины. В это мгновение все кругом озарилось ярким розовым светом, и благоухающим дождем посыпались с неба розы. Они густо усыпали всю корзину, и корзина казалась теперь наполненной розами.

Граф с удивлением отшатнулся от жены.

— Да... розы... — пробормотал он, изумляясь все более и более.

— Грешница! — воскликнул капеллан, потрясая поднятой кверху рукою. — Нечистой силою ты сотворила это чудо! Теперь для меня ясно, что ты колдунья! Ты дочь сатаны!.. Ты соблазн для всего окрестного мира... Нет, исправлять тебя уж слишком поздно... Единый путь для твоего спасения лишь строгая кара!

И он ушел, закутав голову в капюшон, чтобы не видеть графини.

— Что это значит? — спросил граф в волнении. — Во сне я все это вижу или наяву?

Графиня заплакала.

— Я солгала тебе, — с горькими слезами промолвила она, — ты так бранишь меня, так мучишь меня упреками и угрозами, что нет сил терпеть... И когда ты опять стал сейчас упрекать меня, я не выдержала, — и эта ложь пришла ко мне невольно. Я захотела защититься ею, как розовым покровом, от насилия твоих угроз... И видишь, моя ложь покрыта!.. Я не знаю, чья сила и власть заступилась за меня, но не сатану призываю я в своих делах, а милосердное Небо. И хотя тяготит меня моя ложь, но не могу я не сказать

тебе: ты видишь теперь, что есть Некто, одобряющий меня за то, за что ты меня бранишь!

Розы исчезли, и граф увидел, что в корзине были хлеб, мясо, вино и другие припасы, а также лекарства.

— Берта! — воскликнул он в великом потрясении. — Я вижу, что Некто одобряет тебя. Но что мне до Него, когда я люблю тебя и хочу тебя? Я не раб и не ползучий червь, чтобы уступать кому бы то ни было свои права! Ты моя и будешь моею и отныне не уйдешь уже от моих объятий. С этого дня ты будешь, наконец, моей женой и хозяйкой моего дома. Твои мысли и мечты не переступят отныне моего порога. Мы будем с тобой глядеть лишь в бездонное море нашей любви, и уже никто не оторвет от него наших взоров.

— Нет, Людвиг, этого не будет! — возразила Берта. — Нельзя мне замыкаться в твоих стенах. Неужели ты хочешь превратить меня в слепого крота, который ничего не видит в своей норе? Неужели ты хочешь, чтобы я сделалась маленькой мышью, которая не знает ничего, кроме кладовой и погреба, где она живет? Я не слепа и не бессильна. Как сторож с дозорной башни, я вижу на много миль кругом себя. Я вижу страдания и иду к ним навстречу.

— Берта! — воскликнул граф. — Эти страдания таят в себе страшный яд. И ты впитываешь в себя этот яд: с каждым днем твои щеки бледнеют, твой голос звучит тише, твоя походка слабеет. Ты увядашь, как сорванный цветок, отравленная чужими страданиями. И я боюсь, что ты на всегда покинешь меня...

— Но нет, не бывать тому! — воскликнул он, гордо выпрямившись. — Я отниму тебя от твоих палачей. Дай руку! Пойдем ко мне!

Он хотел взять графиню за руку, но она уклонилась.

— Я твоя жена, и я люблю тебя, — воскликнула она, — но будь же добр и не будь слепцом! Ты видишь одну меня и не видишь других! И если ты меня в самом деле любишь, то помоги мне в моих трудах. У меня уже едва хватает силы нести их. Людвиг, Людвиг, как счастлива была бы я, если бы ты шел в жизни рука об руку со мною! Ты такой силь-

ный, ты мог бы сделать много добра, какого я не в состоянии сделать!

За кустами раздался слабый стон.

— Постой! — воскликнула графиня. — Там стонет кто-то.

Она раздвинула кусты.

— Какая жалость! Сиротка Ганс, слабоумный мальчик...

Весь в крови... Что с ним такое? Должно быть, он сорвался с горы, упал, расшибся... Людвиг, помоги мне поднять его! Я не могу одна... Людвиг, что же ты отворачиваешься? Будь же кроток и милосерден, пожалей этого ребенка! Иди сюда, склонись к нему... Людвиг, Людвиг! Начни новую жизнь! Дай мне руку, и заключим прекраснейший союз! Будем трудиться вместе. Будем настоящими мужем и женой...

— Он уже умер, — глухо промолвил граф, отворачиваясь.

Графиня порывисто склонилась над мальчиком.

— Бедный, бедный, — воскликнула она, — но, Боже мой!

Что это значит? Людвиг, погляди: он не расшибся... У него в груди есть рана... Его убил кто-то... Но кто же мог убить его? Какой злодей решился поднять руку на ребенка?..

— Довольно, Берта, — воскликнул граф, — мне невыносимо слушать это. Я убил его!

— Ты, Людвиг? Ты убил? — с ужасом промолвила, побледнев, графиня. — Ты обманываешь меня!.. Этого не может быть!

— Этот мальчишка пел оскорбительную песню, — холодно промолвил граф, — и я не в силах был перенести оскорбление...

Берта выпрямилась во весь рост:

— Ведь он слабоумный... Он не понимает сам, что говорит. О, Боже мой, неужели это правда?.. Что сделал ты, Людвиг? Ты ведь и меня убил... Ты все убил... Мою любовь к тебе и мою радость, и мои надежды на иную, счастливую жизнь...

Она с плачем опять склонилась к мальчику, обнимала его маленькое тело, целовала его, называла его своим сыном, а себя его матерью. Граф Людвиг не выдержал этой сцены.

— Вот так всегда! — воскликнул он. — Последнего нищего ты ласкаешь нежнее, чем меня!.. Довольно! Оставь его и иди со мной! Знай, что закон предоставляет мне право жизни и смерти над тобой и ты должна повиноваться мне, как закону и Богу.

Берта дико взглянула на него.

— Уйди! Ты умер, умер... — заговорила она, как в бреду. — Ты и себя тоже убил... Ты мертвец. От тебя несет дыханием тлена. Ты весь в крови. Ты оборотень... Ты злой вампир с волчьей головой... Уйди, уйди! Твое место на кладбище...

— Ты с ума сошла, Берта, — воскликнул граф, — ты больна, ты бредишь... Неволей или волей, но ты пойдешь сейчас со мной, иначе я на руках унесу тебя...

Он хотел схватить ее. Но над Бертой вдруг вспыхнуло яркое сияние. Оно окружило ее огненным венцом, и граф почувствовал, что свет этот ослепляет и жжет его... В безумном ужасе и гневе он отскочил от нее и закричал:

— А!.. Опять твои чары!.. Опять колдовство!.. Но знай же, наконец, что я не уступлю тебя никому. Кто бы ни встал меж мной и тобой, Бог или дьявол, я не сдамся никому!.. Я вырву тебя из чужих рук, я спасу тебя от проклятой зары... Я вымету кровавой метлой весь этот скверный сор, наполнивший нашу жизнь.

Он затрубил в свой охотничий рог, и на его призыв немедленно явились пажи и оруженосцы.

— Собрать всю мою дружину, — приказал он им, — вооружиться, осмотреть оружие!.. И к ночи вы все вместе с воинами объедете все мои владения и уничтожите всех нищих, бродяг и бездомных. И если где-нибудь окажутся увечные, больные и слабые, вы войдете в их лачуги и норы, и кто бы ни был болен, вы того убьете. И знайте, что за каждую оплошность, за каждую пощаду виновный будет немедленно повешен.

Пажи и оруженосцы с бледными от испуга лицами молча внимали словам графа. Берта беспомощно опустила руки, не веря своим ушам. А кругом сияла радостная и свет-

лая весна, пели птицы, и благоухали розы — красные и бледные, крупные и малые, махровые и простые.

VI

Солнце склонялось к закату. Розовые лучи скользили по высоким горным склонам и играли на блестящей крыше сторожевой башни замка. Везде и всюду царил еще более сладкий покой, чем днем.

На перекрестке двух дорог близ замка издавна стояла в каменной нише статуя Девы Марии с горящей лампадой пред ней. По благочестивому местному обычанию, статуя была одета в розовое шелковое платье и украшена венком из роз. У ее подножья также лежали всегда свежие розы.

Сюда пришла сейчас графиня Берта. Она упала пред Девой Марией на колени и со слезами молила ее за бедняков, присужденных к безумной расправе.

Прошел час, другой, третий. Она не вставала с колен, и уже не было слез у нее, и смыкались ее уста, и только потрясенный дух ее молился с неослабной силой.

Между тем, и в замке, и в окрестных поселках уже распространилась весть о предстоящих ужасах.

Обеспамятевшие от страхаувечные и нищие бросились на поиски графини, чтобы умолять ее заступиться за них, и нашли ее здесь на перекрестке.

Один за другим собрались они здесь толпой. Среди них были старики, дети, молодые девушки... Иные пришли на костылях, другие приползли, — и все они стонали, рыдали и бились головами о землю.

— Спаси нас, заступись!.. — умоляли они графиню.

— Нам некуда деваться, некуда скрыться... По всем дорогам расставлены дозорные. Никто уже не может уйти из владений графа.

— Мы все погибнем, пощады не будет никому!.. Молитесь, кайтесь!..

— Сыночек мой бедный!.. Он болен, он лежит в жару...
Неужели и его убьют?..

— Бесценная, святая! Заступись!.. Ты любишь нас, ты жалеешь наших детей. Умоли своего жестокого супруга, пощади нас!..

Графиня Берта встала посреди толпы. Прощальные розовые лучи заходящего солнца теплым отблеском озаряли ее белое платье, и казалось, что от нее исходит такой же теплый и мягкий свет.

— Милые мои! — с великой тоской произнесла она. — Я еще больше прежнего люблю вас и жалею... Но теперь у меня уже нет ничего, — ни сил, ни прибежища, ни даже слез... Я как осенняя былинка, сломленная порывом ветра... Мне некуда и не к кому идти с мольбами о помощи. У меня нет мужа, нет духовника... Я вне закона. Меня будут судить и казнят. Я теперь только тень воспоминаний о любимой вами и любившей вас графине Берте. Что могу я теперь сделать для вас? Я могу только погибнуть вместе с вами...

Рыдания и стоны усилились. Прибежал мальчик и сообщил, что в замке точат оружие и седлают коней.

— Спаси, спаси! — зарыдали нищие.

Они окружили Берту, падали к ее ногам, целовали ее платье и даже следы ее ног.

— Боже мой! — воскликнула графиня в великим томлении и отчаянии, простирая руки к небу. — Боже мой! Научи меня, что должна я сделать? Последнее, что еще есть у меня, — мою жизнь, мое дыхание, — возьми у меня и отдай им... Раствори мою ненужную, отцветшую жизнь в их жизни и ороси их засыхающие ветви, чтобы они вновь зазеленели... И пусть я умру, а они живут! Ты, проливший свою кровь за людей, Ты, творящий чудо жизни в каменной ограде могил, возьми мою кровь, — и об одном молю я: сотвори чудо любви и жизни!..

Она схватила оброненный кем-то на дороге нож и к общему ужасу вонзила его себе в грудь.

Брызнула алая кровь и пролилась на землю, — и в тот же миг совершилось то чудо, которого просила она у Неба. На том месте, куда упали капли ее горячей крови, подня-

лись пышные расцветающие розы. И куда бы ни падала ее кровь, там немедленно возрастал благоухающий цветок со светящейся алой капелькой кровавой росы в своем сердце. С тихим звоном, похожим на отдаленное пение, чудесные розы поднимались, росли и разрастались в пышные кусты, наполняя вечерний воздух дивным ароматом и тихой небесной музыкой.

— Милые! Дорогие мои! — радостно восклицала графиня. — Как рада я, как счастлива!.. Услышана мольба моя... Свершилось то чудо, о котором не смела я и мечтать... Теперь я знаю, что нужно делать. Скорее срывайте небесные розы, спешите с ними в ваши хижины и кладите их на порог... И раздавайте их другим, и бросайте их по дороге, где проходят бесприютные скитальцы. Скорее, скорее срывайте цветы!.. Уж садится солнце, уж близится ночь...

— Госпожа! — раздались кругом встревоженные голоса.
— Ты побледнела, ты слабеешь... Позволь же, мы перевяжем твою рану.

— Нет, нет, — возразила графиня слабеющим голосом, — оставьте меня! Мне легко и отрадно... Пусть кровь еще струится... Пусть, — вырастет побольше роз... Спешите срывать их... Спешите!...

Солнце закатилось; последние розовые лучи его угасли, — и покрылось смертельной бледностью лицо графини Берты. Нищие торопливо набрали цветов и разошлись, и она осталась одна у ниши со священной статуей и мерцающей лампадой.

Силы оставили ее. Она тихо опустилась на землю и легла, неподвижная и бледная, среди разросшихся розовых кустов.

Кровь все еще струилась из ее раны. Розы все еще вырастали. Слабый огонек лампады чуть мерцал в сгущавшейся темноте и, казалось, тщетно боролся с надвигавшимися на него черными тенями.

VII

— Мы не могли исполнить приказания, — докладывал графу Людвигу оруженосец. — Нас преследовало какое-то волшебство: куда бы мы ни пришли, всюду перед нами вырастали стеной кусты роз. Мы пытались разрубать их мечами, но мечи наши ломались, а руки бессильно падали. И тяжелые невидимые цепи сковывали наши ноги, так что мы падали на дороге. Мы кололись о шипы, и страшные язвы покрывали наше тело от ядовитых уколов.

Граф Людвиг молча отоспал оруженосца и поехал на коне искать графиню.

И он нашел ее на перекрестке у ниши с лампадой. С рыданием припал он к ней и умолял очнуться, ожить, отозваться... Он твердил ей о своей неисчерпаемой и неутолимой любви, о холде и мраке идущего к нему одиночества и клялся щадить тех, кого он хотел погубить.

—Людвиг, Людвиг! — слабо вздохнула графиня, приходя в себя. — Бедный мой, слепой, безумный Людвиг! В последний раз я открываю для тебя свои глаза. Взгляни на меня — и простимся, простимся... И, не помня зла, соединимся в последнем привете.

— Ты будешь жить! — воскликнул граф. — Я не отдам тебя смерти! Я возьму тебя на руки и, как священную драгоценность, как лучшую розу мира, отнесу тебя в мой неприступный, старый замок. Я буду стеречь неусыпно, чтобы ничье злое дыхание не коснулось тебя. Я силен! Я могуч. Мне не страшны ничьи злые глаза, цепкие руки, крадущиеся ноги. Я сумею уберечь тебя!..

—Нет, Людвиг, — вздохнула графиня, — не суждено мне жить... Если бы жизнь и вернулась ко мне, меня сожгли бы на костре, как колдунью, или же ты сам сжег бы меня на костре твоей жестокой, мучающей, ненавидящей любви. Я слабый росток чуждой и непонятной для тебя любви, и меня все равно заклюют черные птицы этого века, если бы ты и отогнал от меня Безмолвие.

— Не покидай меня! Я люблю тебя! — воскликнул граф.
— Я люблю тебя всем своим существом, всем живущим во мне огромным миром. Неужели даже для такой любви нет награды?

— Людвиг! — слабо возразила Берта. — Для *такой* любви я не хочу быть наградой. Такая любовь и разъединяет теперь нас. Но придет век, когда людей будет соединять моя любовь: та любовь, которой я служила всю мою маленькую и бедную жизнь и во имя которой я умолила небо взять мою жизнь и отдать ее другим. Я уже вижу этот век: я вижу мужей и жен, которые вместе дружно трудятся на пользу ближнего. Я вижу слабых, маленьких и бледных женщин, которые несут тяжелую мужскую работу. И я вижу мужей, помогающих и ободряющих, а не клянущих их, как проклинал ты. Я вижу их и в лачугах бедняков, и на полях сражений, и в больницах, где они омывают гнойные язвы и, жертвуя своею жизнью, спасают чужую жизнь. И никто не зовет их ни колдуньями, ни святыми...

Граф Людвиг тоскливо припал к ней головой. Слабый огонек в нише ярко вспыхнул и стал угасать.

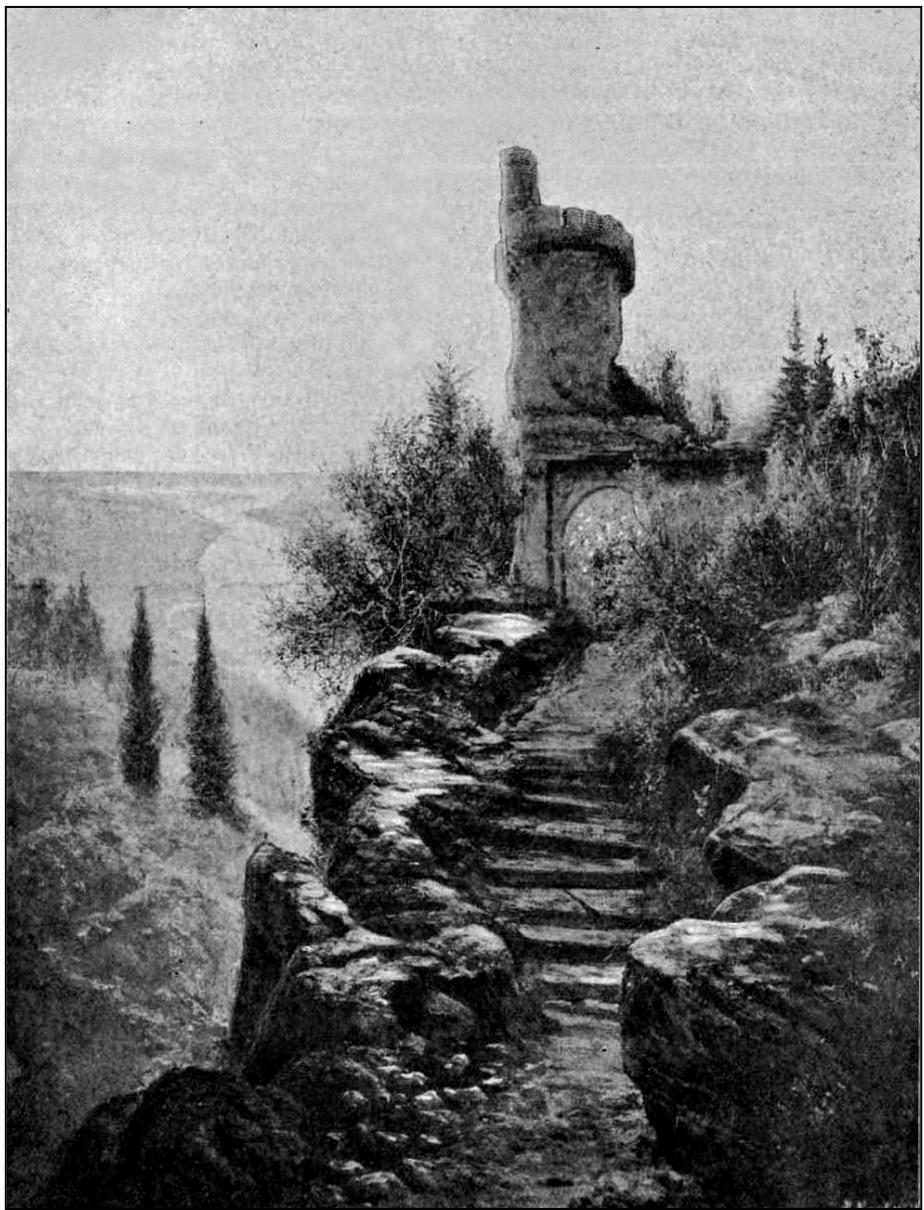
— Взгляни, — сказала графиня, — я такой же огонек. Его зажег Господь, чтобы не иссякло потомство любви и милосердия в кровавый и жестокий век. Но он был слаб и бессилен, и злые тени погасили его.

Огонь лампады еще раз вспыхнул и угас. И розы с тихим звоном склонились над умершей графиней Бертой.

Поздней ночью обессиленный, изнемогающий от скорби граф Людвиг отнес тело своей жены в замок.

Он положил ее в опочивальне на парадную брачную постель и убрал ее розами и усыпал всю комнату душистыми свежими цветами. Потом он спустился в подземелье, где хранились огромные запасы смолы, соломы и иных горючих веществ, заготовленных на случай осады замка, и бросил туда зажженный факел.

После этого он вернулся в опочивальню, склонился к ложу и, погрузившись лицом в душистые цветы, прильнул с поцелуем к холодной руке Берты.



— Моя жизнь — лишь я и ты, — прошептал он, — и если тебя в ней нет, то нет и меня!

В эту ночь замок Штеллинген сгорел со всеми, кто обитал в нем. И только черные, обгорелые стены остались от него на память векам.

Борис Никонов

ЛУННЫЙ СВЕТ

Илл. С. Лодыгина



I

О, если правда, что ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы...



же третий день я живу в замке маркиза де Боклэр на нормандском побережье. Маркиз уехал на летний сезон в Норвегию и предоставил мне жить в его родовом поместье, сколько мне вздумается.

— Вы писатель и притом большой фантазер, — сказал он мне, — вам это будет кстати.

Я ответил:

— Вы правы. И если вы хотите быть особенно любезны к вашему старому приятелю, то постарайтесь подольше не возвращаться в замок. Одиночество мне еще больше кстати.

Он рассмеялся, пожал мне руку и уехал.

И вот теперь в замке никого.

Правда, в нем обитают: старик дворецкий с женой, несколько слуг и кастелянша. Обитаю в нем также и я... Но все эти обитатели (включая и меня) походят скорее на бесплотных духов, чем на живые существа.

Мы теряемся и исчезаем в громадных залах старого замка. Наши голоса здесь едва слышны. Невольно кажется, что Время — главный хозяин замка — заглушает их и пытается уничтожить и нас самих, как уничтожило оно десятки и сотни других, более ранних обитателей замка.

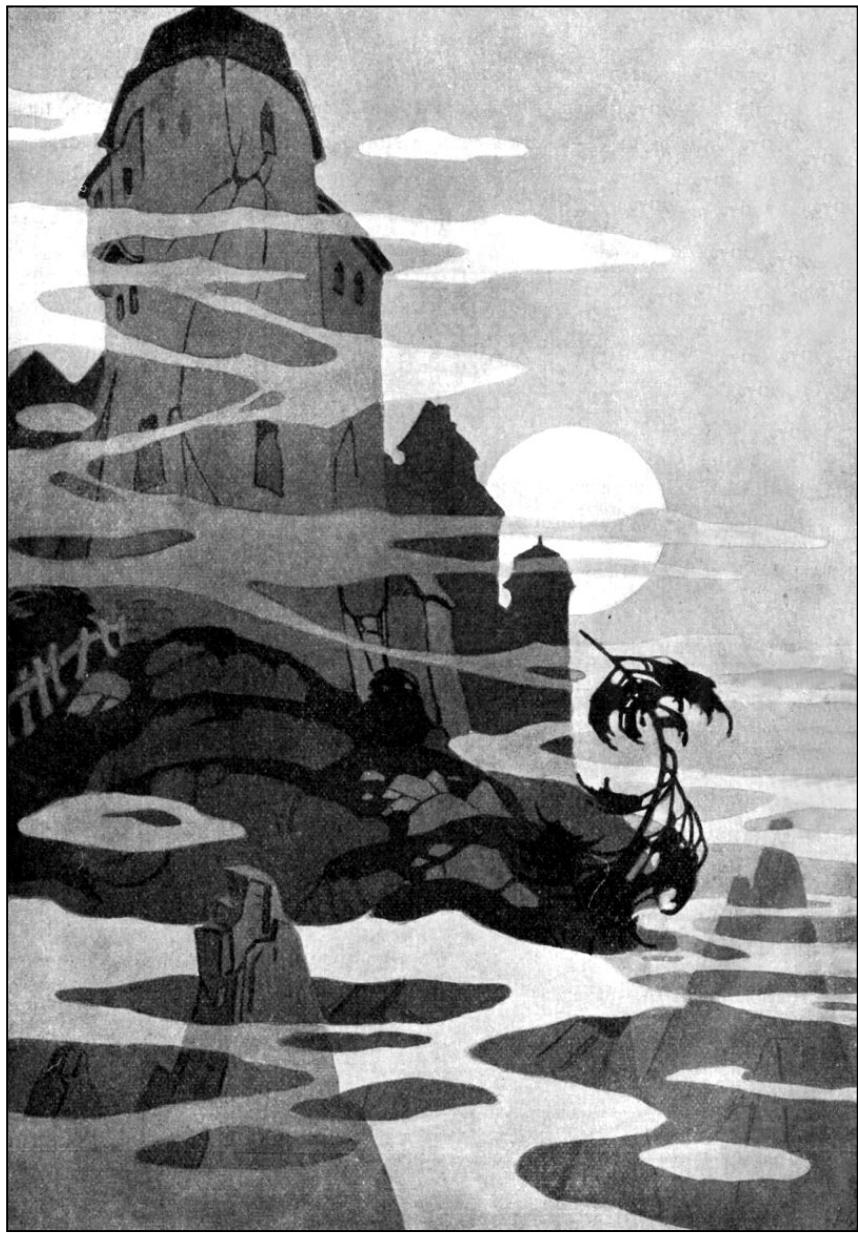
Мне чрезвычайно нравится такое существование. Иногда мне начинает казаться, как будто меня нет. Я не существую. Никакого моего личного бытия нет и не было, а есть только старый нормандский замок, и есть Время.

Мое творчество переживает здесь минуты необычайного нервного подъема. Оттого ли, что здесь никто и ничто не развлекает меня, или оттого, что полуфантастическая средневековая обстановка замка и сама природа, насыщенная легендами и сказаниями этой суеверной и поэтической страны так влияют на меня, — но никогда еще я не подпадал так полно и целостно во власть моих грез и фантазий.

Мне кажется, что не сам я сочиняю свои рассказы, но кто-то извне диктует мне слово за словом. И я потом с удивлением перечитываю набросанные мною строчки, странные и почти чужие для меня...

В особенности часто такое состояние бывает у меня утром и вечером, когда умирает или рождается день. Я давно подметил эту таинственную связь между моей работой и умиранием или рождением света. В торжественные минуты, когда время опрокидывает чаши своих песочных часов и отмечает наступление новой ступени в нашей жизни, мысль работает живее, воображение напряжено, как певучая струна. Отчего это?.. Я не знаю...

Кругом меня и ночью и днем тишина. Тишина, напоенная старинными нормандскими легендами и древними преданиями замка, который считает свое бытие не годами, а веками, как царственная династия. Я много читал и слышал разных фантастических историй, связанных с здешни-



ми местами, и это еще сильнее возбуждает мое творчество...

Я работаю без определенного плана, без схемы... Когда я начинаю писать, я и сам еще не знаю, что у меня выйдет. И к моему удивлению, у меня обыкновенно слагается стройный рассказ. Удивительная страна! Удивительный воздух! Этот воздух дышит красотой и фантазией вымысла.. Я теперь понимаю, как создаются легенды. Какой вздор, что их творят люди! Они льются сами извне, как благодатный дождь... Не писатель творит легенду, а легенда делает человека писателем... Нужно только, чтобы была подходящая страна и подходящий воздух, как здесь...

Это лето не пройдет для меня бесследно. В этом я глубоко уверен... Только не помешали бы мне. Только не вывели бы меня из моего чудесного состояния, дарованного мне моим одиночеством!..

II

Волшебников, волшебниц в мире много...
Они средь нас, но мы не знаем их!

(Ариосто, «Неистовый Роланд»).

Здесь страна волшебников.

Каждое утро в моей комнате сам собой является кофе и завтрак. Молчаливый и почти несуществующий (так он таинственен!) волшебник, которого зовут Франсуа, незаметно приносит мне пищу и так же незаметно уносит и приносит из чистки мое платье и обувь.

Обедаю я так же таинственно... Г-н Ланглуа (дворецкий) и волшебники, Франсуа и Анри, двигаются по столовой легко и тихо, как привидения. Иногда мы беседуем друг с другом, — так же тихо и сдержанно, и наши разговоры кажутся выполненными тайны...

В действительности, быть может, все это вовсе не так уж таинственно... Быть может, таинственность всему этому придают монументальные размеры комнат, толщина стен, высота потолков, величавые, словно в старинном готическом соборе, окна и сказочно красивая разрисовка цветных стекол. Громадное пространство столовой, высокие пиясты потолка, монументальный, словно ворота храма камин — вся эта обстановка, рассчитанная на богатырей прошлого времени, на могучие голоса, на тяжелую поступь, на жаждущие простора жесты, все это делает нас какими-то пигмеями и неслышно скользящими тенями...

В остальное время волшебники исчезают. Исчезаю и я. Я ухожу работать в свою комнату-башню.

Сидя там, я слышу за окнами неумолкаемый говор океана и вижу за деревьями парка темно-синюю тучу его грозного пространства... Если я обернусь к противоположному окну, то вижу белую от пыли дорогу между деревьями и кустами. Дорога пустынна, как и все вокруг замка. Лишь изредка по ней проезжают крестьяне и любители-охотники из соседнего городка.

Я работаю и по временам гляжу на океан и облака. Моя фантазия подхватывает каждый случайный намек, каждое нечаянно услышанное слово — и создает из этих беглых отрывков целые картины и образы...

...Сегодня утром кто-то сказал: «Кларимонда». Мельком услышанное мною имя сверкнуло и погасло, как упавшая звезда. Но оно поразило меня своей красотой.

Кларимонда!

Кто мог бы найти и придумать такую словесную красоту? Какой поэт-филолог? Вероятно, это был друид, и имя это пришло ему в голову, когда он в лунную ночь совершал жертвоприношение светлой и загадочно-прекрасной царице ночи.

Это имя соткано из лунного света. От него веет красивой жизнью романического прошлого. Так звали принцессы или прекрасную волшебницу, и из-за нее страдали и умирали короли и рыцари...

Вечером я по обыкновению пошел на берег.



Над океаном стояла громадная полная луна, и от нее до самого берега шел по волнам золотистый след. И как ни метались озлобленные волны, они не могли ни утопить, ни стереть этого светлого пути, который, казалось, шел к самому моему сердцу...

И вдруг в моем мозгу опять пронеслось:
«Кларимонда».

Так неожиданно и с такой силой, словно удар по виску. Я невольно вздрогнул и схватился за сердце.

Я смотрел на прекрасную луну и все время думал только одно: «Кларимонда». Это имя наполнило собою весь мой ум, все его закоулки и изгибы, как наполняет вода опущенный в нее кусок гигроскопической ваты. Имя Кларимонды стояло над моим мозгом, как луна над взволнованным океаном, покоряя его своим спокойным и ясным сиянием...

Но кто же, наконец, Кларимонда? Кто она?

Я стал вспоминать, как и при каких обстоятельствах я впервые услышал сегодня имя Кларимонды? Откуда и с чьей помощью оно проникло в мое сознание?

Но я не мог вспомнить этого. Должно быть, оно носилось в здешнем воздухе вместе с легендами и поверьями. Во всяком случае, мне было необходимо избавиться от это-

го странного и томительного очарования. Это имя положительно мучило меня.

И я решил, что самое лучшее средство отдалиться от этого гипноза — это написать какую-нибудь фантастическую новеллу, в которой действующим лицом была бы Кларимонда.

Я вернулся в свою башню, сел за письменный стол и стал придумывать сюжет.

Но мне приходили на ум лишь банальные выдумки, которые были совершенно недостойны прекрасного имени, так поразившего мое воображение. Моя творческая фантазия была словно заворожена этим именем и, ослепленная им, ничего не видела в веках и народах. Она как бы застыла в том странном трансе, в который впадает гипнотизируемый после того, как ему показали блестящий предмет...

В отчаянии я прекратил попытки создать историю Кларимонды работой сознательного творчества. Я решил по-пробовать отдаваться творчеству полубессознательному. Стаяясь ни о чем не думать, я написал первую попавшуюся на ум начальную фразу будущей повести о Кларимонде:

«Кларимонда проходит мимо замка».

Что дальше — этого я еще не знал. Эта фраза была просто вызов моему творчеству — тот крик, который должен был разбудить его. Я написал эту фразу и ждал, что будет далее.

Но мое творчество спало... Быть может, оно совсем угасло, истощенное чересчур напряженной работой за последнее время...

В крайне мрачном настроении я бросил работу и лег в постель.

Но заснуть я не мог... Лунный свет пробивался сквозь высокие, заостренные вверху окна и рисовал на полу и на стенах световые фосфорические узоры...

Сколько поколений созерцали здесь этот свет и эти узоры, неизменно от века? Сколько историй любви и ненависти разыгрывались здесь, в этих старых стенах, при свете вечно юной луны, неизменной спутницы почти всех самых

красивых и самых страшных моментов человеческой жизни во все века и у всех народов?

В какой же из этих историй участвовала Кларимонда? Я был убежден, что она принимала в них участие...

И вот опять это имя пришло мне в голову, и опять меня охватила смутная тоска. Мне было досадно, что я не могу справиться с поставленной себе художественной задачей. Я решительно не мог уснуть. Я встал. Я захотел еще раз испытать свои силы...

III

Моя спутанная речь разбилась надвое...

(Вальтер фон Фогельвейде)

Несколько раз я перечитывал эту фразу:

«Кларимонда проходит мимо замка».

Зачем она проходит мимо замка? Куда она идет? Идет ли она в действительности, или она только видение, рожденное лунным светом?

Мною вдруг овладела нелепая мысль:

— Быть может, Кларимонда сейчас в самом деле проходит мимо замка?

Разумеется, я отлично сознавал, что подобная мысль не может овладеть здравомыслящим человеком. Но ведь я писатель-художник... Я понимаю, что привидения, как и вся фантастика, есть лишь результат специально настроенного воображения и самогипноза. Но я считаю необходимым не только пользоваться таким результатом, но и культивировать его с художественными целями. А кроме того, надо же иметь мужество сознаться, что во мне совместно с так называемым здравомыслящим человеком живет и фантаст, который поддается настроениям с чрезвычайной легкостью и даже склонен к чисто ребяческим переживаниям страха,

любопытства и восторженности, которые тесно связаны с верой во все фантастическое.

Итак, упомянутая мысль овладела мною, и я счел это обстоятельство до известной степени законным и не пытался бороться с охватившим меня настроением. Мне стало жутко, но тем не менее, я пожелал убедиться, верно ли мое предположение, или нет?

Я был почти уверен, что, когда я буду глядеть в окно, выходящее на дорогу, Кларимонда пройдет мимо замка. Я внушил себе это, и я ее увижу! И я отдернул штору...

В серебристо-мутных лунных сумерках белела вдали длинная лента шоссе. Прошло несколько минут... Прошел, быть может, час... Ничто не показывалось там. Мне стало стыдно и досадно, и я отошел от окна, смущенный своим ребячеством...

Утром за завтраком я спросил дворецкого:

— Г-н Ланглуа, не знаете ли вы, кто такая Кларимонда?
Ланглуа задумался.

— Не знаю, — произнес он. — У нас в окрестности, кажется, нет никого, кто носил бы это имя.

— А не звали ли так какую-нибудь из прежних обитательниц замка?

Ланглуа возразил:

— Я плохо знаю родословную маркизов де Боклэр. Если это вас интересует, то вам лучше всего обратиться к самому маркизу.

— Меня это очень интересует, но к маркизу я пока не стану обращаться. Я не хочу нарушать его летний покой. Быть может, я справлюсь с моей задачей собственными силами.

За обедом я спросил г-на Ланглуа, не может ли он сообщить мне чего-либо касательно привидений, показывающихся в замке?

Дворецкий, по-видимому, был удивлен моим вопросом, тем более, что я спросил его совершенно серьезным тоном.

— Я в это не вхожу, сударь, — возразил он. — Я слишком занят хозяйством.

Г-н Ланглуа большой хитрец и политик. Он не хочет, чтобы его заподозрили в легкомыслии... Хозяйством он занимается очень мало. Он просто читает целый день газеты и больше ничего.



— Однако не может же быть, чтобы в таком старом замке не было штатных привидений! — настаивал я.

Г-н Ланглуа, подумав, сказал:

— Быть может, вам об этом даст сведения мадам Ланглуа. Я скажу ей.

— Пожалуйста!

Я беседовал почти целый час с мадам Ланглуа. Она держалась чопорно и так же, как и ее супруг, прежде всего старалась не уронить собственного достоинства. Но после двух ста-

канчиков вина разошлась и сообщила мне кое-какие данные.

— Теперь здесь ничего не слыхать, — промолвила она с оттенком сожаления

— Не может быть, — настаивал я.

— Уверяю вас, сударь. С тех пор, как у нас провели электричество, привидениям в замке нечего делать.

— Но ранее? До электричества?

Мадам Ланглуа сделала таинственное лицо и поведала, что в прежнее время в замке бродила некая Розамунда. Но она являлась только мужчинам и притом хорошо сложенным, так как она отличалась дурной нравственностью. Затем, в замке встречали двух братьев, которые некогда убили друг друга. Братья так и ходили по замку с окровавленными кинжалами в груди. Иногда показывался еще какой-то страшный мертвец, погибший от голода. Но он бродил по замку только в праздники и (мое предположение!), вероятно, искал в буфетах чего-либо съестного...

Но Кларимонда, Кларимонда?

О Кларимонде мадам Ланглуа ничего не слыхала. Кларимонды не было...

Я отправился к кюрэ и просил его показать мне старинные книги о родившихся и погребенных. Кюрэ повел меня в церковь и разложил предо мною целую гору старых замасленных фолиантов в кожаных переплетах. Сознаюсь, мне стало немного жутко от одного вида этих книг. От них веяло могилой и тлением, и мне показалось, что на их страницах я увижу страшные образы смерти...

Я имел мужество и терпение перелистать их все. Я просмотрел столбцы новорожденных и покойников на расстоянии не одного столетия... И, наконец, о, радость, я нашел Кларимонду.

Да, Кларимонда была! Это была маленькая девочка, дочь сапожника из Эльзаса. Она умерла восьми лет от роду

в 1783 году от оспы. От той же болезни, от которой погиб Луи Пятнадцатый.

Но что значит для меня эта восьмилетняя несчастная крошка? Я испытал большое разочарование...

И больше я уже не нашел никакой Кларимонды.

...Мои работы не идут... Это странно и глупо, но они так и не могут наладиться и встать на рельсы. Мой творческий механизм испортился, и испортила его Кларимонда.

Каждый вечер, как только над замком и океаном поднимается золотисто-желтая луна, я испытываю тоску и тревогу. Я думаю о Кларимонде. Мои тщетные исследования не охладили меня. Кларимонда должна существовать. Она существует. Иначе, почему же я так волнуюсь и так теряю работоспособность? Не схожу же я с ума?..

Лист бумаги с начатой повестью о Кларимонде лежит нетронутый на моем столе. Я так и не вписал туда еще ни одного слова сверх той фразы, которая была написана: «Кларимонда проходит мимо замка...» Но что дальше — я так и не знаю и не могу придумать..

Настроение у меня отвратительное... Не глупо ли это? Почему я должен непременно писать эту повесть? Зачем так поддаваться какому-то нелепому самовнушению? Не проще ли позабыть весь этот лунный бред? Не уехать ли временно куда-нибудь на морское купанье, где теперь так много всякого народа, шума, красочной пестроты? Я люблю одиночество, но если оно довело меня до глупостей, то необходим временный рецидив к толпе и шуму...

Сегодня вечером я уезжаю.

IV

Я видел много чудесного...
(Вальтер фон Фогельвейде)

Но я не уехал...

Я не уехал, потому что она здесь и я люблю ее...

Она существует... Я видел ее. Я вижу ее каждый вечер, каждую ночь... И что всего радостнее для меня — моя повесть идет вперед... Она будет прекрасна... Но только дело в том, что эта повесть о Кларимонде, кажется, не совсем моя... И, пожалуй, даже совсем не моя... Ее пишет кто-то другой... Быть может, ее пишет сама Кларимонда... И только почерк безусловно мой...

Я ни о чем теперь не думаю и ничем иным не живу... Повесть о Кларимонде и Кларимонда... Повесть эта будет моим лучшим временем в моей жизни...

Я расскажу, как это случилось.

Я собирался выехать из замка в пятницу вечером, чтобы поспеть к поезду в девять часов. Чемодан уже был уложен, и все было готово к отъезду, но кучер медлил подавать. А я вспомнил, что оставил в башне одну из моих записных книжек, и поднялся туда, чтобы взять ее...

Я нашел ее на окне, выходящем на дорогу. Я положил ее в карман и на минуту замедлил у окна. Предо мной расстипался знакомый пейзаж, уже освещенный луной. Я смотрел на дорогу и на далекие горы, любуясь красивым лунным освещением.

И вот я обратил внимание на то, что вдали дорогу окутал туман. Легкий, полупрозрачный, какой бывает по утрам после дождливой ночи, когда вся земля словно дымится. Вскоре от него отделилось маленькое облачко и медленно поплыло по дороге к замку...

С большим интересом и с величайшим спокойствием я наблюдал это необычайное метеорологическое явление. Мне даже стало досадно, что я не выехал на станцию раньше,

потому что тогда я мог бы наблюдать это явление с более близкого расстояния.

Облачко все более приближалось и светилось лунным сиянием. И я убедился, что оно принимало форму человека...

И вот мимо замка прошла вся окутанная лунным светом женщина в белом одеянии...

...Я очнулся за своим письменным столом. Предо мною лежал исписанный лист бумаги. На нем было написано моим почерком:

ПОВЕСТЬ О КЛАРИМОНДЕ И О ТОМ, КТО БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН В БАШНЕ

«Кларимонда проходит мимо замка.

«Она вся светится лунным блеском. На ней белоснежное платье. В ее волосах сверкает ослепительный бриллиант. Она прекрасна! Кто хоть раз в жизни увидит ее, тот безумно ее полюбит и никогда не забудет — даже на ложе плача...

Само имя ее сверкает, как бриллианты росы при свете луны. Само имя ее прекрасно. Оно западает в душу, и невозможно слушать его без радостного трепета... В нем светит очарование любви, вечной и светлой, как Небо.

От одного конца мира и до другого конца она проходит сквозь тучи столетий... Вокруг нее теснятся страдания, ненависть, ревность, ужас смерти.. Словно шипы и острые камни, они ранят ее... Но свет от бриллианта падает на раны и исцеляет их.

Много веков тому назад, она уже проходила здесь мимо замка. Она подходила к стенам высокой башни и поднимала руки к маленькому окну наверху. И тот, кто был



заключен в башне, посыпал ей привет и слезы любви...

И страдание опускалось между ними, как черная занавесь. И только бриллиант сверкал во мраке, пронизывая своим блеском тьму страдания...»

На этом рукопись прерывалась.

Что должно было быть дальше, я не знал... Я и теперь не знал ничего, хотя все это было написано моей рукой в состоянии какого-то странного гипнотического транса.

Я так устал в эту ночь, что не раздеваясь упал в постель и спал, как убитый, до десяти часов утра.

Об отъезде я уже и не думал...

...Это было вчера.

Она подошла внизу к стене моей башни и подняла на меня свой взор. И я почувствовал такую любовь к ней, что заплакал.

Я воскликнул, не помня себя:

— Кларимонда! Наконец-то ты пришла!

— Да, я пришла! — ответила она, и мое сердце вздрогнуло, услышав ее голос. — Возлюбленный мой! Ты страдаешь, ты изнемог! Как жестоко он поступил с нами!

— Кто «он», Кларимонда?

— Разве ты забыл? Тот человек, чье имя я боюсь произнести... Он так ненавидит нас.

— Разве нас кто-нибудь ненавидит, Кларимонда?

— О, да! — печально ответила она. — Ведь это он заточил тебя в башню...

Я почувствовал смутную тревогу от этих слов... Что это значит?..

— Меня никто не заточал. — возразил я. — Я нахожусь в башне по своей воле и могу выйти из нее, когда хочу. Хоть

сейчас.

Она радостно засмеялась:

— О, выйди! Приди ко мне!

Я отошел от окна, чтобы пойти к ней... Но со мной случилось головокружение. Я упал и ничего не помню, что было далее... Очнулся я за письменным столом. Уже светало...

Я несколько раз перечитал, что было написано далее в повести о Кларимонде... Это так странно. Это похоже на бред... Я не сомневаюсь, что я уже любил когда-то Кларимонду — в прежней моей жизни... Но я не думал, что это такая трагедия, и что это...

Я должен навести справки у маркиза...

V

Минувшее проходит предо мною...

(«Борис Годунов»)

«Мольде (Норвегия), 15 июня 19...

Дорогой друг!

Во время моего летнего отдыха я избегаю заниматься умственным трудом и не выношу писем, как активно, так и пассивно. Поэтому я был смущен, получив Ваше неожиданное послание, да еще с такими романическими запросами. Ради Вас я нарушу мое летнее молчание, но под непременным условием: Вы посвятите мне что-нибудь из Ваших последних произведений, написанных Вами в замке Боклер.

Помещение, которое Вы занимаете в замке, т. е. Южная башня, конечно, имеет, как и все в замке, свою историю. Разве я ничего не говорил Вам о ней?

Эта башня имела в разное время разные назначения. Я могу сообщить Вам некоторые исторические данные, полагаясь, впрочем, исключительно на свою память, так как у меня под руками здесь нет документов. Если Вы не полениетесь порыться в архиве (ключ у Ланглау), то Вы, вероятно, установите более точные даты и данные.

Наш замок построен моим предком, Филиппом Красным, в 1214 году. Вначале это было довольно скромное произведение архитектурного искусства. Замок имел тогда четыре башни по углам, по числу стран света, и неизбежный «донжон» посредине. Одна из этих первобытных башен и была та башня, в которой Вы ныне обитаете. Какой вид она имела в те давнопрошедшие времена, я к сожалению, не знаю. Наши фамильные гравюры не восходят до того времени.

Филипп Красный был несчастлив в семейной жизни. Он был убит своей супругой, которой не нравилось, что он имел красные волосы и (что гораздо существеннее!) мешал ее связи с пажом... Убийство, мой друг, к сожалению, произошло в Вашем помещении. В старинной хронике нашего замка говорится о пятнах крови, которые в годовщину катастрофы выступают на полу и на стенах. Я никогда их не видел, но надеюсь, что Вы, как поэт и фантазер, будете счастливее меня в этом отношении.

Итак, в Вашем помещении находилась когда-то спальня бедняги Филиппа. Позднее (приблизительно в конце четырнадцатого века) потомок Филиппа, аббат Луи, или Клодвиг, под влиянием религиозного экстаза заточил себя в спальню своего злополучного предка и уморил себя там голодом... Воображаю, какая обстановка была тогда в Вашей башне и какой воздух!

Но это обстоятельство не смущило позднейших владельцев замка. Замок был капитально перестроен и расширен. Башню, где скончался от неправильно понимаемой диеты аббат Клодвиг, проветрили и привели в жилой вид. И там справляла свою брачную ночь прелестная Розамунда, супруга Франсуа-Шарля, пользующаяся в нашей хронике большой и, увы, весьма скандальной известностью. Допод-

лиенно известно, что, кроме доброго Франсуа-Шарля, в занимаемой Вами башне пользовались правами супруга и многие другие лица. Некоторые из них хорошо известны и в официальной истории нашей страны. Кроме любви, мадам Розамуда охотно занималась политикой. У нее был свой политический салон, и салон этот помещался в ее спальне... И я не ошибусь, если скажу, что в те времена Ваша башня была не только очагом семейных клятвонарушений, но и одним из департаментов государственного управления.

Потом в ней долгое время обитали только крысы и летучие мыши, потому что мадам Розамунда при ее сангвническом темпераменте не могла успокоиться даже после своей кончины и стала являться в своей бывшей спальне в виде привидения. Хотя она являлась только мужчинам и притом лишь красивым и физически сильным, однако, ее комнату заколотили, потому что, мой друг, даже и физически сильные мужчины бывают подвержены страху.

Еще позднее (это было, я думаю, в середине XV-го века) Ваша башня служила тюрьмой... Правда, это была довольно приличная для того времени тюрьма, но тому, кто был в ней заключен, от этого не было легче...

Когда я дошел до этого места в письме маркиза, у меня закружилась голова и что-то толкнуло меня в сердце. С большим трудом я поборол охватившую меня слабость и сквозь застилавший глаза туман прочел то, что было написано дальше...

«...Эта история немного напоминает историю Ромео и Джульетты, печальнее которой, как известно, нет ничего на свете...

Он любил ее. Она платила ему такой же любовью. Но их счастье было погублено злым дядей, который встал молодым влюбленным поперек дороги.

Эта история вошла в некоторые средневековые “фаблио” и, быть может, уже известна вам. Она проста и наивна, как и все эти средневековые новеллы, и немного жестока...

Он, т. е. герой нашей повести, молодой человек лет во-семнадцати, жил у своего дяди, маркиза Этьена де Боклэра. Она была столь же молодая девушка неизвестного происхождения, но очень известная во всей округе своей красотой. Наш молодой человек пожелал соединиться с ней узами законного брака. Но дядя, который, по-видимому, сам имел виды на эту девицу, решительно воспротивился этому браку и решил устраниć племянника с дороги.

Он был человек хитрый и, по-видимому, большой руки формалист и педант. Он мог бы устраниć юношу без всяких церемоний, но предпочел оформить устранение и придать ему характер печальной необходимости.

Он обратился за советом к предсказателю, и этот последний — несомненно, мошенник — торжественно объявил маркизу де Боклэру, что ему отнюдь не следует допускать никакого сближения его племянника с упомянутой девицей. Ибо в тот самый момент, когда влюбленные соединятся, он, то есть маркиз де Боклэр, мгновенно падет мертвым, к ужасу и печали всего населения...

Мог ли маркиз Этьен де Боклэр допустить такой финал? Умерщвлять племянника было ему неудобно, и он решил заточить его в тюрьму в собственном замке и строго наблюдать за юношой, чтобы тот не ускользнул из тюрьмы и как-нибудь не соединился с предметом своей страсти...

Бедные влюбленные были разлучены. Они были разлучены. Он был посажен в ту самую башню, в которой сейчас обитаете Вы, а она... могла изредка видеть его в окне башни...

Вы спросите, каков был конец этой печальной истории? Он был не менее печален: молодой человек просидел в заключении долгие годы (ему не удалось пережить дядю). И он так и умер в своей башне от туберкулеза — если тогда уже существовал туберкулез. Возможно также, что он уморил себя голодом, подобно своему предку, аббату Клодви-

гу... А она просто исчезла... Если хотите, дополните этот конец своим воображением.

Эта история самая длинная, мой друг. Остальное, что случилось в вашей башне...»

Но с меня было довольно и того, что я прочитал...

Теперь я знаю все... И я могу теперь сознательно отнести к тому, что написано далее в моей рукописи и что так смущило меня... Да, это была трагедия, и что-то говорит мне, что трагедия эта еще не кончилась...

VI

Что есть истина?

Ланглуа утром спросил меня:

— Вам нездоровится, сударь?

Я удивился.

— С чего вы взяли? Я совершенно здоров.

Но этот лицемер принял таинственный вид и сказал:

— Видите ли, мне показалось, что у вас нехороший вид...

Вы плохо спите. И ничего не кушаете...

— Ну, так что ж?

— Я хотел предложить вам... Может быть, следует пригласить врача?

Я вспылил.

— Вы сошли с ума, Ланглуа!

И, чего со мной никогда не случалось, я бросил нож и вилку и встал из-за стола в совершенном раздражении. У меня даже закружилась голова и забегали мурашки по спине. И задрожали руки...

Потом мне стало смешно. Чем провинился этот бедняга? Только тем, что заботится обо мне?

Но беспокоиться и заботиться обо мне глупо. Я здоровее, чем когда-либо. Моиочные похождения только укрепляют мою энергию. Я еще никогда не жил такой полной и исчерпывающей жизнью, как теперь. Но я не люблю, когда ко мне пристают с пустяками...

Луна всходит теперь позднее и светит не так ярко. Но при ее неполном, фантастически задумчивом свете наши свидания с Кларимондой приобретают особенную прелесть.

Я переживаю необыкновенное счастье. Я сразу помолодел и превратился в пылкого юношу. Вероятно, то же самое испытывал доктор Фауст в первые дни своего чудесного превращения.

Иногда мне кажется, что я действительноучаствую в каком-то волшебном театральном представлении — в опере, написанной каким-то величайшим гением. Окружающая обстановка кажется мне великолепной декорацией: высокая стена зелени, лунный свет, крупные яркие звезды в темносинем небе, живописные, фантастически-величественные стены замка... И мы с Кларимондой, такие маленькие на фоне этой величавой обстановки, но такие великие и мощные по силе охватывающего нас чувства... От нас вздымается в беспредельную высоту громадная волна музыки, и мы тоже в ней и задыхаемся от счастья.

Она прижимается ко мне, и я слышу в ней биение жизни... И тогда все мои опасения, что Кларимонда привидение и обман моего повышенного воображения, разлетаются прахом.. Она живая! Она гораздо более живая, чем тысячи людей, чем я сам... Скорее, я — привидение, которое показывается хозяину замка — Времени... А Кларимонда живая...

Я не знаю, как могло случиться, что она живая, но это так! Теперь я совершенно уверен в этом. Ибо я вижу и чув-

ствую это...

Правда, во всем этом много странного и непонятного для моего ума, непривычного к этим новым для меня явлениям и ощущениям. Почему, например, мое общение с Кларимондой, при всей его реальности, отделено от остального моего бытия как бы какими-то ширмами? И затем: я живу вовремя моих свиданий с Кларимондой особенной повышенной жизнью, как бы расцвеченней и освещенней гигантским прожектором, но никак не могу уловить того момента, когда я ухожу из этой жизни в обычную жизнь... Между тем, мои встречи с Кларимондой вовсе не сон. Я всеми силами своего духа протестую против этого! Разве бывают сны, исполненные такой логичности, последовательности и реальности?

Нет, это не сон, а явь. Особенная прекрасная явь, которой я пока еще не нахожу объяснения...

Но что ж из того? Сколько веков люди наблюдали явления электричества и гипноза и не имели никаких точных объяснений этих явлений... Нужно ждать. Объяснение явится когда-нибудь потом. Наверное, человечеству предстоит еще много таких объяснений... Слишком обширно поле всего того, чего мы *не знаем*.

...Я лег на скамью и положил голову на колени к Кларимонде. Она нежно перебирала мои волосы своими тонкими просвечивающими пальцами. Я не мог оторвать взгляда от ее прекрасного лица.

Мы долго молчали, прислушиваясь к музыке нашего счастья. Потом она промолвила:

— События повторяются. Я боюсь, что с нами случится то, что уже случилось однажды.

В ее голосе звучала печаль. Я вздрогнул.

— Что ты хочешь этим сказать, Кларимонда?

— Я чувствую, что наступает то же, что было *тогда*, — продолжала она. — События опять становятся такими же...



Я сжал ее маленькую ручку в обеих своих руках и, стараясь придать голосу беззаботный оттенок, возразил:

— Кто же может разлучить нас теперь?

Она молчала, тихо гладя мне волосы. Я заглянул ей в глаза и увидел, что она плакала...

Я воскликнул:

— Кларимонда, радость моя, зачем ты плачешь?

И продолжал более спокойным тоном:

— Что может случиться с нами дурного *теперь*?.. Ведь нынче и в помине нет прежнего суеверия и бесчеловечной жестокости. Хотел бы я знать, кто посмеет заточить меня в башню! Воображаю, какой шум подняла бы печать, парламент, посольство...

— Возлюбленный мой, — прошептала Кларимонда, и слезы на ее глазах засияли ярче. — Я знаю только то, что мы вступили на прежний путь. То, что случится с нами, произойдет совсем иначе, но все-таки это будет то же самое...

Я спросил:

— Опять разлука? Опять окно в башне и тьма страдания?

Она кивнула головой.

— И дядя — этот злой дядя повторится?

Кларимонда вздрогнула:

— Он уже едет сюда...

Мне стало жутко.

— Кто он? Кого ты подразумеваешь под дядей?
Она молча показала на замок.

Я понял... Но, честное слово, это до такой степени нелепо, что скажи мне это кто-нибудь другой, а не Кларимонда, я снова пришел бы в бешенство.

Я воскликнул:

— Этого не может быть. Ты не знаешь его. Это мой лучший друг и притом в высшей степени культурный человек.

Кларимонда молча обвила мне шею и склонилась ко мне на грудь.

Я очнулся, как всегда, у себя в башне, за письменным столом.

Эти глупцы, кажется задались целью довести меня до настоящего бешенства. Тем хуже для них. Они увидят, на какие взрывы гнева я способен, когда меня выведут из седя...

Нахал и идиот Ланглуа отказался выдать мне ключ с собой. Наглый вздор! Маркиз сам писал мне, что ключ у Ланглуа.

Мне нужно найти в архиве кое-какие данные... Но все равно. Я не хочу иметь теперь никакого дела с этой челядью.

Но я должен сознаться, что и я не совсем умно вел себя с Ланглуа: в раздражении я бросил в него стаканом. Это вышло слишком демонстративно. Он по-ребячески испугался и даже убежал из столовой, словно я собирался зарезать его...

Во время обеда эта каналья прислуживала мне с преувеличенной заботливостью. Но ухитрился снова испортить мне настроение.

Он промолвил с приторной и хитрой улыбочкой:

— Маркиз послезавтра приезжает сюда. И тогда, конечно, ключ от архива...

Я был поражен. Маркиз приезжает? С какой стати? Ведь он категорически объявил мне, что ранее осени он ни за что не вернется в замок... Что это значит?

Я сдержанно промолвил:

— Не понимаю, почему маркиз возвращается сюда так скоро.

Хитрый дворецкий опять улыбнулся.

— Я думаю, что у него экстренное дело в X. Во всяком случае, маркиз сегодня телеграфировал, что выезжает из Христиании и послезавтра будет дома.

Но какие же могут быть экстренные дела у этого жуира, который так старательно обеспечивает себя от каких бы то ни было дел, по крайней мере, за полгода вперед, и в особенности в летний сезон?

Меня охватила тревога. Мне вдруг вспомнились опасения Кларимонды... Нет, это слишком глупо!

VII

Ни жизнь, ни сон, ни мрак, ни свет...

«Дядя» приехал.

Кларимонда так настроила меня против него, что я встретил своего друга, маркиза де Боклэра, довольно неприветливо. Я спросил, почему он так внезапно нарушил свой летний отдых? Он пожал плечами:

— Дела...

Я не удержался от вторичного саркастического вопроса: почему он на этот раз изменил своему обыкновению предаваться летом ничегонеделанию, и какие такие «дела» вызвали его из Норвегии?

Он серьезно, и, как мне показалось, грустно взглянул на меня:

— Вы, должно быть, порядочно переутомились, мой друг, — промолвил он. — Зачем так убивать себя работой?

Я едва удержался, чтобы не вспылить. С чего он взял, что я переутомился? И почему такой тон, словно он говорит с умирающим? Это просто глупо и бес tactно!

Я пробормотал сквозь зубы:

— Напрасно вы беспокоитесь, маркиз. Я желал бы и вам такого же прекрасного здоровья, как мое.

Маркиз опять пожал плечами и как-то странно взглянул на меня.

Как это ни глупо, но его приезд решительно расстроил меня... Вдруг Кларимонда окажется права... Надо быть осторожным...

...За мной следят! Еще этого недоставало!

Это так отвратительно, что мне не хотелось бы даже писать об этом... У меня такое ощущение, словно я окунулся в давно прошедши времена, когда всюду шныряли шпионы и наемные убийцы, и людей хватали и без суда и следствия бросали в тюрьмы... Неужели Кларимонда права? Неужели жизнь, при всем ее прогрессе, вступает временами на прежний путь? Неужели возможны рецидивы к грубому и страшному прошлому?..

Вчера вечером я по обыкновению отправился в парк на свидание с Кларимондой. Но меня ждало разочарование: Кларимонда не пришла. Я увидел ее только на мгновение вдали: она мелькнула, как светлое облачко на дороге и исчезла.

Я тщетно прождал ее почти до утра. Луны сегодня не было, и кругом царила тяжелая темнота. Океан глухо ревел во тьме, и волны разбивались о берег с грохотом пушечных выстрелов. В крайне удрученном состоянии я отправился к себе в башню. У меня было такое ощущение, как будто у меня отняли Кларимонду и заковали мое сердце в цепи...

Вдруг я заметил, что за деревом мелькнула какая-то тень... Это был соглядатай. За мной следили! Я кинулся с

поднятыми кулаками, но тень бесследно исчезла...

Я знаю, кто это...

...Кларимонда не приходила...

...Кларимонда и сегодня не приходила. Что это значит? Я мучаюсь тоской и страхом... Что с ней? Что такое готовится в нашей судьбе? Ее исчезновение я ставлю в прямую связь с приездом «дяди» и теряюсь в неразрешимых вопросах...

Куда она исчезла? Быть может, она боится приходить в парк? А может быть, ее заточили? Не меня, а ее.

VIII

*Isôt ta mie, Isôt ma drue,
En vous ma mort, en vous ma vie...*

(Сказание об Изольде прекрасной)

...Я, кажется, действительно переутомился. Я немного незддоров. Они до известной степени правы: мне в самом деле не мешает отдохнуть и полечить нервы.

Вчера ночью я стрелял из моего браунинга в шпионов и прострелил одному из них ногу. Они опять подкарауливали меня в парке...

А сегодня поутру я имел тяжелое столкновение с маркизом. Я прямо и категорически обвинил его в том, что он насильственно удалил от меня Кларимонду. Я назвал его

негодяем и дал ему пощечину. И заявил ему, что если он считает нужным, то может пригласить меня к барьеру.

Он ничего не возражал мне и не вспыхнул от моих оскорбительных слов. Он только отшатнулся, когда я его ударили, и все время повторял:

— Мой бедный друг! Мой бедный друг!

Этот «бедный друг» окончательно вывел меня из себя. Я не мог вынести этого тона, этого сожаления. Я бросился на него...

Меня схватили, и я не помню, что было дальше...

Я очнулся в своей комнате, в башне... Я лежал раздетый в постели, с обвязанной головой, с ледяным пузырем на темени, и ощущал страшную слабость и разбитость во всем теле.

Да, я незддоров... Они говорили, что нужно пригласить врача. Пускай приглашают... Я ничего не имею против врачебного вмешательства. Я хочу быть здоровым, потому что повесть о Кларимонде еще не кончена. А главное, я хочу еще раз видеть Кларимонду, хотя бы для этого мне пришлось отправиться на край света. Я не могу жить без нее... Я слишком люблю ее...

Я слышал, как маркиз говорил врачу что-то такое о наших дружественных отношениях и о том, что он любит меня как родного брата. Врач предлагал немедленно перевезти меня в санаторию, но маркиз и слышать не хотел об этом. Он уверял врача, что сумеет создать для меня такую же обстановку, как в лучшей специальной санатории, и что здесь мне будет гораздо лучше, чем среди посторонних людей...

Я слишком слаб, чтобы протестовать против этого насилия. Меня одолевает полная апатия... Все равно! Я отдохну, выздоровею и тогда буду действовать решительно.

...Они меня непускают! Они меня держат в тюрьме... И ее тоже непускают! Она не приходит.

Луны нет. Небо черное и все кругом черно и печально... Гремят выстрелы волн, и бушует океан. И над замком несутся хмурые тучи столетий...

Я живу, как пленник, в той самой башне, где несколько веков тому назад томился в заключении предшественник моего Я.

Я считал маркиза лицемером. Но вот мне приходит в голову, что, быть может, он в самом деле искренне любит меня. Быть может, он искренне убежден, что здесь мне лучше, чем где-либо, и только поэтому не выпускает меня отсюда...

События повторились: я опять пленник, я опять жилец башни... И тщетно я спрашиваю себя: неужели любовь может налагать такие же цепи, как и ненависть? Неужели то, что прежде делалось во имя ненависти, теперь может быть сделано во имя любви?

Тогда было сказано: «Я тебя ненавижу, и поэтому сиди в тюрьме за глухими стенами...» Теперь говорят: «Я тебя люблю, я забочусь о тебе, и поэтому я не отпущу тебя из этой башни...» Результат один! И результат этот — страдание и тоска и разлука.

Но таков удел всего человечества! Короткий миг счастья, а затем разлука и глухие стены тюрьмы... Тот, кто несчастен, кто болен, кто томится тщетными запросами духа и загадками бытия — тот неизбежно заключен в стены тюрьмы. И несутся над ним тучи столетий, а он стучится в стены своего склепа и тщетно спрашивает и волны и тучи и небо, где выход из темницы?

И только маленький, маленький просвет открывается ему в будущем. И просвет этот — Кларимонда!

Ее нет... Но я знаю, что она опять пройдет мимо замка. Когда появится луна, и свет ее ляжет искрящейся дорогой над океаном, Кларимонда опять придет ко мне... Она подойдет к подножию моей башни и поднимет ко мне руки...

Кларимонда придет... А пока я каждую ночь отворяю свое окно и кричу на весь мир:

«Кларимонда!»

Я кричу в даль веков... И мой крик останется в мире и пронесется через века и народы. И когда-нибудь лунной ночью он коснется слуха моего потомка... Он вздрогнет, услышав таинственное имя Кларимонды. Он будет вспоминать о ней... Он будет искать ее... Он будет любить ее...

Борис Никонов

ЛЕГЕНДА О ФОРТЕПИАНО

Илл. В. Михайлова-Северного



В одном из итальянских монастырей проживал в старые годы монах по имени Франческо Пианоза.

Среди монастырской братии Франческо Пианоза пользовался славой прекрасного музыканта. Он управлял монастырским хором, играл на органе во время торжественных богослужений и даже сочинял музыку к церковным песнопениям. Все свободное от обязательных служб время брат Франческо посвящал музыке. Он до такой степени был увлечен этим искусством, что приор монастыря однажды пришел в смущение: ему показалось, что брат Франческо сотворил себе кумира из музыки.

Приор обратился за наставлением к монсеньору:

— Святой отец, я боюсь, что брат Франческо грешит против первой заповеди.

Но монсеньор успокоил настоятеля:

— Не тревожьтесь, сын мой. Духовная музыка есть один из прекраснейших способов распространять хвалу Всевышнему. Гармонические созвучия, одушевленные верой, наиболее всего приличествуют богослужению. Как вам известно, сами Небесные Силы неустанно упражняются в этом. И если ваш брат Франческо прилагает свою любовь только к духовной музыке, минуя греховную светскую, то я не нижу ничего опасного и грешного в его усердии.

Приор подтвердил:

— Брат Франческо предан исключительно духовной музыке.

— И прекрасно. Святая Цецилия также была предана гармонии божественной хвалы, и Небо внушило ей создать величавый музыкальный инструмент, находящий столь прекрасное применение к богослужению. Я говорю об органе.

Итак, идите с миром и не бойтесь за вашего монаха.

Приор испросил благословение и удалился, успокоенный и уверенный в невиновности брата Франческо.

В действительности, однако, было не совсем так, как предполагал монсеньор.

Монах Франческо Пианоза, несмотря на обязательные для него смиление и бесстрастность, был подвержен страсти. Под грубой власяницей у него билось сердце мирского человека. И хотя он был далек от земных соблазнов, но тем не менее многое из них было ему понятно и беспокоило ему сердце. И в музыке он видел не только средство восхваления Создателя, не только пение восторженной души, устремившейся к созерцанию Неба, но и нечто совсем иное: голос всего мира со всеми его страстями, желаниями и страданиями.

Эта музыка мира обуревала его, как сладкий и жуткий грех. И когда брат Франческо в тиши своей кельи сочинял священные строгие напевы для псалмов, в напевы эти невольно и незаметно для него врывались и песни соловья и весенние шумы и таинственная музыка далеких городских увеселений... Монах ловил себя на этом, ужасался своей греховности и исправлял непослушные мелодии. Но ему всегда было втайне жаль выбрасывать из своего творчества эти соблазнительные, но прекрасные напевы...

С некоторого времени брат Франческо стал явно тяготиться однообразием канонической музыки. Он невольно искал большего разнообразия звуков и большей их подвижности, чем мог это дать медлительный и важный орган — этот инструмент, созданный только для священных хоралов с их плавной и величаво-однообразной музыкой. Тягуче-медлительные звуки органа казались ему слишком тусклыми. Они не могли выразить всей полноты песен, кипевших в груди монаха-композитора.

И стало ему казаться, что ни один из известных ему музыкальных инструментов не годится для того, чтобы воспроизвести в полной мере и в стройной созвучности возникавшие в его душе мелодии. И скрипка, и флейта, и мандолина были чересчур бедны звуком: они годились только

для оркестра, но отнюдь не для одного исполнителя. Каждый из этих инструментов, взятый в отдельности, не мог воспроизвести звучавшую в сердце брата Франческо музыку во всей ее полноте, со всеми сплетающимися в ней тонами и аккордами. Эти инструменты, правда, отличались большим достоинством: подвижностью звука, способностью быстро, почти мгновенно передавать молниеносные восклицания страсти. Они могли быстро отзываться на каждый крик сердца. Тягучий, медлительный орган не был способен на это. Но зато он был многозвучен, и играя на нем, можно было, как в целом оркестре, соединять всевозможные созвучия в одно гармоническое целое.

И мало-помалу грешная музыка совсем овладела душой монаха. Он томился сознанием своей греховности, проводил целые часы в покаянии, но страсть снова овладевала им, и он, забывая слова покаянного псалма, снова прислушивался к звучавшей в нем мирской музыке. И ему пало на ум придумать такой музыкальный инструмент, который соединял бы в себе многозвучность органа с подвижностью и страстью малых инструментов.

Этот новый инструмент должен был петь, как валторна, издавать соловьиные трели, как флейта, рыдать, как страстная скрипка, и в то же время давать всю полноту звуковых сочетаний, так, чтобы один человек, играя на нем, мог управлять целой громадой звуков, как в оркестре. Этот инструмент должен был давать целую сокровищницу звуков, как дает целую сокровищницу красок и ароматов усеянное весенними цветами поле. И притом инструмент этот должен был слушаться каждого мгновенного движения творческой воли и чувства, в противоположность медлительной неторопливой важности органа.

Брат Франческо так углублялся в разрешение этой задачи, что не спал по ночам и забывал о своих монашеских обязанностях. Целый мир звуков кипел в его груди и не находил себе исхода.

Тщетно брат Франческо брался за скрипку, или флейту, или садился за орган. Эти инструменты не были в состоянии выразить пламенное многозвучие рождавшейся в нем

музыки и двигавшее эту страстную музыку мира чувство...

Брат Франческо заперся в своей келье, окружил себя учеными сочинениями, трактовавшими о механике и физике. Сказавшись настоятелю больным, он дни и ночи посвящал изучению этих книг и опытам с придумываемыми им приборами. Он не лгал настоятелю: он в самом деле был болен — его пожирала непрерывная лихорадка творчества, окружившая его ум жутким бредом. Он ничего не ел, почти не пил, совсем перестал молиться, не читал Священного Писания и весь был поглощен снедавшей его заботой и страстью.

Он решил, что изобретаемый им инструмент должен непременно иметь подобие органа — громоздкую форму большого ящика, в котором нашлось бы достаточно места для мощных отголосков множества звуков. Вооружась топором, молотком и пилой, брат Франческо построил нечто в роде яслей или закрома. Инструмент, обильный звуками, должен быть иметь достаточную величину для того, чтобы принять богатую ношу даров благозвучия.

Затем брат Франческо сделал клавиатуру, как у органа. Теперь для него наступила самая трудная часть работы: надо было создать сам источник звука...

Быть может, для иного изобретателя это и не было бы таким трудным делом... Но, вероятно, само Небо разгневалось на монаха Франческо Пианозу за его стремление к страстной светской музыке; на его ум и волю оно как бы наложило запрет, и брат Франческо тщетно силился найти искомое. Он как бы стоял перед каким-то величественным дворцом, врата которого были плотно задернуты непроницаемой черной завесой. Там, во дворце, все было полно света и красоты, но занавесь стояла, как темное облако, и брат Франческо никакими силами не мог поднять даже края ее... Он чувствовал, что его творческий ум гаснет. Но звуки но только не гасли в его душе, но разрастались все более и более и терзали его невозможностью воплотить их в гармонические формы...

Он вспоминал музыкальные инструменты всех веков и народов: трубы, литавры, тимпаны, кимвалы, цитры... Ему

пришло в голову поставить металлические пластинки, как в кимвале, и ударять по ним молоточками. Но звук получался бледный, слабый, точно плач маленького больного ребенка... Притом молоточки ломались, пластинки отскакивали, а звук их сливался в негармонический хаос жалкого дребезжанья...

Брат Франческо пробовал натянуть бычачьи струны. Но его ум был закрыт для дальнейшего совершенствования этого дела: струны растягивались, соскальзывали. Какая-то незримая рука разрушала неугодное Небу монашеское дело... А если и получался звук, то в нем не было ни полноты, ни силы, ни звонкого голоса страсти... А была вялость и тупость, как в мычании вола.

И ничего лучшего так и не мог придумать ограниченный и заключенный ум брата Франческо...

Дни проходили за днями в тщетных поисках и в мучениях неудовлетворенного творчества.

Наступила весна.

Стояла прекрасная теплая погода. Цвели деревья. От грешной и темной земли поднимался тонкий аромат цветов, как молитва раскаяния. Жужжали пчелы, щебетали птицы. В воздухе была разлита сладкая музыка любви и молодости, струившаяся к небу, как воскурение фимиама. День звучал, как симфония радости и жизни, обновленной и прощенной Небом и осиянной обетами бессмертия. А тихая ночь, озаренная лунным светом и очарованная пением соловья, звучала торжественной мессой, в которой все было отдых, покой и примирение после радостного и шумного дня.

Громадный светлый диск луны каждый вечер поднимался из-за монастырской стены и медленно всплыval на заткнанное звездами синее небесное покрывало. И чем выше вздымался светоч весенней ночи, тем прекраснее и полнее звучала музыка мира и тем сильнее томился брат Франческо Пианоза, исполненный тщетной жажды к звукам и их воплощению.

Весь мир представлялся ему громадным оркестром. Ему хотелось стать во главе этого мощного оркестра и соеди-

нить в своих руках управление всеми звучаниями и аккордами, рождающимися в нем.

Но у него не было инструмента, который воплощал бы в себе целый оркестр. И как ни старался брат Франческо Пианоза придумать такой инструмент-оркестр, у него ничего не выходило.

В горьком отчаянии садился он за клавиатуру и беспомощными пальцами ударял по ней... Под ними возникал лишь хаос тусклого дребезжания и скрипа... Звуки рождались и пели лишь в его воображении. Ни светлый день, ни таинственная ночь не могли воспламенить его творческой способности. Брат Франческо был бессилен создать сокровищницу звуков, и звуки рассеивались в темноте его беспомощного и страдающего духа и умирали...

Он падал на каменные плиты в своей келье с горячей мольбой к Небу. Он давал страстные клятвы провести остаток своей жизни в строгом молчании и затворе, в подвигах самобичевания и строжайшего умерщвления плоти, в делах милостыни, молитвы и поста, лишь бы Небо смилиствилось над ним и открыло его ум и изобретательную волю. Но Небо молчало. И в ответ на страстные мольбы брата Франческо, на его рыдания и стоны раздавалось только сладкое дразнящее пение соловья в таинственное журчание лунных лучей, струившихся с сияющей высоты...

Три дни и три ночи брат Франческо провел в молитве и просительном томлении. Три ночи и три дня он лежал, распростервшись крестом на холодном полу кельи. Он возжигал лампаду и каялся в своем греховном вожделении к музыке мира и плоти... И опять, и опять молил Небо открыть ему разум для создания сокровищницы звуков. Но Небо не внимало молитве соблазна и страсти...

Тогда брат Франческо пришел в отчаяние. На четвертую ночь, едва только над кустами и монастырской оградой выплыл громадный желтый диск месяца и зазвенело пение соловья, брат Франческо совершил смертный грех...

Он отрекся от церкви, от Бога, от вечного спасения и возвзвал к Духу Тьмы...

Брат Франческо начертал на двери магический знак, произнес заклятие и лег ниц — головой на запад, к царству Люцифера. Он повергся пред Духом Тьмы и предоставлял ему всего себя — свое тело, свою душу и свою загробную будущность...

За узким окном было так тихо, как будто все на свете умерло и было погребено в могиле вечной ночи и неисчерпаемого молчания... Соловьи молчали. Цикады прекратили свое резкое звенящее пение. Не шелохнулся ни один листок на деревьях и кустах, ни одна былинка, как перед грозой. На мир надвинулось проклятие греха...

И когда желтый круг месяца поднялся над монастырской стеной и темными очертаниями кустов, в его светлом диске вдруг пронеслось черное видение: длинный и тонкий черт, обрисовавшись своей тощей фигурой на светлом фоне месяца, влетел в келью и наступил ногой на шею поверженного монаха.

Он мгновенно умертвил брата Франческо. Затем при свете луны черт разрезал резал мертвому монаху горло и стал вытягивать у него все нервы, свивая их в странный кровавый клубок.

Из этих кровавых нервов он сделал струны и натянул их в сооруженном братом Франческо ящике. Целую ночь трудился Дух Зла над этой работой. К рассвету все было готово. И прежде, чем утренний петух запел свой привет рождающемуся дню, диавол выпрыгнул обратно в окно.

И исчез во тьме, уползшей в кусты.

— Что это стало с братом Франческо? — спросил настоятель, проходя ранним утром под окнами его кельи. — Вот уже несколько дней, как он не выходит из своей кельи и не слышно его голоса. Жив ли он?

— Сейчас я узнаю, отче, — сказал служка и проворно взобрался по поросшей плющом стене к окну брата Франческо.



И с ужасом спрыгнул обратно.

— Святой отец! Брат Франческо лежит на полу... И там везде кровь... — пролепетал он.

Через несколько минут монахи вошли в келью к брату Франческо. Прежде всего им бросилось в глаза следующее странное явление: едва они вошли сюда, как с длинного странного ящика вспорхнула и быстро вылетела в окно черная птица. И бесследно исчезла за окном, испустив щемящий и скорбный вопль.

Это отлетела душа согрешившего монаха.

Монахи подошли к ящику, увидели клавиатуру, как у монастырского органа, и коснулись клавиш. И тотчас же раздался страстный молящий звук, звенящий страданием и болью.

Это пели обнаженные, истерзанные нервы брата Франческо Пианозы, превращенные рукою дьявола в струны музыкального инструмента.

Того инструмента, в котором так странно и прекрасно сочетались величие и плавность органа со страстностью и подвижностью малых инструментов, и в котором нашла выражение томящаяся страстью душа грешного человека, возлюбившего землю с ее сладкими радостями и страданиями паче Неба.

М. Розенкноп

ЛЕГЕНДА О РАЗБИТОМ РОЯЛЕ

I

Он долго жил, свежий и молодой, спокойной и счастливой жизнью. Он стоял в красивой и богато убранной комнате, переливаясь темным, ласковым блеском. С разукрашенных стен, величаво храня свои давно умершие думы, только старинные портреты глядели на него, а по потолку, куда-то устремляясь в молчаливом беге, безмолвно носились над ним безжизненные, распостертые фигуры. Весь день он стоял одинокий и молчал молчанием, полным красных дум и богатых затаенных звуков. Весь день он томился и ждал ту, которой он доверял все свои нежно охраняемые, накипевшие звуки и которая вместе с ним радовалась и горевала, восторгалась и отчаявалась. А вечером, когда тени прилипали к окнам, опутывая серой паутиной дом, она приходила к нему, белокурая и стройная, и любовно склонялась над ним. Мирным, праздничным светом зажигались свечи на нем, по клавишам, точно по ряду белых зубов, лаская, забегали нежные, тонкие пальцы. Она приходила и приносила ему всю непонятную грусть, всю непонятную радость молодости, все далекие, неотгаданные грэзы, все сладкое и пылкое томление пробуждающейся жизни. Тогда в рояле тоже пробуждалась молодая и живая душа, полная смутных, юных порывов. Он начинал петь и вдохновенно томиться вместе с ней, мягко и ласково утешал ее, восторженно что-то сулил и на своих знайных волнах уносил ее куда-то бесконечно далеко, где золотые туманы бродят, и жизнь цветет пышным, манящим букетом. Девушка купалась в этих знайных, томительных, негой напоенных волнах, упльывала и возвращалась, тонула заминая и, оживая, вновь выплыvala. Часто за склонившейся девушки, в углу, в мягких креслах, сидели старик и старуха. Оба неподвижные, как портреты на стенах, как фигуры на потолке, они благоговейно и молчаливо прислушивались и светились тихой, бледной улыбкой, точно старые, заброшенные сосны под бледными, случайно попавшими на них лучами весеннего солнца. Так жил рояль, свежий и

молодой, со своей подругой, белокурой девушки, в красивой и богато убранной комнате...

II

В тот день еще вечерние тени не липли к окнам, еще солнечные лучи задумчиво бродили по роялю, когда с улицы донесся странный гул, новый и не вседневный. В комнате не в обычное время появилась испуганная и бледная, белокурая девушка. Она дрожащими руками окутала рояль в белую простыню, точно дорогого покойника, и торопливо и лихорадочно заложила его мебелью и другими случайно попавшимися ей под руку предметами. Вслед за тем раздался сильный удар в двери, злой и необычный. Дрогнули и насторожились портреты на стенах, стремительнее в испуге побежали безжизненные фигуры по потолку, дрогнул затаенной мелкой дрожью и рояль под своим густым покровом. Еще минуту крепились высокие двери, уперлись из последних сил в косяки, охнули, закачались и, наконец, упали. Комната вся наполнилась людьми, судорожно метнулась, зашаталась под шумными ударами, будто силилась слететь с фундамента. Какой-то бродячий, тяжелый лом вонзился в рояль и вырвал из него глухой, сдерживаемый боязнью крик. Тогда все набросились на него, подняли и, хлопнув крышкой, будто закрывая глаза ему, вытолкнули из высокого окна. Упал, осел на изломанную педаль, точно на искалеченную ногу, последним криком крикнули клавиши и умолкли. Недалеко от него, крикнув тоже в последний раз, будто посылая ему свой предсмертный стон, упала и белокурая девушка, обливаясь собственной кровью...

III

Темной ночью унесли его. Шел дождь, и назойливо ши-

пел, и таинственно шептался с пустыми улицами и переулками, и заливал их липкими и тоскливыми, как безнадежные слезы, струями.

Мрачным стадом бродили тучи над землей, и ветер выл безутешно, точно оплакивал какого-то неизвестного и огромного, как ночь, покойника. Неподвижный и беспомощный, лежал рояль на широких, крепких плечах, обливаясь, будто темной тоской, холодными, липкими ручейками. Унесшие его были все пьяные от крови и разгула и шатались из стороны в сторону, как деревья осенью. Они были одни среди ночи, без провожавших, без встречных, точно забытые людьми и проклятые Богом. Они ходили до поздней ночи и унесли рояль далеко от города, от людей и от шумных улиц на окраину, в какой-то пустой и старый сарай. Тесовая крыша его от ветхости отвалилась, бревна сгнили, а внутри он был полон мусора давно ушедших поколений. Люди давно оставили его. В холодные ночи иногда только какая-нибудь озябшая собака заходила в него погреться, через дыры в крыше кошки лазили и другие зверьки, искающие приюта, а по полу мрачно копошились крысы. Там, в темном углу, его бросили. Падая, клавиши еще раз дрогнули, искалеченный рояль будто силился по-старчески захныкать, жалобно застонать, но уже не мог. Люди вышли, шатаясь и горланя, пьяные от крови и разгула, и заперли двери тяжелым железным замком...

IV

Был вечер. Луна тоскливо смотрела на искалеченную, грустно забившуюся в угол фигуру рояля. Две маленькие звездочки на далеком горизонте тянулись за луной, но, испугавшись необъятной небесной глубины, не решались и дрожали на месте. Двери сарай раскрылись. Сарай наполнился людьми и звуками. И люди, и звуки были пьяны от какого-то внезапно охватившего их непонятного веселья. Гармоникасыала сарай удалыми, плящущими звуками.

За ними гнались усталые и охрипшие от веселья звуки скрипки, а бубны, увлекшись собой и забыв о всем остальном, кувыркались и вертелись на месте. Женщины плясали, а мужчины прихлопывали ладонями и притаптывали каблуками. Вдруг один из мужчин, высокий, с красным лицом, подошел к роялю, поднял крышку и ударил кулаком по клавишам. В этот момент сарай весь дрогнул и затих. Казалось, что люди плясали и веселились на веревке, которая вдруг оборвалась. Скрипка упала, буркнув что-то. Гармоника скрипнула и выскоцила из разжавшихся рук. Бубны повертелись по земле и, звякнув, легли. Громкий, судорожный шепот охватил всех.

— Кто в сарае? — спрашивали испуганно одни.
— Кто проклял здесь? — шептались, пятясь, другие.
— Это не голос рояля, это человеческий голос, — говорили, дрожа, третьи.

— Я узнал его, это голос белокурой девушки, — крикнул исступленным криком кто-то высокий, у дверей. И, устремившись выкатившимися и обезумевшими от ужаса глазами в угол, где стоял рояль, зашатался...

Опустел сарай. Люди бежали с побледневшими лицами, точно гонимые легионом злых духов.

А вслед за ними из пустого сарая мрачным хором гнались загадочные и странные звуки, скорбные и грустные, как напевы осеннего ветра, далекие и жалкие, как давно отзучавшая, печальная быль...

V

С тех пор жители окраины покоя не знают.

В сарае неспокойно. В разбитом рояле живет тоскующая душа убитой белокурой девушки. По вечерам вереницами к ней собираются ее подруги, так же, как и она, загубленные на пороге жизни. В каждой клавише поселяется голос одной из них. И поздней ночью рояль начинает сам собой петь, рыдая заунывным хором свежих, молодых голосов.

Они беспрерывно жалуются и безутешно рыдают о своих безвременно угасших жизнях, о надеждах и грезах юности, увядших без расцвета. И кажется, что то хор ангелов, упавших на землю и плачущих о небе. И далеко вокруг сарая разливаются горечью их жалобы, и сны, бродящие по окраине, бегут в испуге и жители поворачиваются на кроватях, без сна, с разгоряченными головами, с щемящей болью в сердцах. Рассказывают также, что каждую ночь вихрь ли кружится по земле в поисках за кем-то, хмурые ли тучи ползут, роняя тяжелые, непонятные слезы, или чистое небо глядит кроткой, задумчивой сказкой, — у дверей сарая, как у порога храма, какая-то высокая фигура неподвижно стоит на коленях и тихо и благоговейно молится. Говорят, что то убийца, погубивший белокурую девушку, молит о покое и сне. И путник, случайно попавший к сараю, бежит, охваченный непонятным ужасом и незнакомой болью, бежит, не оглядываясь, подальше от окраины в шумные улицы, к веселым огням, к спокойным и счастливым людям...

М. Розенкноп

ГАННАККУЛЛУ

I

Снова день прошел, мучительный и безнадежный, и снова ночь пришла, пронизывая осенней жутью. Весь неистощимый запас своего гнетущего мрака выпустила она, чтобы замуровать все исходы, заткать все щели и просветы и прочнее подавить бессильным ужасом подавленные души. И темнее, и загадочнее стало неведомое.

- Ган-на-кку-л-лу! Ган-нак-кул-лу!
- Слышите, слышите: «Ган-нак-кул-лу».
- Да, да, отчетливо: «Ганнаккуллу».
- Нелепое, бессмысленное проклятое слово! В нем тайна непонятной болезни его.
- Убийственное слово! В нем тайна, может быть, и смерти его.
- Доктор! Все мое состояние, все добро, нажитое годами, за смысл этого слова.
- К сожалению, я беспомощен в этом отношении. Между языками, мне известными, я не знаю ни одного слова, хотя бы отдаленно похожего на это. Но больной ведь лингвист. Может быть, оно взято из языка народа, совершенно неизвестного неспециалистам. Может быть, даже из наречия давно исчезнувшего племени... Впрочем, возможно, что это и не слово. Очень вероятно, что это сплетенные инициалы и обрывки многих слов одной и той же фразы, обнимающей мысль, потрясшую его. В больном, горячечном мозгу, действующем скачками, обрывки, заменяя слова и слившись, могли воплотиться в этом нелепом выкрике.
- Но в нем, доктор, таится то роковое содержание, которое так внезапно и загадочно уложило моего сына в кровать.
- Да, это очевидно.
- Какой ужас, доктор, какое бессилие!
- Тьмы гораздо больше в нашей жизни, чем ясности.
- Слышите, слышите?
- Ган-нак-кул-лу! Ган-нак-кул-лу!
- Бог мой, Бог мой!

Пять полуживых, полумертвых фигур: отца и матери, жены, сестры и доктора, прикованных пытливой, напряженной мыслью к мраку неведомого, склонившись, застыли над мечущимся в бреду больным. Большая комната была ярко освещена, но в отдаленном углу, где лежал больной, было темно. Точно кусочек осенней ночи, прокравшись в дом, пробежал всю страшную светлую комнату и испуганно заставился в углу. И склонившиеся фигуры, хмурые, скорбно согнутые и сосредоточенные, тоже казались ночных, осенними, осенней ночью занесенными. И шепот был ночной: подавленный и тревожный. Временами он прекращался. Тогда говорили беспокойной, осторожной мимикой: кивками головы, пожиманиями плеч, глазами. И беспомощность, и растерянность детей перед взрослым, сильным и угрожающе-незнакомым, тупым, безысходно сосущим гнетом легли на всех лицах...

Что-то темное и загадочное, как само бытие, вдруг обрушилось на спокойный и веселый дом. В светлый, осенний день единственный и любимый сын, брат и муж ушел из дома к обычным, повседневным делам своим и заботам. Ушел давними, истоптанными улицами и переулками тысячелетнего города, к намеченному, годами знакомому дому, к окружающим повседневным людям. И жизнь старого города, издавна налаженная, в тот день, как всегда, спокой-о и ненарушимо текла в своем старом русле. Твердая, вековечная земля не грозила развернуться под ногами, и звезды не грозили обрушиться из своих загадочных глубин. Суетились люди вечной голодной суетой, свистели и гудели машины, звонили колокола, переговаривались колокольчики, медленно и плавно текла река, и прощально и уединенно пели запоздалые птицы в пожелтевших садах. И осеннее солнце, бледное и скучающее, как древняя, измученная старуха, устало брело по небу, все дальше от востока, все ближе к желанному западу, чтобы искупаться в золотой реке, а затем и уснуть.

Все было старо и прочно-спокойно. И вдруг он вернулся неожиданно и невовремя, непонятно и зловеще преображеный, жутко-новый и таинственный; чем-то внезапно

и непосильно потрясенный, зажженный каким-то тайным, мрачным огнем. Точно не в нашем мире где-то побывал он, а кем-то волшебно перенесенный за грань его, окунулся в вечно скрытый от человека, неизведанный хаос тяжелых откровений и тайн и, как губка, всосав их в себя, вернулся оттуда, весь облепленный ими, словно тиной. И, переполненный этими тайнами, силясь что-то рассказать, что-то объяснить, он, захлебываясь, задыхался в одних и тех же затуманенных звуках, которые вырывались в загадочном, чуждом сочетании: «Ганнак... Ганна-ку...ккул-лу».

— Ган-нак-кул-лу! Ган-нак-кул-лу!

И больше не слышно было ни слов, ни звуков, ровно все он их мгновенно и навеки утерял и забыл.

Дрожь ужаса вызывал этот непонятный, лишенный всякого человеческого смысла выкрик. Тупой, мычащий... как камень, тяжело застрявший в горле, он вырывался кусками, глухими и подавленными. И рождалось представление о животном, темными чарами обороченном и пытающемся заговорить по-человечьи. И нельзя было понять, неведомого ли спасителя призывает или невидимого, лютого врага клянет. А когда его, бегающего исступленно по комнате и свирепо обеими руками трясущего виски, будто силясь прогнать нестерпимое сновидение и проснуться, обступили ошеломленные родные, они все увидели новую маску на лице его. В ней тонуло давнее, знакомое лицо, как маленький предмет в огромной тени своей. Это был страх. Осознанный, неумолимо-давящий, каменный, он стоял в расширенных застывших глазах. Словно нечаянно где-то он навлек на себя блуждающий Страх и, перепуганный, пустился бежать от него, но уже не мог убежать, как от собственного тела. И несокрушимой стеной стало безвестное между ним и родными, оторвав его от них и замуровав...

Уже седьмая ночь пришла за тем днем, а он безнадежно метался в озлобленной, хищнической горячке, куда-то унесшей его. Временами он лежал молча и неподвижно, тупо и далеко глядя на всех и на все. Временами бредил. И в смутном бреду повторялось все одно и то же, единственное, нерассеиваемой мглой покрытое слово. Иногда оно вы-

ходило разорванное, глухое... Иногда целое, ясное и крикливое. И об это слово, как о невидимую скалу, ударялись каждый раз родные, силясь заглянуть в потрясенную близкую душу. И с каждым повторением оно значительнее и глубже становилось и уже стало казаться измученным головам окружающих не бессмысленным, бредом рожденным, а полным высшего мистического смысла, хранящего пути к спасению и к гибели больного. И еще мучительнее и нестерпимее становилась безвестность...

— Вы говорите, что его не было там, куда он ушел в то утро?

— Нет, не было. Он ушел в университет на лекции, как всегда.

— Где же он был?

— После всех наших стараний нам не удалось узнать это.

— Расспрашивали знакомых?

— Да. Он не был ни у кого из них.

— Тьма!..

И доктор беспомощно развел руками:

— Этот вид болезней трудно поддается лечению, когда неизвестна причина, родившая их.

— Тьма! — безнадежно вздохнули, как многоголосое эхо, все окружающие. И хрустнули пальцы, в отчаянье сплетенные, обсыпая со всех сторон кровать сухой мелкой, костяной дробью.

Больной лежал в забытьи, с закрытыми глазами, изредка поворачиваясь и мерно дыша. Подавленно молчали все, не сводя глаз с него. Звонко и отчетливо тикали часы в тишине. И казалось, что кто-то равномерно и задумчиво кидает камешек за камешком в спокойную, ровную поверхность воды, считает их и прислушивается. Плотно припав к окнам, спала ночь. Слепая, она брела куда-то, но наткнулась на препятствие и, не зная, как обойти ее, тут же и заснула.

— Он, кажется, засыпает, — сказал тихо доктор.

— Да, он засыпает.

— Он спит.

Осторожно, на цыпочках, все разбрелись по комнате и уселись неподвижно в креслах и на диване, упервшись взорами в дальний угол. У кровати, держа в одной руке руку больного, в другой часы, сидел доктор. Кто-то завернул огонь в лампе. И в сумеречном полусвете вся комната казалась каким-то смутным, больным кошмаром, бредущим куда-то среди беспредельной осенней ночи. Среди скорбно-согнутых фигур стало трудно отличить молодость от старости, тень от предмета. И портреты на стенах были такие же живые, как фигуры, сидящие в креслах и на диване, и сидящие фигуры такие же мертвые, как портреты на стенах.

Время шло, и минута боролась с минутой. Одна рождала надежду, а следующая ее тушила отчаянием. Было поздно. И кто-то задумчиво и равномерно бросал камешек за камешком в спокойную, ровную поверхность воды, считал их и прислушивался. И, плотно припав к окнам, глубоким сном спала слепая ночь...

И вдруг все почувствовали тревогу. Еще никто ничего не сказал и ничего не произошло, а тревога, тайная, нарастающая, охватила всех. Это углубившееся безмолвие из угла разлилось леденящим беспокойством по комнате. И наступил момент, напряженный, угрожающий и страшный, как момент все разрушающей смерти...

— Еgo надо разбудить! — вдруг сказал доктор и, странно возбужденный, поднялся.

.

Больной сел на кровати и долго озирался. Постепенно сползала муть забытья, и вернулось давнее лицо, и прежнюю ясность получили глаза. Он начал что-то вспоминать, и медленно вырастало воспоминание. И вдруг заметался. Начал быстро и тяжело дышать, теребить волосы на голове, тереть грудь и кидаться, как бы моля о спасении от кого-то, с простертymi руками к родным. О чем-то ему хотелось рассказать им, что-то объяснить, что-то, туманное озарить. Но это было непомерно- большое и не умещалось

в нем. И оттого он так бился. И уже в глазах, устремленных на родных, стоял осознанный, неумолимо-давящий, каменный страх, и бурлили, задыхаясь, звуки в горле, как сжатая вода, ищащая исхода...

— Гган-нак-кул-лу!!

И исступленный, темный, неразгаданный крик словно разорвал и опустошил его. Все было высказано в нем, и ни один лишний звук ничего бы не прибавил к страшной и всеобъемлющей полноте его. И, крикнув, он упал как-то странно-безжизненно, — боком, деревянно стукнувшись головой о спинку кровати, как падает бездушный предмет, выпущенный державшей рукой. И сладились последним страхом исковерканные черты.

— Смысла, доктор, смысла!..

Это так смешно было. Седой маленький старик, как шалун, взобрался на колени к доктору, вцепился в плечи его и отчаянно тряс их:

— Смысла, доктор, смысла!

И сразу все стихло. Так резко тихо стало, будто долгое время на поверхности какой-то глуби барахтался светлый дом, полный суетящихся людей и, неожиданно окунувшись, мгновенно скрылся и пошел ко дну...

Торопливыми, хлещущими струями забарабанил дождь в окна. Но то не был дождь. То в миллиардах властных струй разлился царственно-одинокий и всемогущий мрак, гася редкие, запоздальные, последние огни в ночи.

II

Из прозрачных, белых дней и темных ночей ткало время пелену забвения, нанизывая день на день и ночь на ночь. И росла эта пелена и толстела, все плотнее закрывая ушедших от оставшихся, мертвое от живого, совершившееся от совершающегося. Тешилась старуха-мать в горе своем молодой и красивой дочерью, отдавая ей всю оставшуюся любовь, все неистраченные заботы и ласки. Тешилась и дочь

расцветающей молодостью своей, мучительно-сладостными обещающими томлениями, смутными зовами пробуждающихся первых грез. И молодая вдова, среди оглушительного гомона живой жизни, временами забывала о безвозвратно ушедшем. Но стал беспокоен старик-отец. Черным свернутым комом вошло и зажило в нем новое, таинственное слово, не смешивающееся с другими, требующее и мечущееся. Мистик и богослов, в детской ясной вере детскими глазами глядел он на вселенную. И любил Творца благоговейно-спокойной, но не пытливой любовью. Начало и конец, бытие и его загадки, человек и его исходные пути на земле не тревожили и не угнетали ума его и души. Это все были мысли Творца, плавно текущие к своим великим и мудрым целям, им предрешенным. Бродили страусы в пустынях, рычали львы, пели птицы, квакали лягушки, плавали чудовищные рыбы в водах, бушевал океан, горело солнце, мерцали звезды, и событие сменялось событием. На все глядел старик созерцательно-спокойно, как на непостижимо-прекрасную, но чужую картину. И с каждым новым жизненным видением крепла и росла его благоговейная, восхищенная любовь. И оттого так безмятежно, понятно и просто прошла его личная жизнь. Знал он радости страсти и любви в молодости, радости отца к средним летам и спокойно с конечными, втайне тешащими, надеждами встретил приближающуюся старость. Но вдруг неожиданная и неразгаданная болезнь сына, необъяснимая и быстрая смерть его и упорно повторяемое загадочное слово, все будто раскрывающее и все затемняющее, влились в простую и понятную жизнь его непонятным, путающим туманом. И стало казаться старику, что свыше ему был дан намек, но он не понял его, что предвечный голос что-то шепнул ему, а он не рассыпал.

И стал беспокоен старик. Среди миллиардов чуждых человеческих слов начал мучительно искать одно слово и, как потерянное спасение свое, среди сотен незнакомых наречий — одно наречие. Ходил к ученым и знающим все с одним и тем же тревожным и нелепым словом на устах, оставляя их всех в недоумении. Обложил себя древними,

заплеснелыми фолиантами и напряженно по ночам перелистывал их и искал. Сочетал вновь найденные буквы и слова в неведомые фразы и пытался разгадать дикий смысл их. И тонул в словах, как в вязкой, невылазной тине со спутанными корнями, с бесконечно сплетенными мхами и водорослями...

И стал беспокоен старик. На ровной, гладкой дороге остановился кто-то вдруг, укутанный, и нельзя было узнать, кто он. В тумане тайный задвигался перст, и нельзя было знать, куда он указывает. И чем глубже и сосредоточеннее всматривался в него старик, тем яснее выступал он, и тем неопределеннее и темнее становилось его указание. И легла неподвижная, сковывающая задумчивость на всегда гладкое и подвижное лицо старика...

III

— Ганна! Ганна!

— Кто крикнул здесь? Кто здесь?

— Это я, отец! Что ты вздрогнул так?

— Что за слово... Что за странное слово произнесла ты?

— Обыкновенное слово, отец! Я подругу позвала. Ее Ганной зовут.

— Ганна... Странное имя: Ганна...

— Распространенное, обыкновенное имя, отец!

— Но ведь здесь нет никого с тобой?

— Я ее из окна увидела и окликнула.

— Ганна... Странное имя: Ганна.

Старик стоял у окна, погруженный в думу одну, и чертил ее все одним и тем же чертежом пальцем по подоконнику, начиная и кончая и снова начиная. А дочь, бесшумно и незаметно сидевшая у другого окна, неосторожным, подозрительным и как бы угадывающим окликом прервала ее. И вздрогнул старик, потому что показалось ему, что его молчаливая дума вдруг крикнула и оборвалась.

Необъяснимый ночной страх стал внезапно нападать на старика среди светлого дня. И подозрительной жутью начало веять от его постоянных неожиданных вздрагиваний и частой, беспрчинной, пугливой дрожки. И все в доме стали уже замечать новое и зловещее, происходящее в старике. Часто среди обычных дел и забот дня, среди будничных, деловых разговоров, услышав звук или сочетание звуков, отдаленно напоминающих роковое слово, он вдруг впадал в мгновенное, тяжелое забытье, точно оглушенный ударом. И каждый раз затем виновато и растерянно оправлялся.

За семейным вечерним чаем, в мирной беседе, случайно забредший знакомый однажды сказал какое-то слово. Никто не рассыпал его. Оно незаметно утонуло среди других слов плавной, непрерываемой речи. Но старик вскочил, выгнулся, сжал кулаки и с затаенной, небывало жестокой, угрожающей дрожью в голосе процедил сквозь зубы говорившему:

— Мол-чите!

От испуга и неожиданности рвущийся крик застрял в горле у всех присутствовавших. Но старик уже растерянно оглядывал всех и смущенно бормотал:

— Мне показалось... Пончудилось мне...

И, задумчивый и смущенный, вышел из комнаты.

И, развивая иногда свои старые, знакомые мысли, он вдруг вплетал дикое, нелепое слово, приводя в неловкое замешательство слушателей. И среди бумаг его, гладких и ясных, все чаще стало попадаться оно, замкнутое и безмолвное, слепое и тяжелое, как булыжник на полированном полу.

И водворилось, все растущее, как опасная трава, беспокойство в доме. Начали опасливо проверять свои мысли, прежде чем облекать их в слова. Осторожно цедили слова, как сквозь решето, отделяя ядовитые звуки, избегая их. Итише стали говорить, и медленнее ступать, словно ежеминутно опасаясь спрятанного, разрушительного взрыва. И скрыто начали наблюдать за стариком...

И однажды в летние сумерки, войдя неслышно в комнату отца, дочь испуганно бросилась назад. Старик сидел один, тупо смотрел на косяк окна, и, простирая умоляющие руки к кому-то, беспрестанно твердил:

— Кто мне скажет? Кто мне скажет?

И навсегда те голубые сумерки вошли смутной тревогой в душу дочери...

IV

В белом доме, среди бритых людей в халатах, сидел старик, глядел перед собою пустыми глазами и, качаясь из стороны в сторону, говорил:

— Ган-нак-кул-лу! Ган-нак-кул-лу!

А напротив, в упор глядя на старика, сидел веселый, смеющийся человек, скалил зубы и повторял:

— Хи-ка-му-лу! Хи-ка-му-лу!

И, сжав обе руки между коленями, покатывался взад и вперед от безудержного, громкого хохота.

У окна, выходящего в сад, стоял человек с томной негой, разлитой на лице и мечтательными глазами и, прижимая руку то к груди, то к губам, низко кланялся пустому осеннему саду и твердил:

— Моя последняя мечта, мое земное счастье!

Недалеко от дверей стоял строгий и важный человек и дирижировал невидимым оркестром. Временами он начинал неистово махать руками, ногами и головой и, извиваясь всем телом, как бы угрожающе наскакивая на кого-то, выкрикивал:

— Pianissimo! Fortissimo!

А в дальнем углу, согнувшись, сидел кто-то, спрятав лицо в руки, и монотонно, и тоскливо пел, пристукивая ногой:

Мой мир укутан тьмой безгласной,
Затерян к другу путь,

Кто здесь знает, кто укажет
Хоть единый светлый луч?

И мочил слезами растрепанную бороду и халат.

И много здес сидело других по кроватям, неподвижных, погруженных в себя, глубоких и далких, как затерянные колодцы на неезженых дорогах. Здесь был другой мир, другое бытие. Они не знали наших солнц и наших лун, наших дней и ночей, наших радостей и мук. Другие солнца светили им, другие луны сны навевали, и радовались они неизведанными радостями, и мучились непознанными муками. Другой здесь был мир, другое бытие.

Углубленно-безмолвен, сосредоточен и недвижим был старик. Пустой и ограбленный, пришел он в этот дом, оставив за пределами его все слова человеческой речи и забыв их. И все вопросы и расспросы, обращенные к нему, и все попытки живой, человеческой речью вызвать ответную речь, оставались безнадежными. Он глядел на говорящих, не понимая и не видя их. И его оставили. И ищущая, но безмятежная дума, тихая покорность и кроткая тоска легли ненарушимо на лице его. Лишь в редкие моменты непонятного, изнутри его загорающегося возбуждения он начинал качаться из стороны в сторону, точно душно становилось, и повторять свое единственное оставшееся, сокровенное, и всеобъемлющее слово.

Каждый вечер сюда, к старику, приходили три женщины. Молча входили они и молча садились около старика. Старая напротив, на стуле, а молодые рядом с ним на кровати. И когда они приходили, веселый, смеющийся человек переставал смеяться, сосредоточенно глядя на них, и переставал дирижировать невидимым оркестром дирижер. Только продолжал низко кланяться пустому осеннему саду мечтательный человек, и тоскливо, и монотонно пел свою одинокую песню поющий, спрятав лицо в руки и моча слезами растрепанную бороду и халат.

Любовно, спокойно и, как всегда, безмолвно встречал их старик. И без слов они приходили к нему, потому что бессильны были слова, безответными оставались они, и

глубже их лежала скорбь. И, глядя на него, только неслышно немощными, старческими слезами плакала старуха и так же неслышно неудержимыми слезами плакали молодые, одна, гладя седую, покорно-склоненную голову старика, другая целуя морщинистую руку его.

Так они сидели каждый вечер, как живая печаль, молчаливой, скорбью скованной группой. Так они сидели каждый вечер до тех пор, пока у дверей не появлялась высокая фигура и, остановившись, беззвучно говорила: «Пора!»

Тогда три женщины медленно и бесшумно подымались и, оглядываясь, — тоскливо, медленно и бесшумно, как тени, исчезали. И снова ненарушимо раскрывалась скрытая жизнь другого бытия в белом доме...

В один вечер, когда женщины пришли к старику, он их встретил, необычно-взволнованный и возбужденный. Что-то новое узнал он в этот день после всех дней и ночей пытливых дум, и это стояло осознанным, неумолимо-давящим, каменным страхом в расширенных и застывших глазах его. А когда они сели вокруг него, старики, не сводя с них как бы умоляющих глаз, начал, задыхаясь, метаться и рвать с себя одежду. Будто искал спасения у них от чего-то, будто силялся что-то высказать, долго скрытое от него, но наконец узнанное и ужасное, и не находил слов, потому что это не умещалось в словах. И уже захлебываясь, бурлили звуки в горле, как сжатая вода, ищащая исхода...

— Гган-нак-кул-лу!!

Конечные, уже иссякающие, силы собрав, выкрикнул старики. И исступленный, темный, неразгаданный крик словно опустошил и разорвал его. Метнулся, передернувшись всем телом, и упал как-то странно-безжизненно, боком, как падает бездушный предмет, выпущенный державшей рукой. И величавый покой смерти, разлившись, сгладил последним страхом исковерканные черты...

— Хи-ка-му-лу! — сказал веселый, смеющийся человек. И, сжав обе руки между коленями, покатился от безудержного, громкого хохота.

— Ганнаккуллу! Ганнаккуллу!

Тупой, ничем не заглушаемый, тайный звон, как непрекращающийся зов из вечности, навсегда повис над тремя женщинами. Несмолкаемый, гулкий колокол закачался и загудел над затихшим домом у края города. Из прозрачных, белых дней и темных ночей ткало время пелену забвения, нанизывая день на день и ночь на ночь. Но, бессильно распадаясь, рвалась пелена, и уже не отделялись больше ушедшие от оставшихся, мертвое от живого, совершившееся от совершающегося. Со всех поверхностей и из всех глубин, из щелей и отверстий, как мертвая голова сфинкса, лезло темное, неразгаданное слово и, пытая и дразня, требовало разгадки. В опустевших комнатах оно беспрерывно жужжало гигантской, неизгоняемой пчелой, слепой и ядовитой; и на улицах в слитном, широком шуме оно гудело трубой и, как акула, бесследно поглощало все другие слова. И от звуков, похожих на него, и от сочетаний звуков, отдаленно напоминающих его, три женщины вздрагивали пугливой, мелкой дрожью и, беспомощно закидывая головы назад, тяжко задумывались. И ночной страх стал неожиданно нападать на них среди светлого дня, и смутной, ночной тревогой потянулась вся жизнь...

— Ганнаккуллу, Ганнаккуллу!

Кто-то беспокойно и неугомонно звал и не давал забыться. В зияющей, не закрывающейся мгле вставали рядом старик и молодой, тыкали пальцами в закутанного и неизвестного и говорили: «Ганнаккуллу, Ганнаккуллу!»

Тогда три женщины уставлялись неподвижными взорами в косяк окна, в потолок и в стену и тоже шептали: «Ганнаккуллу, Ганнаккуллу».

Из прозрачных белых дней и темных ночей ткало время пелену забвения, нанизывая день на день и ночь на ночь. Но, бессильно распадаясь, рвалась пелена, и уже не отделялись больше ушедшие от оставшихся, мертвое от живого, совершившееся от совершающегося. И в жуткие, бессон-

ные ночи, в осенние ночи, когда затаенные шепоты и шумы тянулись со всех сторон, и в спутанный бред чей-то превращался весь ясный солнечный мир, женщинам мерешилось, что огромное, смутное и неумещающееся слово, замкнувшее в себе все безвыходности, все ужасы и весь мрак непостигнутого бытия, тяжело копошится в пространстве. И казалось им тогда, что сквозь безбрежную ночь, из своей занесенной дали, то сам седой Рок глухо лопочет свое древнее, вечное проклятие миру:

— Ганнаккуллу, Ганнаккуллу...

Б. Рeutский

ЦАРИЦА ЗЕМЛИ

— Плоха наша Иринушка! — говорила Степанида Петровна Прасова своему мужу и заливалась горькими слезами.

— Ну, ну, нечего там нюни распускать! — бормотал Прасов сердитым тоном, а у самого губы подергивали и перехватывало дыхание.

Действительно, плоха была Иринушка, единственная дочь Прасовых, единственная их надежда и радость. Уже третий год, как с ней творилось что-то неладное. До двадцати лет была она девушка умная, красивая, послушная. А с этого времени зачудила. Стала уединяться, сидеть подолгу в укромных местах, вздыхать беспричинно. Иногда брала книги, тетрадки, уходила в городской сад и там читала, писала стихи и декламировала их вслух. Так что в городе стали поговаривать, что Ирина Прасова сошла с ума. Родители с ужасом и тревогой следили за страшной переменой, происходившей с девушкиной. Они пытались выяснить, что с ней происходит, заговаривали с ней на эту тему, но она только удивленно пожимала плечами и спрашивала:

— Чего вы от меня хотите? Мне очень хорошо и ничего мне от вас не надо.

Много бессонных ночей провела мать Ирины, прислушиваясь, что делается у нее в комнате. А Ирина любила ночью сидеть при лампе, что-то писала, разговаривала сама с собой и громко смеялась.

Горько плакала Степанида Петровна, много слез пролила, состарилась за три года так, что ее не узнать было. Да беде помочь не умела. Отец сперва очень сердился, когда Степанида Петровна заговаривала о том, что с Ириной происходит что-то неладное.

— Ничего с ней не происходит особенного! — возражал он. — Девушка в возрасте, надо ее замуж отдать, все и устроится... Засиделась...

Успокаивал жену, а у самого на душе кошки скребли. «Замуж-то замуж, — думал он, — а все же не то! Слишком задумчива она стала, уединяется, не влюблена ли? Может, какой грех с ней случился? И в глубине души он страстно желал, чтобы действительно было так, чтобы был грех и что-

бы он мог помочь своему ребенку и спасти его.

Однажды он отправился вслед за ней в городской сад и, разыскав ее в тенистой аллее, присел к ней, завел серьезный разговор.

— Ирина, скажи, что у тебя на душе? Все скажи мне. Помни, что я твой отец. Я родил тебя на свет, я тебя и избавлю от всякой невзгоды. Говори всю правду, я не боюсь никакой правды. Говори же!

Но Ирина посмотрела на него злыми глазами, собрала свои книжки и, не сказав ли слова, ушла.

Сразу сгорбился Прасов, точно раздавленный упавшим на него грузом. Словно земля ушла у него из-под ног. Небо потемнело, все кругом стало серым. Посидел он немного и беспомощно поплелся домой.

Ирина пришла к обеду, как будто ничего не произошло. По обыкновению, сидела молча, ела очень мало и затем ушла к себе в комнату.

Пригласили, наконец, врача. Это был товарищ Прасова по гимназии, лечивший Ирину с первого дня ее рождения. Понаслышке он уже знал, что с Ириной что-то произошло, — все в городе говорили. Пришел он вечером, как бы невзначай, поиграть в картишки, покалывать со старым приятелем за стаканом чая. Заодно и к Ирине в комнату вошел. Между прочим, расспрашивал о том, о сем, да беседа все не клеилась. Справлялся, не болит ли голова, не сжимает ли сердце?

— Совершенно я здорова. Ничего мне не болит и оставьте вы меня в покое! — не выдержала вдруг Ирина и заплакала.

Доктор долго молчал, курил папиросу и говорил родителям:

— Как вам сказать? Это бывает в ее годы... Смутная тоска, неопределенная тревога... Организм заканчивает свое развитие, переходит в новую стадию существования... Я думаю, что ее нужно выдать замуж. Люди вы не бедные, она — девушка красивая, воспитанная, за чем же дело стало?

Долго совещались Прасовы, как им быть. С другой девушкой можно было бы поговорить о свадьбе, а тут как к

ней приступить? Решили пойти окольной дорогой. Был у Прасова сослуживец Кроль, приличный молодой человек. Скромный, работящий, начитанный. Очень нравился он Прасову и раскрыл он ему всю правду.

— Девушка в возраст пришла, нервы у неё разгулялись... А доктор советует замуж выдать...

Кроль и говорит:

— Нравится мне ваша дочь давно, да неприступная она какая-то. Я бы всей душой рад на ней жениться, но не знаю, как это ей сказать.

Начал Кроль ежедневно ходить к Прасовым, обедал у них, вечеря проводил. Все старался оставаться наедине с Ириной. Однажды пришел к старику Прасову, бросился ему на шею и со слезами радости возвещает:

— Благослови, отец! Согласилась Инушка (так звал он её) за меня замуж выйти.

Радость старииков не имела пределов. Хоть Ирина и оставалась все такой же загадочной и нелюдимой, но родители не сомневались, что замужество все дело исправит. И торопили свадьбу. Устроили гнездышко для молодых, уютное, красивое. Ни денег, ни трудов не жалели. Отпраздновали свадьбу тихо, в тесном семейном кругу; никого, кроме доктора, не пригласили.

Прошла неделя. Приходит Кроль на службу, счастливый, радостный. Торопится домой вернуться. Очень ласковава с ним Ирина, голубит его, целует, расставаться с ним не хочет. Родители глядят на молодых, не нарадуются... А доктор только хитро посмеивался:

— Не первый случай! Много таких видывали...

Пришлось как-то Кролю на вечерние занятия пойти — много срочной работы накопилось. Поцеловал он свою Инушку, наказал ей пораньше лечь спать.

— Засижусь я сегодня... Ревизор к нам едет, надо бумаги все пересмотреть.

Поздно ночью вернулся домой. Подходит к дому, видит: во всех окнах свет. Что за напасть такая? Глаза даже протирать от удивления стал. Отворил двери ключом, входит в квартиру. Все лампы зажжены и свечи в канделябрах го-

рят. Задрожал бедняга от страшного предчувствия и бросился искать Инушку. А она выходит к нему навстречу, одетая в подвенечное платье. Вид у нее гордый-прегордый, глаза горят, как звезды, а прекрасна она, как никогда не была.

— Инушка, родная, что с тобой? — закричал Кроль не своим голосом.

Инушка остановилась, посмотрела на него с недоумением и спросила:

— Кто вы такой? Я вас не знаю!

— Инушка, Бог с тобой, я твой муж, твой Саша! Опомнись!

— Я не знаю никакого Саши, а мужа у меня нет. Я — царица Земли, и сегодня лишь я венчаюсь с Великим Духом, который должен сейчас прийти.

— Инушка, Инушка, родная моя! — заплакал Кроль, бросаясь к жене и хватая ее за руку.

— Прочь от меня! — вскричала она, вырывая руку. — Прочь из моего дома!

Кроль потерял голову. Он с ужасом глядел на красивое лицо своей жены и даже не узнавал его. И вдруг его мозг пронзила дикая мысль:

— Она ли это или не она? А, быть может, я не туда попал...

Он стал оглядываться кругом себя. Странно... незнакомая обстановка... Какие-то невиданные столы без ног... На них нагромождены диковинные предметы. Потолки разрисованы чудесными картинами. И всюду потоки света, тысячи люстр и ламп.

Он дико озирался кругом себя и вдруг сообразил... Ведь он не Саша, не Кроль! Он Великий Дух, которого ждет вот эта Царица Земли, вся в белом, с черной распущенной косой, с глазами, горящими, как два солнца... Подойдя к ней, он захотел и крикнул:

— Привет тебе, Царица Земли! Я — Великий Дух, избранник твоего сердца!

И на лице Царицы Земли сверкнула молния радости.

— Привет тебе, Великий Дух, Царь Земли! Приди в мои объятия!

На другой день Кроль не пришел на службу и больше никогда уж не приходил...

.

А старики Прасовы, сгорбленные и седые, долго-долго ходили на окраину города, где в больших каменных домах, за железными решетками, их родные птенцы томились разлученными и ждали каждый день чуда: она, что к ней придет Великий Дух со смелым смеющимся лицом и блуждающими глазами; он, что к нему явится Царица. Земли, вся в белом, с длинной распущенной косой, с очами, горящими, как два солнца.

Б. Рeutский

СОСЕД

(Из записок психиатра)

Небольшая тетрадка аккуратно исписана мелким почерком. Слова часто незакончены, оборваны на какой-нибудь букве, точно рука писавшего была остановлена грубо и внезапно...

10 августа

Наконец-то я подыскал комнату, которая вполне отвечает моим требованиям: тихая, спокойная, уединенная. Хозяйка страдает мигреню, не переносит шума и бранит прислугу крепкими словами, если та уронит полено или хлопнет дверью. Усиленно готовлюсь к экзаменам и чувствую себя превосходно.

25 августа

Великолепно. Тишина и уют. Соседи мои — словно глухонемые. Один из них ученый, а другой — изобретатель. Целый день проводят над работой и даже не кашляют. Успел за эти дни пройти множество. Хозяйка продолжает страдать мигреню и мне это на руку. Когда везет, так все устраивается хорошо.

27 августа

Тихо... Спокойно... Но это покой могилы, покой тюрьмы, покой виселицы! То, что происходит со мной, не поддается описанию. Вчера ночью, когда я сидел у самовара и допивал стакан крепкого чая, чтобы отогнать сон, в комнате, которая приходится направо от моих окон и где живет ученый, вдруг раздался глухой стук, словно от падения человека на пол. В мертвенно тихой обстановке нашей квартиры этот стук прозвучал особенно зловеще. Я стал прислу-

шиваться, и мне показалось, что кто-то стонет. Я бросился в коридор и, подойдя к двери ученого, постучал. Никакого ответа. Я спросил: «Что с вами?» Молчание. Тогда я приоткрыл дверь и в ужасе отшатнулся. На полу лежал мой сосед, вытянувшись, с посиневшим лицом. Я подбежал к нему и, наклонившись, стал прислушиваться. Он дышал. Тогда я начал приводить его в чувство, влив ему в рот возбуждающих капель и спрыснув его холодной водой. Через несколько минут он приоткрыл глаза и с удивлением оглянулся. Вдруг лицо его изобразило испуг, он привскочил — наклонился к столу и взял в руки какую-то длинную рюмку, наполненную желтой жидкостью. Поставив рюмку в большой шкаф, стоявший у стены, он подошел ко мне и застенчиво улыбнулся:

— Простите, что я побеспокоил вас! Я упал в обморок... Но все хорошо, что хорошо кончается.

Он на минуту задумался и затем продолжал:

— Что же я не прошу вас сесть? Позвольте представиться — Хлопушкин.

Я пожал ему руку и уселся в кресло.

— Вы, кажется, студент? — спросил он. — В таком случае, вам небезынтересно будет узнать, почему я лишился чувств?

Он хитро прищурил глаза.

— Это от паров нитроглицерина...

На лице моем, выразилось, очевидно, изумление, потому что он сказал шепотком:

— Да-да, нитроглицерина... Знаете, я сделал величайшее открытие, которое вскоре опубликовано. Я нашел способ взрывать любое взрывчатое вещество на любом расстоянии... Вы понимаете все значение этого открытия? Нет более броненосцев! Нет арсеналов! Нет истребляющих орудий! Всеобщее разоружение вынуждено и неизбежно. Ведь не перейдет же человечество слова к холодному оружию, не правда ли? А мои исследования приходят скоро к концу и мне остается сделать еще лишь несколько опытов...

Но главное уже достигнуто! Вы представить себе не можете, сколько мне пришлось испытать разочарований и

сколько одолеть препятствий, пока я осуществил свою заветную цель. Ведь я был лаборантом в институте, читал студентам химию, а свободное от занятий время посвящал своим исследованиям. И должно было случиться такое несчастье, что сторож, убирающий мою лабораторию, с пьяных глаз стал шарить в шкафу. Полка сорвалась, банки и реторты с грохотом полетели вниз, и одна из них, содержащая нео-нитроглицерин (это — жидкость моего изобретения), взорвалась. Взрыв был страшной силы. Окна, двери и вся мебель в лаборатории превратились в пыль, а злосчастный сторож буквально рассыпался, и отдельные частицы его были глубоко вкраплены в цементированный потолок. Счастье, что жидкости-то было всего с полчайной ложки! Иначе весь дом взлетел бы на воздух. В результате, я должен был оставить службу, так как мне поставили в вину небрежное обращение с опасными веществами. И вот я остался без средств и без лаборатории... Понимаете ли весь ужас моего положения? Накануне великого открытия быть вынужденным положить зубы на полку? Но я решил не сдаваться! Я голодал, отказывал себе во всем, перебивался кое-как уроками и продолжал свою научные труды. Еще один шаг — и победа за мной!

Я слушал с недоумением и не знал, что думать. Кто этот странный человек с суетливыми движениями и хитроватой улыбкой — гений или безумец? Говорит ли он правду или бредит наяву? Весь его рассказ дышал искренностью и правдивостью, но в глазах перебегали огоньки, которые сильно смущали меня.

— А где же вы производите свои опыты? — перебил я его.

— Как — где? Здесь, у себя в комнате...

— Опыты с взрывчатыми веществами?

— О, я очень осторожен, — усмехнулся он. — Вы не верьте слухам, будто я работаю небрежно. Если бы это было так, меня давно не было бы на свете. Ибо, во-первых, мой нео-нитроглицерин чрезвычайно ядовит и задохнуться от его паров) — сущие пустяки. А во-вторых, — у меня здесь есть его с полфунта, то есть столько, сколько нужно, чтобы взле-

тел па воздух целый квартал... А я живу здесь около года — и ничего. Всего лишь раз пять падал в обморок, но быстро приходил в себя.

— Но ведь, когда вы падаете в обморок, вы можете уронить склянку, разбить ее и произвести взрыв?

Он мягко улыбнулся:

— Ну-ну, зачем же рисовать такие ужасы? Бог не без милости. А знаете, кто не рискует, тот ничего не выигрывает. Стоял же Наполеон на возвышенных местах, подвергая себя опасности получить пулю в лоб. А наш Скобелев? Если военные генералы проявляют такую храбрость, то и мы, противники войны, не должны праздновать труса. Как же вы обезвредите зверя, если не подойдете к нему вплотную и не проникнете к нему в пасть? Конечно, я немного рисую, но без этого нельзя. К тому же, смелым Бог владеет!

Я чувствовал, как мурашки забегали по моей спине. Я как бы прилип к стулу, на котором сидел, и инстинктивно старался не шевелиться.

— А где же вы храните ваш... как вы его там называете... нео-нитроглицерин, что ли?

— Вот тут, в шкафу. Хотите взглянуть?

И прежде, чем я успел произнести слово, Хлопушкин подошел к шкафу и достал узкий воронкообразный стакан, плотно прикрытый стеклянной крышкой. До половины он был наполнен желтой сиропообразной жидкостью.

— Вот он, дух разрушения и смерти! — говорил Хлопушкин, разглядывая на свет жидкость. — Но мы его скоро обуздаем... скоро... скоро...

Я не в силах был даже наружно сохранять спокойствие. Пробормотав что-то вроде извинения, я вышел из комнаты моего странного соседа. Очутившись у себя, я стал обдумывать то, что мне только что довелось видеть.

Безумец он или гений? Правду ли он говорят, или измышляет дикие фантазии? Действительно ли он хранит вещество, которое может взорвать целый квартал, или это бред больного воображения?

Заниматься я не могу, так как мысли мои постоянно возвращаются к длинному, узкому стакану, содержащему желтую жидкость. Что в нем хранится? Как это все глупо...

5 сентября

Скверно. Я начинаю превращаться в какого-то маньяка. Есть рассказ про нищего индуса, который отправился к волшебнику, чтобы узнать секрет, как выделять золото. Волшебник дал ему какой-то порошок и сказал: «Достаточно посыпать щепотку этого чудесного порошка на любой предмет, чтобы он превратился в золото». Нищий поблагодарил волшебника и стал удаляться. Вдруг волшебник позвал его: «Постой, я забыл сказать тебе одну предосторожность. Когда будешь посыпать порошок, можешь думать о чем угодно, только не о белых слонах, иначе ничего не выйдет». Нищий засмеялся: «Ну, чего мне думать о белых слонах, я даже не видел их никогда». Через неделю в шалаш волшебника вошел изможденный человек с блуждающими глазами. Это был нищий индус. Он бросил на землю узелок и, упав на колени, взмолился: «Пощади меня, вот я тебе принес обратно волшебный порошок, только избавь меня от белых слонов». «Каких слонов?» — удивился волшебник. «Слонов, о которых я не должен был думать. День и ночь стоят они, проклятие, перед моими глазами, день и ночь помахивают они своими белыми хоботами. Куда я нихожу, что я ни делаю, везде и всегда они сопровождают меня! Спаси меня от них!»

Я в положении этого нищего. День и ночь перед моими глазами желтеет загадочный стакан, наполовину наполненный, и я не знаю, как мне избавиться от этого проклятого видения. Я весь превратился в один обнаженный нерв и с трепетом прислушиваюсь к тому, что происходит в комнате Хлопушкина. Малейший шорох заставляет усиленно биться мое сердце. Мне кажется, что вот-вот склянка со звоном ударится о пол и затем последует страшный взрыв, который превратит наш дом в груду мусора. Для меня возмож-

ны два выхода — выбраться отсюда или донести о странных занятиях моего соседа властям...

6 сентября

Не спал всю ночь. «Он» поздно возился и несколько раз у него падали книги из рук. Тогда я вскакивал с кровати и с ужасом ожидал взрыва. Сегодня трещит голова. Заниматься вовсе не могу. Решил переменить квартиру. Сейчас иду подыскивать комнату, — возьму первую попавшуюся.

10 сентября

Комната нашел, но пока не перебрался. Меня терзает вопрос: правильно ли я поступаю, спасая свою шкуру и сознательно подвергая опасности мирных обывателей громадного дома? Ведь замалчивая то, что я знаю, я становлюсь соучастником преступления. Необходимо предупредить всех об опытах Хлопушкина. Но, с другой стороны, если он действительно находится на пороге величайшего открытия, которое должно навсегда искоренить войну, имею ли я право прерывать его работы своим вмешательством? Ведь если бы он замышлял что-нибудь преступное, он не был бы со мной так откровенен и не выказал бы по отношению к чужому человеку столько доверия. Так поступают только люди с чистой совестью. Я не в силах донести на него, но тогда я не вправе уходить отсюда и первым должен разделить участь всех обитателей дома, если случится катастрофа. Иначе моя трусость будет позорной и будет граничить с подлейшим предательством.

22 сентября

Я чувствую, что схожу с ума. Все это происходит так кошмарно, что я начал помышлять о самоубийстве. Разве

смерть не лучше такой невыносимой муки, когда больной мозг не имеет ни минуты отдыха? Кажется, нет большей пытки, чем томительное ожидание. Я лежу без всякого дела на постели и слушаю, и жду. Чего? Конечно, взрыва, который должен меня уничтожить в одно мгновение. Но странно, что я, опасаясь взрыва, в то же время жду его с каким-то болезненным нетерпением и, таким образом, я испытываю: двойное страдание. Все на свете стало для меня безразличным. Я лежу без движения, вовсе не выхожу из комнаты и пытаюсь только потому, что хозяйка присыпает мне обед, а прислуга торопит меня, чтобы я поскорее «освободил посуду».

Сегодня я заглянул к «нему». Когда я постучал в двери, он сам отворил их мне и, увидев меня, как будто обрадовался.

— А, соседушка, очень рад вас видеть. Дело мое обстоит блестяще! Я добился неожиданных результатов. Кстати, я покажу вам мой замечательный опыт. Видите эти черные шарики? В каждом из них ничтожнейшее количество неонитроглицерина, что-то менее десятимиллионной доли чайной ложечки. Вот я помещаю один такой шарик в противоположный угол комнаты и навожу на него лучи изобретенного мною аппарата. Смотрите!

Он достал какую-то машинку, напоминавшую волшебный фонарь, и направил сноп лучей в ту сторону, где находился шарик с взрывчатым веществом. Затем он стал вертеть колесо, которое зажужжало, точно муха у оконного стекла. Прошло несколько минут и вдруг шарик с легким звоном лопнул и испустил кольцо беловатого дыма.

— Видели? — с восторгом заговорил Хлопушкин. — Как я взорвал его на расстоянии, посредством одних только лучей, которые одинаково протекают сквозь воздух, воду, дерево и железо? Теперь представьте себе броненосец. Мне достаточно взорвать в его пороховом погребе ничтожнейшую щепотку взрывчатого вещества, чтобы взрыв этот, по закону детонации, распространился на весь погреб и броненосец взлетел на воздух, как ракета! Не правда ли, хорошо? Повоюйте-ка после этого!

Хлопушкин весело смеялся, потирал руки, и лицо его выражало неописуемое блаженство. Я завидовал ему от всей глубины своей измученной души и спросил его:

— Значит, вы уже закончили свои работы?

— Почти, еще неделька-другая — и все у меня будет завершено... Тогда я опубликую свое открытие во всеобщее сведение и одним ударом уничтожу гидру войны! Дорогой мой, если бы вы знали, как я счастлив!

Он схватил меня за руки и горячо пожал их.

Я посидел еще минутку и вернулся к себе в комнату, совершенно обезволенный и смущенный. Нет! Я не имею права прерывать работы этого человека. Но тем более я буду презренным трусом, если я тайком убегу отсюда, спасая свою шкуренку. Итак, я обречен неопределенное время томиться, страдать и ждать конца «его» исследований... О, как это мучительно — ждать!..

6 октября

Я решил навести справки о том, действительно ли произошел тот взрыв в лаборатории, о котором мне рассказал Хлопушкин и от которого погиб сторож. Я все-таки думаю, что этот рассказ является вымыслом рехнувшегося человека. И, быть может, желтая жидкость, которую Хлопушкин громко именует нео-нитроглицерином, — ерунда...

10 октября

Я очень тревожно настроен. В 10 часов вечера, когда прислуга убрала самовары и я, по обыкновению, лежал на постели, прислушиваясь к тому, что происходит в комнате соседа, до меня донесся глухой шум, какой я слышал в тот самый вечер, когда Хлопушкин упал в обморок. Я бросился к его дверям, но они оказались запертыми. На мой стук ответа не последовало. Умер ли он, или лежит в обмороке, или просто спит?

10 час. 15 мин.

У «него» тихо, как в могиле... Умер?

10 час. 30 мин.

Я теряю голову. Неужели я с ума схожу? Мне явственно кажется, что у «него» в комнате пожар. Я слышу потрескивание огня, лижущего своими языками сухое дерево, и мне чудится, будто я ощущаю запах дыма. Что же это — галлюцинации? Почему все спокойно спят?..

10 час. 35 мин.

Боже, Боже, у «него» пожар! Дым пробирается сквозь щели дверей, соединяющих мою комнату с его. Что же будет? Надо поднять тревогу... Но удастся ли проникнуть к «нему» в комнату раньше, чем свершится ужасное? Взрыв неизбежен! И мы все взлетим на воздух, разорванные на мельчайшие части...

Да, это дым... Надо спасти, кого еще возможно, — и спасться самому...

Через несколько часов на одной из отдаленных улиц города замечен был странный юноша с бледным лицом и растерянным взором. Он забирался в ниши домов и подолгу стоял без движения, напоминая окаменелую статую. Затем он испуганно озирался и начинал двигаться дальше, как-то боком, прижимаясь спиной к стенам домов и к решеткам оград. Он ступал осторожно, мелкими шажками, точно он был сделан из хрупкого стекла.

Когда его задержали, он не оказал никакого сопротивления. Наоборот, он робко повторял: «Ради Бога, не трогай-

те меня! Я пойду, куда вы захотите, только не прикасайтесь ко мне! Иначе мы все погибнем!..»

Назвать себя юноша отказался. Заложив руки за спину и съежившись, он лепетал:

— Я не трус... я не трус...

П. Громадов

ЧЕРНЫЙ ДОГ

Однажды осенней ночью мне с приятелем пришлось дожидаться поезда на глухой степной станции.

Стояла черная, беспросветная ночь. Со степи дул ровный холодный ветер, порой приносивший откуда-то капли дождя. Было холодно, но мы предпочитали холод запаху скрипидара и красок только что отремонтированного здания.

Станционная платформа, хотя слабо, но все-таки освещалась несколькими стенными фонарями и была пустынна, как степь. Поэтому, когда на ней появилось живое существо, то мы сразу обратили на него внимание.

Это был большой черный пес, гладкой шерсти, из тех, что называют «надворными советниками».

Побродив по платформе и исследовав ее носом, пес медленно подошел к нам, спокойно сел в двух шагах от нас и стал глядеть на нас фосфорическими, светящимися в темноте глазами.

Мы о чем-то оживленно разговаривали в этот момент, и мой приятель сначала не заметил собаки, когда же увидел ее, то в каком-то странном испуге воскликнул:

— Это что такое?

— Обыкновенная собака, — отвечал я. — Что вас так волнует?

— Откуда она взялась?

— А кто ее знает?..

— Пшел! — обрушился он на пса.

— Зачем вы его гоните? — спросил я. — Чем она мешает?

— Нет, я не могу... — отвечал он и стал искать на земле, чем бы запустить в собаку. Она поняла его намерение и отшла в сторону и исчезла в темноте.

— Почему вы так ополчились на бедного пса? — поинтересовался я.

— Я не могу видеть черных собак, да еще таких больших, и особенно когда они сидят и смотрят на меня. Мои нервы не выдерживают. Со мной в юности была одна история, и после этого я не могу видеть их: на меня нападает страх.

Представлялся прекрасный случай скротать время за слушанием истории, которая обещала быть занимательной,

и я попросил приятеля поделиться со мной его воспоминаниями.

— Это было в Волынской губернии, — начал он, — давно... Мне шел тогда семнадцатый или восемнадцатый год. Отец мой служил управляющим огромного лесного имения одного польского магната. Как велики были эти лесные угодья — видно из того, что для того, чтобы добраться до нашего жилища, расположенного при старом лесопильном заводе, среди имения, надо было проехать лесом тридцать верст. Лесопильный завод в то время, к которому относится мой рассказ, уже не работал, и заброшенные постройки его производили унылое, мрачное впечатление. Мы жили в огромном каменном доме при лесопильном заводе, занимая только незначительную часть его, вместе с которой отца, остальная же часть дома была заколочена и стояла пустая.

Кроме нас, в этом имении жило несколько человек прислуги и сторожей. Это было все население нашего местечка, как мы шутя называли завод. Кругом же стоял вековой лес, и ненастными осенними ночами он страшно шумел, в его вершинах разыгрывались дикие лесные симфонии.

В одну из таких, вот как сейчас, осенних ночей мы с отцом возвращались из города. Хотя путь в лесу пролегал по довольно широкой просеке, дороги почти не было видно, и если мы все-таки довольно быстро подвигались на четверике наших добрых коней, то единственno потому, что и они, и кучер отлично знали дорогу.

Устав за день, я задремал в экипаже, отец же сидел с ружьем в руках и внимательно взглядывался в темноту. В наших местах появилась разбойничья шайка, которая каждый день грабила проезжих то здесь, то там, это и заставляло отца быть настороже.

Не помню, сколько времени ехали мы; вдруг я проснулся от толчка и в тот момент я понял, что мы стоим, и уви-

дел, как отец, спустив ногу с подножки, припал к левому боку козел, и в тот же момент грянул выстрел, а затем отец перебросился на другую сторону козел — и снова грохнул выстрел, а затем они оба с кучером дико вскрикнули на лошадей, над нашими головами засвистел длинный бич, лошади захрапели, поднялись на дыбы и, как будто прыгая через что-то, рванули экипаж и понесли... Вокруг нас вспыхнуло несколько красно-синих огоньков, загремели выстрелы, раздался резкий свист — и все смолкло...

Все это произошло в течение нескольких мгновений, и я вполне пришел в себя лишь тогда, когда мы бешено летели по лесной дороге, рискуя каждую минуту сломать экипаж на рытвинах или выскочить на землю при ударе колеса о деревянный корень. И только когда мы были уже заведомо вдали от всякой опасности, отец велел остановить лошадей и осмотреться.

Все оказалось в порядке. Взмыленные кони тяжело дышали, в испуге жались друг к другу и пряли ушами. Надо было дать им немного вздохнуть. И потому с четверть часа мыостояли, а затем тронулись в дальнейший путь и уж без всяких приключений добрались до дома.

Когда мы подъезжали к домовому крыльцу, около экипажа вдруг появился огромный черный пес из ублюдков-догов.

Таинственное появление этой собаки в такое время и в таком глухом месте вызвало немалое наше удивление и даже некоторый суеверный страх. Но пес так ласково вилял хвостом и так добродушно смотрел на нас, что отец, решив, что, вероятно, он отбился от хозяина и заблудился, решил его приютить и впустить в комнаты.

Пес преспокойно прошел в отворенную ему дверь, по общей собачьей привычке обошел все новое для него помещение, обнюхал все углы нашей квартиры и преспокойно улегся у печки, положив морду на вытянутые лапы. При этом он не спускал с нас своих желтых глаз и, если кто-нибудь взглядал на него, то приветливо хлопал своим сильным, толстым хвостом по полу.

— Откуда он мог взяться? — продолжал недоумевать отец.
— Если бы он увязался за нами из города, мы заметили бы его раньше. Попасть сюда с хозяином и заблудиться — он не мог, потому что тут нет иного пути, как только на наш завод, а к нам, как мне сказали наши люди, сегодня никто не приезжал, и собаки этой они днем не видали. Положительно, какой-то таинственный пес, но очень симпатичный. Надо его покормить...

И он велел дать псу поесть. Пес с аппетитом съел целую чашку молока с черным хлебом, но ел без всякой жадности, что вовсе не свидетельствовало о том, что он блуждал по лесу без хозяина.

И мы снова стали строить на его счет всякие догадки, но, наконец, это надоело — и мы легли спать.

Проснулись мы от резкого холода в комнатах в тотчас все заметили, что входная дверь, запертая с ночи на большой крюк, открыта. Собаки в комнате не было. Этот случай вызвал в вас большое удивление, но, не допуская мысли, чтобы пес мог поднять крючок, мы решили, что просто забыли с вечера запереть дверь, а утром пес толкнулся в нее, распахнул и вышел.

Целый день его не было видно, но с наступлением ночи он появился снова и дал о себе знать, скребясь в двери. Мы пустили его и накормили и, ложась спать, уже посмотрели дверь вдвоем и, кроме крюка, заперли ее еще и на железную задвижку, — замок в двери был испорчен и не действовал.

Утром дверь оказалась запертой и пес на своем месте, около печки, и это обстоятельство окончательно утвердило меня в мысли, что виновником происшествия с дверью были мы сами.

Прошло несколько дней. При этом мы обратили внимание на то, что он совершенно не лает, и даже прозвали его немым. Он быстро освоился с этой кличкой и шел на нее, ласково виляя хвостом.

— Верно, он оттого молчит, — решил отец, — что еще не чувствует себя дома.

Прошло еще несколько дней. Отец стал собираться снова в город, где жили мать и мои сестры, которые учились.

Рано утром он уехал, и я остался один с кухаркой, работником Карпушкой и сторожем.

По отъезде отца, от нечего делать, я пошел навестить наших лесников, живших в лесных казармах верстах в двух от завода.

«Немой» увязался за мной. Пробыв там несколько часов, я вернулся домой и, когда уже брался за ручку входной двери, заметил, что пес вдруг куда-то исчез. Я стал звать его, но он не появлялся. Однако, когда стало темнеть, он пришел домой, очень неохотно, против обыкновения, поел и не пошел на свое место, а сел против меня и стал смотреть на меня, не мигая, своими янтарными глазами, лишь изредка шевеля левой бровью, на которой торчало несколько длинных жестких волос. Когда я переходил с места на место, он следовал за мной, снова усаживался против меня и продолжал смотреть на меня своими желтыми глазами.

Сначала это меня только раздражало, а затем, под влиянием его взгляда, в мою душу начал прокрадываться суетный страх.

Я стал гнать пса, он отходил куда-нибудь в угол, но продолжал и оттуда глядеть на меня. Попробовал я запереть его в другую комнату, но он с такой силой стал скрестись в дверь, что весь дом заходил ходуном. Хотел выгнать его на двор — он уперся и не пошел.

Часов в десять вечера пришла кухарка, постелила мне постель и, пожелав спокойной ночи, ушла к себе на кухню, расположенную через двор от главного дома. Уходя, она сказала мне:

— Приходил Абрам (наш сторож) и просил Карпушку идти с ним в обход, а то ему одному сегодня вдруг боязно стало. Теперь и мне одной страшно, всю ночь спать не буду...

Это сообщение подействовало на меня не совсем приятно: непонятный страх Абрама, никогда ничего не боявшегося, как будто передался и мне, а тут еще «Немой» сидел

и пялил на меня глаза, словно сыр. И потому прежде, чем ложиться спать, я внимательно осмотрел свое ружье и положил на ночной столик лядунку с порохом и пулями.

Но скоро мной овладело такое беспокойство, что я оставил всякую мысль о сне и, открыв какую-то книгу, сел к столу. Глаза бегали по страничкам, но я не понимал прочитанного, ибо непонятное беспокойство вдруг овладело мной и страх мой перед псом принял такую форму, что я не то что боялся, а просто не мог встать и отогнать его от себя.

Не помню, сколько времени провел я в таком состоянии, как вдруг где-то вдали бухнул глухой звук выстрела, за ним другой и третий... Я замер на стуле, судорожно схватившись рукой за холодные стволы ружья, приставленного мной к столу. Потом резкий свист, смягченный расстоянием, послышался, очевидно, там же, откуда последовали выстрелы, тот самый свист, который я слышал несколько дней назад в лесу при нападении разбойников.

В ответ с противоположного конца завода, очевидно — издалека, послышался такой же свист, заливчатый и тонкий, но уже едва уловимый ухом.

Пес, встрепенувшийся еще при первом выстреле, теперь заволновался, задвигал своими короткими ушами, но потом вдруг словно успокоился, поднялся и, не спеша, вышел в переднюю. И вдруг я услышал звук сбрасываемого крючка... Машинально я схватил в одну руку лампу, а в другую ружье и бросился за ним.

Крюк был уже сброшен — и «Немой» старался отодвинуть зубами огромный железный засов. Я поднял ружье в ударил пса изо всей силы прикладом по голове.

Пес отпрыгнул от двери и снова сел на задние лапы и снова уставился на меня, как ни в чем не бывало, не издав ни одного звука, точно это было, действительно, немое существо. В то же время вдоль стены дома послышались шаги бегущего человека, потом эти шаги застучали по ступеньям крыльца, и я услышал тихий, запыхавшийся голос Карпушки: «Паныч! Паныч!» — сопровождаемый легким стуком в дверь.

— Я здесь, — отозвался я. — Что случилось?

— На нас напали разбойники... Абрама, видно, убили. Я сейчас побегу до лесников, а вы оброняйтесь, дверей им не открывайте, а то убьют!..

И с этими словами он снова затопотал ногами по крыльцу — и все стихло...

Я вложил крючок в петлю и возвратился в комнату. Пес последовал за мной.

В окна нашей квартиры были вставлены толстые железные решетки да, кроме того, они закрывались очень прочными внутренними дубовыми ставнями, так что с этой стороны я мог выдержать довольно продолжительную осаду, но входную дверь, как она ни была прочна, было легко высадить любым бревном. И потому я решил все свое внимание обратить на дверь.

С этой целью я поставил лампу в дальний угол передней, а сам стал в дверях своей неосвещенной комнаты с ружьем наготове и стал ждать. Чувствовал я себя преотвратительно. Меня била легкая, противная, холодная дрожь, ноги тряслись, руки ходили ходуном, но весь этот страх был ничто перед тем ужасом, который наводил на меня пес, продолжавший не спускать с меня глаз. Я чувствовал себя, как загипнотизированный, я чувствовал себя в его власти, я умирал от ужаса... Эта пытка была такая невыносимая, что, наконец, я преодолел себя и стал медленно, трясущимися руками наводить ружье ему в грудь. И если бы он хоть на минуту отвел свой взгляд в сторону, хоть бы моргнул, я всадил бы пулю ему в грудь; но он спокойно сидел и серьезно смотрел на меня — и мои руки опускались.

Вскоре на дворе послышались грузные шаги нескользких ног, дверь задрожала под сильными, частыми ударами — и хриплый мужской голос повелительно крикнул:

— Отвори! Эй, слышишь! Отвори! Выходи, кто есть!

Дрожа, как лист, я хотел навести ружье на дверь и послать им пулю, но пес продолжал гипнотизировать меня, и руки отказывались мне служить. Я цепенел от ужаса. Я не знаю, сколько времени продолжался этот кошмар... Я стоял,

как завороженный, на пороге свой комнаты, не будучи в силах двинуться с места.

Я помню только, как затряслась и застонала дверь под ударами чего-то тяжелого, я помню, как пес в этот момент, не спуская с меня глаз, стал тихо подкрадываться к двери...

И, вероятно, еще минута — и я умер бы от разрыва сердца, но вдруг удары в дверь прекратились. Среди осаждавших произошло какое-то замешательство, и вскоре я услышал топот убегающих ног, а затем чьи-то приближавшиеся к дому крики, и под дверью раздался громкий голос Карпушки:

— Паныч! Вы живы?

Я бросился к двери и распахнул ее, может быть, рыдая от радости. Что-то тяжелое ударило меня по ногам и проскочило мимо... В тот момент я не обратил внимания, но потом понял, что это был пес.

С той ночи он исчез и больше никогда не появлялся...

Д. Михайлов

ЯРЧУК

(Из области необъяснимого)

Это было в Малороссии. Я жил в качестве дачника на одном пригородном украинском хуторе X-го узда. Это была не обыкновенная помещичья усадьба, а нечто вроде дачного курорта, куда горожане приезжали не только для летнего отдохновения на лоне природы, но и с целью полечиться от недугов при помощи естественных методов лечения, которые теперь все больше и больше входят в медицинскую практику.

Однажды, ранним вечером, сидели мы за ужином на веранде хозяйствской дачи. Тут была сама хозяйка с детьми, брат ее, доктор, со своей семьей и несколько дачников-пансионеров: мужчины и дамы. Около стола, по обыкновению, вертелось несколько собак, в том числе «Пальма», — заурядная дворняжка среднего роста, с длинной желтовато-серой шерстью.

— Скажи, пожалуйста, Ваня, — обратилась хозяйка к своему брату, увидев эту собаку, — как ты объяснишь следующий случай?

У этой вот «Пальмы» в прошлом году родился в единственном числе щенок. Местом произведения его на свет она избрала подполье нашей спальной платформы на сеновал; подкопалась и устроила себе логово.

Спустя неделю, а, может быть, и больше, щенок стал показываться в выходе из подполья. Что это за прелестный был щенок! Весь черный, без единой отметины, шерсть волнистая и глянцевитая, мягкая, как бархат. Дети были от него в восторге и постоянно носились с ним.

Однажды в парке встретила их старуха-торговка из Печерного хутора и, увидев щенка, также залюбовалась им: «Ах, який гарний!» Но, узнав, что он родился одиноким, с тревогой проговорила: «Ой, дитки, це ярчук; вин жить не буде: его видьма везме».

Дети, конечно, были очень опечалены этими словами старухи, и я стала расспрашивать своих рабочих-малороссов, что такое ярчук? Все они в один голос заявили мне, что ярчуком в деревнях зовут щенка, который рождается, как они выражались, «едным» и непременно черной масти, без малейшей отметины, и что такой щенок непременно будет

уташен ведьмой и уничтожен.

— Вскоре после встречи со старухой, — продолжала хозяйка, — случилось такое обстоятельство. Легли мы все спать на нашей платформе на сеновале, дети другие все уже заснули, да и я сама начала забываться, как вдруг слышу под полом страшную возню; что-то там стучит, вертится, рычит, хрюпит, и все это так громко, что все проснулись. Начну я стучать об пол палкой — шум замолкнет, но не пройдет и пяти минут, как он поднимется снова и как будто с еще большей силой. Так продолжалось далеко за полночь, и только перед рассветом все смолкло, и мы заснули.

Утром, как только проснулись и оделись, дети первым делом бросились к подполью и стали вызывать щенка, но, против обыкновения, он не показывался. Чтобы осмотреть хорошенько подполье, позвали рабочего с лопатой и приказали сделать подкоп с другого конца платформы. Оказалось, щенок забился в самый дальний угол и притаился там, словно бы от преследования. Немалого труда стоило извлечь его из этого убежища. Ну, тут дети уж буквально не выпускали его из рук.

На другой день предложен был переезд в город и по этому случаю ночевать приходилось не на сеновале, а вот здесь, у меня наверху. Боясь за участь своего любимца, дети просили меня позволить им взять его на ночь с собою, но я не позволила: не люблю спать в одних комнатах с собакой! Однако, чтобы успокоить детей, я устроила ему, казалось бы, вполне безопасный ночлег. Поставили вот в этом коридоре глубокую ванну, положили в нее щенка и накрыли ее большим, толстым брезентом; окна выходящих в коридор комнат позаирали шпингалетами, двери их затворяли, а двери самого коридора с черного хода и вот эту, что выходит на эту веранду, я собственноручно заперла изнутри на ключ. Окончив все эти предосторожности, мы отправились наверх спать и скоро заснули. И вот тут-то и случилось то, чего до сих пор не могу себе объяснить...

Ровно в двенадцать часов я проснулась от какого-то шума под окнами моей спальни. Но это был даже не шум, а

что-то такое своеобразное, чего я не умею и передать. Тут слышались: и визг, и рычание, и лай, и вой, и плач, и гудение и все это вместе представляло собой сплетение звуков злобы, отчаяния, мольбы, страданий, — звуков от самых низких до самых высоких нот, словно бы это был вихрь или, скорее, крутящийся ураган всевозможных голосов и звуков, какие только существуют в природе... Если бы несколько струнных и духовых оркестров сбить в беспорядочную кучу и заставить все инструменты изо всей силы издавать звуки, на какие они способны, то это представляло бы собой, мне кажется, некоторое подобие того, что я услышала. Понятно, я перепугалась; да и не я одна: на этот гвалт сбежались все дачники, какие еще не уехали, и даже рабочие со скотного двора прибежали, в чем были, полураздетые, — до того все переполошились.

Когда шум стих и я услышала внизу человеческие голоса, я сошла в коридор и — что я здесь вижу? Эта дверь из коридора на веранду отворена, ванна раскрыта и щенка в ней нет. Выхожу на веранду, мне навстречу идет ночной сторож Иван и держит в руках щенка.

— Где ты его взял? — спрашиваю.

— А вот, — говорит, — за цветником, по ту сторону огорода на дороге. Я бросился сюда на шум, прибежал и вижу: какая-то черная собака треплет кутька; я ударил ее палкой, аж палка пополам, а собака — ничего! Одначе, раз-другой еще трепнула кутька и бросила, а сама убежала вон туда, в нижний парк.

По осмотре щенка оказалось, что один глаз у него прощупен и морда вся изранена, — сочится кровь. Может быть, и туловище было изранено, но я уж не смотрела.

Чтобы спасти жизнь этому бедному зверьку, я распорядилась с рассветом отвезти его в город в ветеринарную лечебницу, куда он своевременно и был доставлен, но, как оказалось потом, он там в тот же день к вечеру издох...

П. Дмитриевич

13

(Истинное происшествие)

— Это было в восьмидесятых годах, — начал мой случайный спутник по вагону.

С наступлением весны, в нашем городке началась настоящая эпидемия краж. Причем одновременно, в одну ночь, например, в нескольких домах почти подряд, на одной и той же улице, совершались кражи по совершенно однородному способу...

Выпиливались, например, двери и из передних похищалось все верхнее платье. Вскрывались окна и забирались все, что только было возможно взять. Вечером же, пока еще были закрыты окна, вещи исчезали из комнат, как будто сами собой.

Был зарегистрирован, например, такой случай.

Однажды вечером у полицеймейстера играли в гостиной в винт. Окна гостиной выходили на улицу и были открыты. Часов в 10 вечера гостей пригласили пить чай в столовую, расположенную рядом с гостиной.

Едва только они вышли из комнаты, как один из игравших, местный городовой голова, тотчас же вернулся назад, чтобы захватить оставленный им на ломберном столе золотой портсигар.

Но портсигар уже исчез.

Быстро смекнув, в чем дело, голова взглянул на окно и заметил, что тюлевая занавеска его колышется. Он бросился к окну и выглянул на улицу. Там никого не было, кроме городового, который ходил около подъезда, освещенного фонарем.

Городовой никого не видел вылезавшим из окна и, по его словам, в течение нескольких минут мимо дома полицеймейстера вообще никто не проходил.

Это обстоятельство навело на мысль, что вор спрятался где-нибудь в доме; осмотрели все уголки и закоулки, заглядывали под все диваны, кровати, столы, даже стулья, за портьеры, чуть ли не за зеркала и картины, но никого постороннего в доме не оказалось.

В карты больше не играли. Когда подошли к столу, чтобы рассчитаться, чтобы рассчитаться, то посередине его заметили крупно написанное мелом число «13».

Никто из игравших его не писал, и не подлежало сомнению, что автором этой надписи являлось то таинственное лицо, которое похитило портсигар.

При этом случае полицеймейстер вспомнил, что и при других кражах полиция видела неоднократно изображение этих же цифр, например, на выпиленных дверях, но не придавала им особенного значения.

Теперь было ясно, что это был знак одного и того же вора или, вернее, целой воровской шайки.

Нечего и говорить, что вся полиция была немедленно поднята на ноги, но вора, однако, не нашли. Между тем, история с кражей портсигара в доме самого полицеймейстера, да еще в связи с таинственным числом «13», наутро облетела весь город и, передаваясь из уст в уста, получила, в конце концов, такую форму, что обывателями овладела настоящая паника.

Паника эта усугублялась еще тем обстоятельством, что, несмотря на большое количество краж, — их в короткое время было произведено чуть не до полусотни, — никто никогда не видел вора или воров.

Они уходили всегда незамеченными, как и приходили, и эта таинственность наводила на обывателей особенный ужас.

Дошло до того, что жильцы нескольких смежных домов объединялись и ночью по очереди дежурили, и однажды талая охрана подняла тревогу, приняв пьяного фонарщика за жулика: на крик сбежалось население всей улицы, вооруженное чем попало, и бедного фонарщика едва не заколотили насмерть.

Больше добровольной охране ничего не удалось сделать; таинственных воров она так и не видела, а кражи повторялись своим порядком каждую ночь то в том, то в другом конце города.

Вскорости же произошел и следующий случай.

Чиновники акцизного управления, чествую начальника по поводу какого-то юбилея, поднесли ему альбом с дорогими серебряными крышками.

Чествование юбиляра, по случаю весны, происходило в городском саду, в ресторане, и альбом долгое время ходил по рукам участников обеда. Его рассматривали и хвалили, передавая один другому, когда же юбиляр собрался уезжать, — дорогого подарка не оказалось, он исчез...

В эти годы я занимался лесным делом, часто вынужден был держать при себе довольно крупные деньги и, среди этих краж и бесконечных разговоров о них, чувствовал себя весьма неважно.

Иногда от беспокойства я не спал целые ночи напролет, а рано утром должен был отправляться по делам на речную пристань и потому чувствовал себя совершенно разбитым.

Чтобы как-нибудь скоротать ночи, я стал ходить в клуб, возвращаясь домой только к расцвету.

Недалеко от центра города у меня был свой дом с флигелем в глубине двора и садом.

Будучи человеком одиноким, дом я сдавал, а сам жил во флигеле, который задним фасадом своим выходил в сад.

С наступлением ночи, калитка на улицу запиралась и во дворе спускалась с цепи огромная, страшно злая овчарка. Калитка со двора в сад на ночь открывалась, чтобы собака могла сторожить флигель и со стороны сада.

Чуткий и рачительный пес не спал всю ночь, отзываясь на каждый шорох, на каждый треск сучка в саду.

Как-то, — это было вскоре после трагикомического случая с альбомом, — я ушел из клуба несколько ранее обычновенного.

На дворе у себя я был встречен своим псом. Едва я только я вставил ключ в калитку, как он бросился на звук замка и поднял громкий лай, но, учуяв меня, стал прыгать от радости и визжать, как щенок.

Проводив меня до дверей флигелька, он галопом понесся в сад и занялся своей сторожевой службой.

Беседый вид пса и тишина так успокаивающе подействовали на меня, что я разделся, лег в постель и задремал.

Я забыл вам сказать, что перед этим я открыл окна, оставив, однако, ставни запертыми на болтах.

В нижней части ставней были сделаны круглые отверстия для света, и прохладный ночной воздух, проходя через них, освежал комнату.

Проснулся я от легкого шороха.

Уже светало, и свет бледными полосками пробивался в щели ставень. Взглянув на окно, как раз против своей кровати, выходившее в сад, я обратил внимание, что светится круглое отверстие только в одной половинке ставня, а другое чем-то заслонено.

Это меня несколько встревожило. Нащупав под подушкой револьвер, я продолжал лежать и глядеть на ставень. Всмотревшись хорошенъко, я понял все..

В отверстие ставня была просунута почти по локоть чья-то рука, которая ловко и осторожно, почти бесшумно исследовала ставень.

Тихо встав с кровати, я подошел к столу, взял лежавший там длинный тонкий ремень, для чего-то мне служивший, сделал из него петлю и подкравшись к окну, накинул на кисть руки и, быстро затянув ее, привязал конец к спинке массивной английской кровати, стоявшей у самого окна.

Рука, в момент ее ловли ремнем, сделала было сильное и быстрое движение, чтобы освободиться, но когда я быстро притянул ее к кровати, перестала двигаться, точно в ней прекратилась жизнь.

— Вор пойман! — ликовал я, чувствуя, между прочим, сильное волнение.

Однако, выйти за дверь и поднять тревогу я побоялся, опасаясь получить удар в голову в тот самый момент, как буду отворять дверь. Оставаться в соседстве с таинственной рукой я тоже не мог и решил перейти в другую комнату и ждать полного утра, будучи уверен, что вор привязан достаточно крепко для того, чтобы не уйти.

Захватив с собой револьвер, я перебрался в кабинет, тоже выходивший окнами в сад, лег на диван и стал прислушиваться.

Все было тихо... Собака словно провалилась сквозь землю. И это меня удивляло. Я знал, что задобрить ее ничем нельзя. Оставалось только предположить, что ее убили. Но как

это можно было сделать без шума? Ведь не могла же она не броситься на непрошеных гостей и не залаять, и я не мог не слышать ее лая...

Я лежал и ждал с трепетом дня; тишина, между тем, царила прежняя, по крайней мере, я сквозь окна и ставни ничего не слышал.

Когда стало совсем свело и на дворе завозились куры, я приотворил дверь в спальню и поглядел на руку. Она была в прежнем положении, только опустилась, лежала на подоконнике.

— Отлично! — решил я и, сунув в карман револьвер, вышел в сад и... замер на месте...

Под окном с рукой — никого не было...

Неужели вор исчез в тот момент, пока я проходил из кабинета в сад?

Бросаюсь в комнаты и убеждаюсь в том, что рука на своем месте. Бегу в сад, к окну и останавливаюсь в ужасе...

Под окном громадная лужа крови, уже почти впитанной землей, а в отверстии ставня торчит кровавый мосол отнятой по локоть руки и блестит перламутром головка плечевой кости.

Меня обяжал ужас и, выбежав на середину двора, я стал кричать не своим голосом...

.

Скоро мой двор был полон полиции. Осмотрели весь сад и все соседние, но нигде не нашли и следов человеческих, не только трупа.

Овчарка оказалась забившейся в самый дальний угол своей конуры и не выходила оттуда двое суток, а потом слонялась по двору, как шальная, и скоро издохла.

При осмотре руки, на запястье ее было обнаружено четко вытатуированное число «13»...

После этого кражи в нашем городе прекратились.

Ал. Королев

УЖАС

(Случай)

I

Уже на третий день знакомства с этим странным человеком Нина почувствовала что-то неладное. Слишком уж подозрительными казались его осторожность, холодная и приторная вежливость, молчаливость и особенно странный интерес к ее отцу, заслуженному боевому генералу.

— Отчего вас так интересует мой отец, Карл Иванович? — лукаво спросила девушка, кокетливо улыбаясь. — Нужели он для вас интереснее, чем я?..

Они гуляли по одной из шумных, кривых и грязных улиц города Баку, куда недавно приехал из Петрограда генерал по важному служебному делу.

С Карлом Ивановичем, молодым инженером из немцев, Нина познакомилась на пикнике и вот уже третий день, как он неотступно следует за нею, притворяясь влюбленным...

— Ну, отчего вы молчите? — смеясь, спросила девушка.

Киснер (такова была фамилия Карла Ивановича) многозначительно вздохнул и вдруг, очевидно, с целью переменить тему разговора, предложил:

— А не желаете ли, Нина Петровна, совершить небольшую прогулочку за город? Я вам покажу интересные окрестности, поднимемся на нефтяные вышки...

— О, это действительно интересно! — живо согласилась Нина. — Сейчас около восьми часов, когда мы дойдем до вышки, наступят сумерки и город с такой высоты покажется нам очаровательным... О, это будет очень интересно, поэтично! В особенности, Карл Иванович, если вы на вышке объяяснитесь мне в любви... ха-ха-ха! Не правда ли? Это будет удивительно оригинально: пламенное объяснение в любви на грандиозном керосиновом баке!.. Как бы только не произошел пожар...

Она не заметила, как немолодое и бледное лицо Киснера исказилось злобным страданием и обидой. Его тонкие бледные губы стали еще тоньше, а узкие мутные глазки потемнели и смущенно замигали.

— О, вы очень остроумны, Нина Петровна, — выдавил он из себя, — а я и не знал... Но на вышке, действительно, будет интересно!

В сущности, этот скучный инженерик порядком надоел Нине, но ее спортсменские наклонности заставили в данном случае терпеть его общество, — чтобы пробраться на грандиозные керосиновые баки. Это, в самом деле, обещало быть интересным.

— Что ж, пойдемте, — согласилась она.

Карл Иванович зашагал быстрее.

Наступал вечер. Душный южный вечер.

Нина шла и с легкой досадой думала о том, что неинтересный собеседник может без труда испортить самое хорошее самочувствие.

— Почему я с ним познакомилась? — думала она, недоумевая, — кто он?

Его влюбленность была так неумело притворна, что Нина даже не испытывала презрения... Да и вообще, все его поведение было странно и подозрительно и, собственно, это даже было одной из главных причин, почему Нина позволила ему сопровождать себя.

Нина была необыкновенно развитая, смелая и умная девушка, и ей просто интересно было разгадать встретившегося ей странного человека. Разве разбираться в людях — не самое интересное развлечение?

II

Нина искоса с любопытством разглядывала слегка сутулую спину Киснера, его тоненькие руки в щеголеватых перчатках, бледное лицо, панаму...

— Карл Иванович, вы долго живете в Баку? — спросила она.

Инженер, погруженный в свои думы и чем-то, по-видимому, взволнованный, слегка вздрогнул и быстро ответил:

— О, нет, Нина Петровна, недолго! Всего два месяца.

— А отчего вы так взволнованы? — спросила девушка.
— Или, может быть, мне так кажется?

Он опять ответил кратко и отрывисто, затем опять вздохнул многозначительно и замолчал.

Вообще, весь его разговор состоял из этих коротких, отрывистых фраз, многозначительных вздохов и бесконечно долгих пауз. Оживлялся он только, когда речь заходила о генерале, отце Нины. Но эта его оживленность успела броситься в глаза девушке, и Киснер совсем не знал, о чем говорить ей.

— Вот мы скоро и на месте! — сказал он.

— Да.

Действительно, перед ними на нежном фоне темнеющего неба возвышались четыре колоссальных размеров керосиновых бака.

Вскоре девушка, чуть-чуть приподняв платье, поддерживаемая Киснером, взбиралась по вьющейся железной лесенке на вышку.

Пока она поднималась, Киснер подробно объяснял ей устройство машин по извлечению нефти и превращению ее в керосин.

Наконец они взобрались на самый верх.

Нине, несмотря на то, что она была ярой любительницей сильных ощущений, стало жутко...

Она очутилась на узенькой железной доске, перекинутой через керосиновую бездну...

— Ax! — невольно вырвалось у нее.

— Ничего, Нина Петровна, — заметно волнуясь, говорил Киснер, — пройдите, пожалуйста, дальше, вот сюда... Ничего...

— Зачем? Оставьте! — толкнула его Нина.

Но он цепко держал ее за руки и толкал к противоположному краю бассейна, где не было доски...

— Что вы делаете? — в отчаянии крикнула Нина.

— Молчать! — резко, нагло, прямо в лицо девушке крикнул негодяй. — Стоять смирно!

Нина до того была ошеломлена всем происшедшем, что невольно подчинилась окрику и стала на самом краю

дрожащей железной доски...

От ужаса и возмущения она едва не лишилась чувств. Под ней неподвижно стыла бездонная керосиновая масса, она чувствовала холод, идущий из нее, видела неясное мерцание ее поверхности...

— Что вы со мной хотите сделать? — спросила Нина.

— Увидите.

Киснер, тяжело дыша, связывал ей руки тоненькой веревкой и приговаривал:

— Если вам угодно кричать, — то пожалуйста! Мешать не буду! Сторожа все мои. А если шевельнетесь, то совершите небольшое плавание — вниз. Поняли?

— Но для чего все это? Что же вам все-таки нужно от меня?

Нина, несмотря на всю жуткую обстановку, успела прити в себя и, со свойственным ей самообладанием, старалась разобраться в происшедшем.

— Мне вот что нужно, — тяжело дыша, шептал Киснер, — мне нужно вот что... Если вы хотите жить, а... не быть заживо и навеки погребенной... Так вот... напишите мне тут сейчас же записку к вашему отцу, чтобы он немедленно выдал подателю этой записи кое-какие чертежи... Я — военный агент, и мне поручено это сделать... Но никакие хитрости не могут провести вашего проклятого отца и его чертовской осторожности... Даже ваша горничная, которая подкуплена мной, не знает, где он прячет свои бумаги... Теперь, надеюсь, он выдаст... Или... Или он лишится своей единственной и горячо любимой дочери... Как хотите... Мне интересно, что у него окажется более сильным: любовь к дочери или — к службе и карьере...

Нина слушала его с тем вниманием, с каким может слушать человек лишь в самом глубоком, беспредельном отчаянии.

Теперь, наконец, ей стал ясен этот человек. Но как он был жалок и противен даже в своей безумной решимости и чисто звериной жестокости. Каким тупым стремлением поскорее добиться своей цели горели его узкие глаза!

Что-то острое, яркое и неизведенное поднялось вдруг в душе девушки. Она отчетливо почувствовала, как волнами заходила в ее жилах кровь... как огненная, чудовищная смелость ударила в голову. Нина забыла, какая опасность грозит ей. Одно острое и страшное решение овладело ею и, якобы подчиняясь ему, она сказала, задыхаясь от охватившего ее волнения:

— Хорошо... напишу... развязжите...

Он пытливо посмотрел на нее и приблизился, чтобы развязать ей руки, а затем дать карандаш и бумагу...

Но лишь успел он сделать первое, как произошло то страшное, что навеки оставило черный след тоски и горечи в чистой душе молодой девушки...

Не помня себя от возмущения, отчаяния и героической решимости, девушка дико взвизгнула, ударила по лицу своего мучителя с такой силой, что он споткнулся, упал, и через несколько секунд он жутко замелькал небольшим мутным пятном в мутной массе керосина...

III

...Только теперь, когда прошел год со времени этого жуткого приключения, когда Нина оправилась от тяжелой нервной болезни и когда наступила неслыханная по жестокости, ужасная война, Нина поняла как следует то, что случилось с ней и что едва не стоило ей жизни.

Дмитрий Цензор

УДАВЛЕННИКИ

Петр Ильич Скворцов — человек в своем роде исключительный. Бывали с ним такие истории и случаи, какие у нас с вами никогда не слышались, и любит он рассказывать о них. Ум у него трезвый, без всякого мистицизма, а между тем, если верить, происходили в его жизни удивительные вещи, иногда очень таинственные. Плотно сложен, с хорошо развитой мускулатурой, белобрыс, бреет усы и бороду. Рассказывает с добродушной хитроватой улыбкой, — вот почему не всегда веришь тому, что рассказывает, хоть честным словом уверяет. Когда же рассказывал эту историю, так совсем не улыбался и прибавлял, что, мол — человек я положительный, ни в какие спиритизмы и таинственные явления не верю, а тут руками развел и даже страшно стало. После этого стал бояться всяких предчувствий и темноты.

По окончании университета жил Петр Ильич в своем родовом имении, ничего не делал, кое-как за хозяйством присматривал, охотился и сбивал деревенских девок. Беды в этом смысле натворил он немало: был даже случай — сильно на него мужики озлобились. Кое-как дело уладилось, а то худо вышло бы. Вообще же считался барином хорошим, и действительно, несмотря на некоторое самодурство в характере, был человеком с широким русским размахом.

Так вот, после университета жил он у себя в имении, ничего не делал и развлекался, как мог, по-своему. Всем имением ведал управляющий; доходы были изрядные; здоровье у Петра Ильича превосходное, чего же лучше?

Но делю ведь в том, что человеку со средствами, образованному и молодому, долго одному в глухи уединенно не прожить. Как бы ни хороши были и поля, и леса, и тишина глубокая, и простая деревенская жизнь, а в конце концов потянет человека к обществу, к какой-нибудь деятельности, — просто к живой и шумной жизни. Вот нашего Петра Ильича и потянуло тоже в город. Забросил охоту, затосковал, ходит по тихим комнатам один, хмурый и унылый. Даже любимую собаку — сеттера Самсона — бить стал. «Ну, — думает, — дело плохо, нужно ехать в Петербург». А тут за

окнами ветер стонет, рвет сухие листья с деревьев и с воплем уносит их целыми охапками в ночное черное поле. Всякому в такие ночи хочется шумного веселья, огней, улыбающихся лиц и, — что ни говорите, — а и любви и всего такого прочего, с этим вопросом связанного... Одним словом, жизни интересной и содержательной.

«Эх, что же, в самом деле, — думает Петр Ильич, — есть у меня средства, здоров, а сижу медведем, ничего не делаю и неизвестно о чем тоскую. Чего доброго, еще пить стану! Нет, но дело это! Поеду в Питер и что-нибудь затею, — газету, что ли, издавать начну, живое это дело и интересное, а то получается такое впечатление, как будто я человек ненужный и не знаю, для чего я существую».

Одним словом, решил и поехал. Управляющему оставил на руки все имение, — летом обещал вернуться месяца на два, — и приехал в Петербург к сестре, Варваре Ильинишне Хомутовой, чей муж-то в интенданской истории замешан.... Впрочем, все это особенного отношения к рассказанной истории не имеет и является уклонением от сути; а посему вернемся к упомянутому странному случаю, который с Петром Ильичем приключился.

* * *

Погостил он у сестры недельку и говорит:

— Ну, теперь за дело приняться пора. Буду издавать промышленную газету. Тем более, что биржа меня интересует, и есть у меня кое-какие планы и мысли.

Отыскал нужных людей, сговорился, выработали план и решили начинать. Нужно Петру Ильичу снять квартиру, где мог бы сам жить и при которой редакция была бы.

Отправился он в одно утро на поиски. Нанял извозчика и давай ездить по улицам, расположенным недалеко от центра. Ездит и посматривает на билетики, где квартира сдается. Пересмотрел много квартир — не нравится, не может себе найти подходящую, да и только; даже надоело

искать. (Здесь, собственно, и начинается история, а обо всем прочем можно бы и не упоминать.)

И вот видит Петр Ильич дом с билетом о сдаче квартиры. Дом, как дом — большой, петербургский, немного старый и мрачный, но интересной архитектуры. «Давай, — думает, — взгляну, что за квартира».

Позвонил дворнику. Тот вышел, бороду почесал и говорит:

— Пожалуйте, барин, квартира хорошая, благодарны будете.

Повел он Петра Ильича наверх, показал квартиру; действительно, квартира хорошая, со всеми удобствами и очень дешево. Петр Ильич даже удивился; немного только нежилой сыростью попахивает, но и то дворник уверил, что много топить будет и сырость прогонит.

Долго осматривал Петр Ильич квартиру, обращая внимание на все мелочи, во все вникал и все обусловливал. Человек он солидный, привыкший к домовитости, и хорошее впечатление произвел на дворника, очень расположил его к себе.

Квартира Петру Ильичу понравилась, и он решил ее снять. Сказал дворнику, когда переедет, и сунул ему на прощанье трехрублевую бумажку на чай.

Дворник, удивленный подобной щедростью, снял шапку, усиленно кланялся и бормотал:

— Очень вам благодарны, барин; дай Бог вам счастливо в квартире жить, и вопче всякого благополучия.

Но, спускаясь за Петром Ильичом с лестницы, становился все озабоченнее и угрюмее, несколько раз вздохнул и произнес: «Эх!...» А на самом низу, после некоторых расспросов Петра Ильича о том, кто жил в этой квартире, снял шапку и затоптался на месте, озадаченно почесывая затылок. Наконец пристально, с грустью посмотрел Петру Ильичу в лицо и сказал со вздохом:

— А что я вам, барин, скажу... Эх, говорить ли...

— В чем дело? — спросил заинтересованный Петр Ильич.

Дворник решительно тряхнул головой.

— Эх, барин, должен я вам сказать... Очень вы хороший барин, и жалко мне вас, другому не сказал бы, а вашей милости не могу... Против своей же пользы иду, потому хороший вы жилец, и должен вас предупредить...

— Да в чем дело, говори толком?

— Не снимайте, барин, этой квартиры! Неладная она. Верьте совести, жалко мне вас. Снимете — пропала ваша головушка. Против своей пользы иду, а не могу... Хороший барин...

— Ничего не пойму.

И рассказал дворник Петру Ильичу следующее:

«Жил в этой квартире много лет один человек. Говорили про него, что очень богач и скончался. Родных и знакомых у него не было, а может, и были, да только он никого не принимал, почти не выходил из дома, прислуги не держал и вел очень странный образ жизни. Как-то заметили, что долго старики не показывается. Прошло еще несколько дней — пробовали стучать к старику, — никто не отвечает, только суетня мышья на полу слышна из-за двери. Послали за полицией, дверь взломали, открыли, а в квартире смрад нестерпимый, грязь, везде груды тряпок, ломаной мебели, всякого ненужного старья, везде крысы огромные суетятся да прячутся. А старики-то в столовой на крюке висит, страшный-престрашный и весь почти уже сгнил.

Много тысяч денег нашли в квартире у старика припрятанными. Объявился на них какой-то наследник. А только рассказывают, он вскоре после этого сам повесился, — не впрок пошло ему наследство.

Квартиру очистили, отремонтировали, привели в порядок и сдали другому жильцу. Переехал жилец, — почтенный человек, — ждал семью из другого города, а пока был один с прислугой.

И что же? Через неделю его нашли повесившимся на тот же крюке.

Квартиру эту считают проклятой. Слухи об удавленниках распространились, и никто в ней не хочет жить. Так она и стоит пустой».

Дворник развел руками.

— Как увидел я, какой вы есть, так мне вас жалко стало, что и сказать не могу. За что, думаю, человек пропадет? Что он мне на водку дает, так его на погибель из-за этого пуще? Нет, не христианское это дело! Уходите, бегите от проклятого места подальше, не возьму греха на душу.

Петр Ильич выслушал и рассмеялся. Такой отчаянный человек, ни во что не верит.

— Ну, что за вздор ты тут рассказываешь? Не боюсь я никаких удавленников. Мало ли что до меня было, — я и знать не хочу. Нарочно поселись, чтобы показать, насколько нелепы предрассудки. Случайное совпадение двух самоубийств... Не являются же покойники ко мне ночью в спальню? Сейчас же и задаток дам.

Дворник только руками развел.

— Господь с сами, я по совести, по-христиански, воля ваша. Только не советую, барин... Против своей же пользы... Проклятая квартира!...

* * *

Петр Ильич тотчас переехал и ухмыляется. «Посмотрим, — говорит, — как ко мне удавленники явятся. Глупый народ всякой чепухе верит...»

Купил мебель, расставил, устроил редакцию, побывало у него всякого народа достаточно, — незаметно первый день прошел. Прислуги еще не нашел, обходился пока услугами швейцара и дворника. Квартира вышла уютной, светлой, даже веселой...

В хорошем расположении духа лег ночью Петр Ильич в постель. Лежал, просматривал газеты и журналы, спать не хотелось. Потом почувствовал усталость, погасил электричество и начал забываться.

Неизвестно, долго ли продолжалось у него это забытье, только чувствует он, — начинает ему томить сердце какая-то необъяснимая тревога и замечает он полусне, как холодом веет на него, а тоска все стискивает больнее и больнее

его душу. И так невыносимо жутко стало, такой лихорадочной дрожью затрепетал Петр Ильич, что застонал, в ужасе открыл глаза и бессознательным взглядом в темноту уставился. Еле уловимый шорох почудился ему, воровской, мышиный, и тени какие-то в бесформенно-темном углу шевельнулись. Присел Петр Ильич на постели, дрожит и не понимает, отчего, а рубашка на нем мокрая. И веет по всей комнате необъяснимым, тоскливым веяньем.

Страшно стало ему. Ведь какой был рассудительный и смелый человек, а тут, как дитя, почувствовал себя слабым и беспомощным. Быстро вскочил и зажег электричество. Все в порядке, комната имеет уютный вид, только сырвато немного. На сердце Петра Ильича смутно; как-то вдруг опустел он, и мысли в голове зашевелились. Почему-то подумалось: жизнь лишена смысла и содержания и не для чего было приезжать в Петербург. Везде одинаково — тоска и ненужность.

И вдруг, невольно переведя взгляд на стену, заметил Петр Ильич, что у стены возле крюка, вбитого для вешалки, стоит длинная, страшно вытянутая фигура и смотрит на него удивленными вылезшими глазами. Не разглядел лица Петр Ильич. Закричал дико и пронзительно, звериным криком, против своей воли. И видит, что стена голая, никого нет. Может быть, это — галлюцинация, бред расстроенного воображения, сон. Но он не спал, он сидел на кровати, поджав ноги, и дремал. Понемногу успокоился и укутался в одеяло, но огня не гасил. «Черт знает что, — сказал он себе, — стыдно перед собой, какого дурака разыграл. Немного нездоровится, почудилось что-то сдуру, а я кричать. Нет, до чего дошел!»

Но заснуть он не мог и тоскливо забылся только тогда, когда в комнате было уже светло от петербургского тусклого утра.

Петр Ильич никому ничего не сказал оочных своих страхах, стыдно было. День провел в сутолоке и делах, недомогания больше не чувствовал и после забыл он обо всем этом. Но когда ночью вернулся домой, в темной квартире, пока зажег электричество, ощущал снова смутно-враждебную холодную тревогу. При свете все было буднично; немного только тени в углах подозрительно таились. И ясно сознает Петр Ильич, что он в квартире не один, что кто-то еще здесь живет необъяснимой жизнью. Жуткостью и холодом наполнилось его сердце. «Вот я и пуглив, как ребенок, — подумал он, — днем я кичливо храбр, а пришла ночь, и я во власти необъяснимых тайн».

Он разделся, потушил огонь и лег. Но спать он не мог. Ужас, как вчера, стискивал ему сердце от невыносимой смертельной тоски. И уже ясно слышит он, что веет на него холодным, мертвым дыханием, и чья-то мышиная поступь шагает в темноте, и взоры чьи-то ужасные смотрят на него — прямо душу холодными остриями пронизывают. Сел он, как вчера, на постели, мелкой дрожью бьет его и впивается в ослабевший мозг одна надоедная, мучительная, страшно неотвязная мысль: пойти в столовую, отыскать крюк и повеситься, как это сделали прежние жильцы.

И кажется Петру Ильичу, что жизнь невыносимая нелепость, — нет ни одного истинного, необманного луча. И хочется ему уйти от всей этой тяжести, от всей тоски, от всего страха этого необоримого. «Повеситься, повеситься!» — шепчет он беззвучно и в темноту безумно смотрит. Достал со стула шнур от рубашки, сжал в руке и ощупью, огня не зажигая, идет в столовую. А тоска так и гнетет душу, веет в квартире холодным дыханием, ужасные невидимые взоры прямо в затылок смотрят, словно пальцы ледяные прикасаются. Никогда человек о смерти не думал, а тут — подите-ка — что затеял...

И видит Петр Ильич: на стене в столовой, слабо освещенной фонарями с улицы, торчит крюк и зовет и манит неотразимо. И последним, предсмертным сном хочет Петр Ильич застонать и, полубезумный, тянется со шнуром по стене, чтобы зацепить за крюк.

Вдруг страшный звон наполняет всю квартиру. Как будто бы сто колоколов сразу обрушились на голову и наполнили гулом невыразимо напряженную тишину.

Петр Ильич дрогнул, замер, и сердце у него перестало биться. Потом он сообразил, что кто-то звонит у входной двери в электрический звонок. Кто же в такой поздний час? Придя в себя, он зажег огонь и, подойдя к двери, спросил, кто там. Опасалось, приехала сестра Варвара Ильинишна.

Удивленный, впустил ее Петр Ильич. Что значит ее поздний приезд? Она была бледна и взъерошена.

— Со мной вдруг случилось нечто жуткое и необъяснимое, — рассказывала она. — Ночью я вдруг проснулась, как будто меня разбудили, и я остро вдруг поняла, что тебе грозит несчастье. Мне показалось, что с тобой случилось что-то ужасное. Я сама не могу объяснить, как это произошло, но я вскочила, оделась и, почти не сознавая, никому не сказав, бросилась к тебе. Петя, не случилось ли чего с тобой? Скажи, милый!

Он стиснул зубы и ничего не ответил. Постарался успокоить сестру и, одевшись, проводил ее домой. К себе на квартиру в эту ночь не вернулся, а на следующий день выехал в другую квартиру. Дворнику он сказал: «Место это проклятое; ты был прав, предупреждая меня. Вот тебе за это еще пять рублей».

Дворник благодарил и в ужасе крестился. Так эта квартира, кажется, и до сих пор стоит необитаемая и запущенная. Многие из-за нее вообще не хотят жить в этом доме. Петр Ильич говорит, что все рассказанное — чистая правда, так чуть было с жизнью не покончил, хотя ему иногда начинает казаться, не померещилось ли все это ему. Но стал он больше верить в тайное и необъяснимое.

А почему бы всему этому и не случиться? Такие удивительные вещи бывают на свете, что Боже ты мой!

Н. Айлев

ПРИЗРАКИ

Словно сон проходят слова
и дела людей.

Вечером я уснул на поле за городом, и мне приснился удивительный сон. Мне приснился горячий летний день, и в немоте и огненности полдня затаилось что-то, что тайно и неясно намекает на одно чудовищное, захватывающее и такое, что страшно и радостно представить себе. И от этого предостерегающего намека я теперь ужасно беспокоюсь и думаю в душевном смятении:

«Что-то случится теперь еще?»

И вот спокойный и жуткий в своем спокойствии голос торжественно и грозно, и ясно разделяя слова, говорит откуда-то из страшной дали:

— Поверните его и разденьте.

Я невыносимо пугаюсь от этих слов и думаю в самом себе с трепетом:

«Боже мой, что же это? Поверните и разденьте».

И я чувствую, как меня поворачивают и раздевают, и лютый холод междузвездных пространств раскаленно обдает нагое тело... И тогда другой грозный и могущественный голос произносит:

— Совсем?

И третий голос отвечает второму, как невнятное эхо с другого края земли:

— Совсем.

«Совсем! — думаю я, весь содрогаясь и бледнея. — Вот оно! Но только как же это может быть?»

Я хочу найти тайный смысл всего этого и озираюсь кругом себя, но тут чувствую, что мне приподнимают голову и потом больно роняют ее на что-то каменное. Боль эта будто бы столь ужасна, что ее невозможно вынести никакими усилиями, и от боли этой я прихожу в себя.

Придя в себя, я увидел, что три темных человека склонились надо мной и что-то со мной делают. Я долго к ним присматривался, долго соображал про себя и, наконец, догадался, что это с меня снимают одежду. Но и поняв отчет-

ливо, я не придал этому никакого значения и не обеспокоился никаким образом. Мне только страшно досадно сделалось, что помешали таким пустяком досмотреть то, что было для меня теперь так важно. Поскорее я опять закрыл глаза я почти тут же вновь возвратился к прежним сновидениям. Все тот же самый полдень стоит над землей, все так же медленно и мурлыкает время, и все та же печаль и безмолвие в солнечном огне. Но теперь я замечаю, что сам я не на земле, а где-то в черной пропасти звездного пространства и на той высоте, о какой и подумать нельзя наяву. Весь пылающий полдень светится теперь подо мной за многие миллионы верст и похож на одну золотую искру. И вижу я из своей безграничной дали весь строй планет, жарко сияющих одной стороной и темно-синих с другой, и вижу и саму землю, кротко оперенную дымно-белыми облаками. И вот на земле с запада поднимается пыльно-кровавая буря, охватывает рдяным заревом своим весь запад и проносится по всей земле, кроткой и светоносной, опаляя всюду тусклые зеркала болот, холмы и равнины с ельником, березником, кочками и придорожной травой. Все делается диким и ужасным под ее смертоносным дыханием, но праздничным и веселым. И сметает буря с жизни всю ту густую мглу, какую незримо ни для кого была она прикрыта до сих пор, и делается видным все, что ни есть в ней, словно озаренное среди темной ночи грозным отблеском молнии.

И вот в одном месте на земле происходит какое-то необычайное движение. Я пристально всматриваюсь туда и вижу, как громадная масса людей идет куда-то, сияя высоким пламенем копий. Слитный свет их так велик, что от него загораются сами облака, а тяжкий шаг этой громады слышен далеко за пределами миров. И вижу я, как величаво колыхаются знамена у берегов Черного моря, трубы и листавры гремят в Скандинавии, и кони сталью копыт роют горячую землю у берегов Инда.

«Что же это за войско? — в удивлении думаю про себя я. — И с кем же это может быть теперь война?»

Я хочу рассмотреть знамена, но в это время внезапная молния сверкает по небу раз и другой от севера и до само-

го юга, и в раскаленно-ярком свете ее на миг исчезает все. И преодолевая сам свет этот, пред темной массой людей загорается еще более новый и невыразимый свет, и свет этот — кто-то лучезарный в латах и шлеме. Блеск лат его так могуч, что озаряет само солнце. Страшно, дивно и весело от этого человека, и весь мир объят славой и величием его, и все, что ни есть на земле, от края до края ее, от знойных морей до морей ледяных, все восклицает в восхищении:

— Слава, слава царю Аминадаву, слава!

Я же смотрю на него с замиранием и думаю:

«Боже мой, вот какая завидная судьба у этого человека! Но кто же это такой, что так возвеличен он над всеми людьми?»

Я усиливаюсь всмотреться в него, но слепнут глаза от зноя и блескания доспехов, и лицо светозарного неизвестного вовеки. Видно только, что все люди по сравнению со своим чудесным вождем сделаны крайне неискусно, наскоро, сплеча. Он же идет, куда хочет, и ведет всех, куда ни пожелает. И когда я вижу все это, я и очень теряюсь, и переполняюсь большой радостью.

— Уж этот доведет! — думаю я с радостным смехом.

И еще раз просматриваю я все видение от начала до конца и прихожу еще в большее восхищение.

— Как хорошо это, как хорошо! — восклицаю я про себя. — Хорошо и прекрасно!

И тут, едва успеваю я воскликнуть так, ясный белый свет, мгновенно проникшая в древний мрак моего тела, крови и костей, озарил передо мною всю жизнь мою неизъяснимым озарением. И с изумлением увидел я, как теперь в этом холодном белом свете все жизненные несчастья мои не только вдруг потеряли всю острую горечь свою, не только стали ничтожны и безразличны, но минутами даже сделались исполнены той тихой прелестью, миром и отрадой, какой исполнены бывают далекие-далекие воспоминания о жизни. И увидев все это, во второй раз воскликнул я про себя, отдыхая теперь душой от целой жизни своей:

— Да, все хорошо. Хорошо и прекрасно.

И готов я был созерцать и упиваться без конца своим изумительным видением. Но лютый холод междузвездных пространств стал столь велик, что начал корчить и свивать все тело мое. И от этого вдруг с ужасом и мраком исчезло вмиг все пленительное видение, и я проснулся.

С большим трудом открыв глаза, я насилиу понял, что вое, что только видел я, было лишь сном. Но вместо огорчения я потрясен был новой необузданной радостью. Лишь только я открыл глаза, я увидал, что прежний холодный белый свет все так же стоит над миром и все так же озаряет все неизъяснимым озарением.

Когда я открыл глава, стояло раннее мокрое утро, все в холодном белесом свету. Над полем, во все стороны, развесилось туманное белое небо, словно все сплошь занесенное снегом. На листьях кустов и травы тускло блестели угрюмые, злые капли дождя, и все было хмурым, недовольным и тревожно-тоскливым, и казалось, словно бы во всем мире начиналось последнее разложение. Но для меня по-прежнему все было радостью, умилением и буйным ликованием.

Проснувшись, я увидел, что лежу в одном белье, и все белье мое мокро, а во всем теле сильное незддоровье. Я понял, что меня ограбили, но и это мне было только мило. Я дрожал от озноба, и стучал зубами, голову же мучительно ломило, и все тело пронизывалось огнем. Когда я хотел встать, то в первый раз даже не мог и упал на бок. Но я только засмеялся и долго смеялся так без удержу в необъятной радости.

Кое-как поднявшись во второй раз, я заметил, что один из ограбивших меня бросил недалеко свои лохмотья, надев, должно быть, вместо них мой пиджак. С новым приступом счастливого смеха я натащил на себя эту рвань и дрожащими ногами с усилием пошел к больнице.

Пока я шел, я стал совсем уже забываться и скоро начал даже плохо понимать горящей головой, что это за радость у меня и куда это я иду сейчас.

Н. Киселев

ВИДЕНИЕ

(Странная история)

На днях я получил неожиданное извещение, что мой дядя окончил жизнь самоубийством. Не видав его с лет самого младенчества своего и помня его, как человека всегда спокойного и уравновешенного, я очень удивился и в тот же день выехал к нему в имение.

После похорон, оставшись один в его библиотеке и перебирая книги, я в одной из них нашел несколько исписанных листков, которые многое мне объяснили. Чернила на первом листке были стары и даже немного выцвели, на остальных же — совсем свежи и местами смазались, как будто бы их тут же накрыли книгой. На странице книги сохранились ясные отпечатки от них. Кое-где концы листов кем-то были оторваны и здесь читались лишь отрывки фраз.

Листок первый

Жалкие и гнусные люди! Натворили себе богов и божков и подставили им свои трусливые спины. Все трепещет внутри меня от злорадного хохота над вами. Так и нужно вам, рабы! И еще раз я кидаю вам в лицо: так и нужно вам, рабы!

Да, да. Это так. В какое именно время научился я давать людям должное, я сейчас не помню. Но было это, должно быть, очень рано. Так, я прекрасно помню, что уже в гимназии никто лучше меня не умел подчинять товарищей своей воле. Был я слаб, худ и бледен, не умел ни быстро бегать, ни увлекательно играть, но во все время пребывания моего в школе все подчинялось мне. С неутомимой настойчивостью, шаг за шагом, крупинка за крупинкой, я изучал характеры каждого товарища и слабые его стороны, и я, еще маленький, круглоголовый, почти несмысливший мальчишка, помыкал при помощи то лести, то хитрости, то притворства, целыми сорока с лишним бараньими головами. И все считали меня прекрасным товарищем, в то время как я давился от беззвучного хохота над ними.

И теперь вот так же одинок я и не нуждаюсь ни в ком. Никого-никого нет около меня. Никого-никого — одинок я. Холодные, ясные волны плещут около той недоступной скалы, на которой стою я — это волны моих отчетливых желаний. Молнией пронизывают здесь воздух орлы — это мощные мысли мои. И трепещу я весь беспредельной радостью среди этого холодного, трезвого простора, какого бы не вынес никто-никто.

Листок второй

...ая тоска объяла сердце мое. Сердце, бедное сердце! Слезы и кровь сочатся из ран твоих. Череп сдавлен, как сталью, цепенеет обессилевший мозг. Ах, сердце, окровавленное сердце!

Но как же, почему же все случилось, почему я, гордый, одинокий, никого не любящий и ни в ком не нуждающийся, так страшно вдруг, так страшно ранен беспредельной тоской!

Десять лет тому назад написал я свой первый листок, и мог ли я подумать тогда, что когда-либо все сердце мое обольется кровью?

Да, да. Это так. Я понимаю, отчего так несчастен я. Я несчастен именно оттого, что так ценил в себе, чем дорожил, как самым прекрасным в жизни моей. Я несчастен оттого, что безумно одинок я, горд и не люблю никого. Десять лет прошло с того времени, как написал я первый листок свой, уже поседел я за эти десять лет и вот дряхлеющей, почти старческой рукой хватаюсь и тянусь весь к любви и состраданию. Ах, пожалейте меня, пожалейте!

Но не смею сказать я этого никому вслух, не смею. Я пью и пью — и днем, и ночью, лишь проснусь. Я корчуясь в муках и не знаю, чем кончится все это.

Листок третий

Вот уже несколько ночей подряд она является ко мне — и это прекрасно. И сегодня я сижу у окна и жду ее. Уже сумерки. Медленно, печально мертвят поля. Вот лиловый отблеск в последний раз пропрепетал на далеком облачке и погас, как последний прощальный взгляд того, кто страстно любил землю и уходит от нее навсегда.

Пепельные сумерки плотным саваном окутали землю, и заплакали осины. Бледно-синий месяц вышел из-за облаков и, словно слепой, тихо, осторожно шел по небу. Остановился зловещим кругом. Прямой и спокойный луч пронизал тьму. Таинственный, прилетел он из неведомого мира, протянувшись через холодные межпланетные пространства. Чуть заметно замерзло на полу моей комнаты ясное пятно.

И вот привычным движением дрогнуло-отозвалось сердце. Тише, близок миг! Приходи же, приходи скорее! Я жду тебя! Оранжевые тени мелькают в луче, и тонкие пурпуровые нити тянутся от них в бесконечность. Близко-близко! Колотится и стонет в груди сердце...

Тонко плачет где-то певучая струна, и вот струятся передо мною серебром складки длинной одежды.

— Здравствуй! — поет все внутри меня и спрашивает ее без слов. — Отчего же так долго? Что задержало тебя там, около звезд?

Чуть колыхаясь в лунном луче, не касаясь ногами иола, молчит она, бледная, мраморная, с закрытыми глазами. И опять говорит ей мое сердце, трепеща от неразгаданной тайны:

— И почему же ты никогда-никогда не открываешь глаз? Или ты слепая?

И я вижу, как на белых, мраморных губах ее мелькает улыбка, словно блуждающий огонек. И без слов говорит она сердцу моему:

— Близок миг упоения. Приди, желанный, я жду тебя! Приди, и ты узнаешь все. Приди, приди!

Я бросился на колени, протянул руки, ловил край одежды. Но брякнула уже и зазвенела медью певучая струна. Прощай, прощай пока! Но я узнаю завтра — о, радость, радость!

Листок четвертый

Я сижу в комнате у Леонида и разговариваю с ним.

— Смешные люди, — говорит Леонид. — Выдумывают богов и падают перед ними. Какие жалкие!

Я слушаю и мне весело, что он говорит почти те же слова, какие когда-то произносил и я.

— Все есть земля, — говорит опять Леонид. — Все из упругой, жирной земли, из тучной и теплой. Нет ничего, кроме нее.

Я слушаю и мне опять смешно. И я когда-то думал точно так же. А что сказал бы он, если бы хоть одну ночь пробыл на моем месте? Сказал ли бы он тогда, что все есть одна жирная, теплая земля?

* * *

Словно красный кошмар, тянулся этот день, нестерпимо сверкающий и палящий. Я ходил по полям и дорогам в полусне, в полузабытьи, пока не настали сумерки.

Листок пятый

Дрогнув, зазвенел серебристый стон певучей струны. Колеблется и струится ясное пятно на полу, колеблется и струится над ним белая ткань, переливается как легкий сон.

— Я хочу видеть твои глаза, — с мольбой и страстью говорит ей без слов мое сердце, — я хочу знать, кто ты, и хочу понять, почему так пламенно я жду тебя.

И в ожидании смотрю я на губы ее, но немы белые губы, и тихо поникает голова ее. И говорит ей в обиде сердце мое:

— Ты не хочешь? Так я, человек, скажу жестко о тебе: ты мой бред, и я не хочу более видеть тебя.

И опять я жду, а за окном трепещут осины, и вздыхает тихо ночь. И вместе с этим вздохом таинственным шелестом вливаются в окно вещие слова:

— Смотри! Вот совершится неизбежное.

Сердце останавливается во мне, и вместе с ним останавливается словно и само время. И вот вздрогнули длинные ресницы, и медленно открываются белые глаза. И в них, словно в бездонной пропасти, стоит неисчислимое множество гробов. Под сенью могил лежат серые оскаленные черепа, изъеденные червями кости, и всюду тлен и прах.

В ужасе застываю я надолго и потом кричу с отчаянием:

— Так вот ты кто! Ты смерть моя! Но ведь ты отвратительна!

И тут я слышу, как легкий шепот вновь вливается в окно. Он шелестит:

— Посмотри теперь, она прекрасна!

И во второй раз поднимаю я глаза свои. Вся бледная и дивная, вновь тихо качается она с закрытыми глазами в серебре лунных лучей, и жгуче влечет меня к себе, немая. И кричит ей вновь мое сердце без слов:

— Стремлюсь к тебе! Иду к тебе! Ты отвратительна, но ты и прекрасна. А что мне делать в жизни, гордому, одиночному и ненавидящему всех?

— Придешь? — вздыхает ночь.

— Приду! приду! — кричу я дико и бросаюсь к прекрасной с распластанными руками. Но звякнула уже и зазвенела медью сторожкая струна, и в окно уже алел рассвет.

Листок шестой и последний

Иду к тебе! Близок миг блаженства. Какая радость и восторг! Пора, пора. Вот я влагаю в рот блещущее дуло револьвера...

Н. Киселев

РЕКЛАМА

I

В будущем

Земля вертелась, вертелась да и довертелась: настало время, когда положительно сделалось не на чем рекламироваться. Рекламой заняты были все стены и крыши домов, все воды и облака, все заборы и мусорные кучи. Ради нее палили из пушек, гремели в литавры, кричали, плевались и сквернословили — черт в ступе, сапоги всмятку!..

И вот в такие минуты среди аппаратов и телефонных трубок сидел за письменным столом старший представитель грандиозного треста по склеиванию разбитой посуды, г-н Друкс.

— Войдите! — вдруг сказал г-н Друкс в пространство, хотя стука в дверь слышно не было.

Человек, сухой и вертлявый до того, что невозможно было рассмотреть его лица, согнувшись в дугу, скользнул к столу. Он сказал:

— Не беспокойтесь объяснять, г-н Друкс, и молчите, как молчали. И без ваших слов я знаю, что вы уже целую неделю утруждаете вашу благородную голову, где изобрести mestечки для рекламы о вашем тресте. Я нашел!

— Это невозможно! — ответил г-н Друкс и досадливо покачал головой.

— Вполне возможно, — перебил вертлявый человек. — И, главное, оно сопряжено с новым видом рекламы.

— Это еще невозможнее, — опять сказал г-н Друкс и еще досадливее качнул головой.

— Клянусь девизом: «Лови момент!» — с жаром вскричал худой человек (в то время давно уже перестали говорить «клянусь честью», ибо слово «честь» стало пустым и почти всюду заменилось словом «лесть»).

Худой человек взял со стола г-на Друкса апельсин и ножичек, вмиг разделил на две части апельсин и, подавая его г-ну Друксу, сказал:

— Вот.

— Но я не догадываюсь, — самым вежливым тоном и с сожалением ответил г-н Друкс.

— Ах, так! — с таким же сожалением и вежливостью сказал худой человек. — Представьте себе земной шар. Р-раз! — и вот вам две половины. Силы наших подземных мин, изготавляемых фабрикой Крукса, совершенно для этого достаточно.

— Но я все еще не догадываюсь, — вновь сказал г-н Друкс с еще большим сожалением и откинулся на спинку кресла.

— Ах, так! — сказал худой человек и тоже с еще большим сожалением. — Но тут очень просто. Лишь только из земного шара получится пара половинок, как потоки вашей чудодейственной пасты для склеивания разбитой посуды потекут в щель и вновь склеят половинки совершеннонейшим образом. И это будет неслыханным торжеством вашего треста.

Г-н Друкс встал в большом волнении. Благородно коммерческие глаза его горели благодарностью и торжеством. Он молча вынул чековую книжку, написал в ней цифру в четыре миллиарда долларов и молча подал худому господину. Тот молча поклонился и, сказавши: «Время — деньги», вышел.

На другой день было приступлено к работам.

II

В настоящем

— Ну-с, теперь приступим к составлению публикации, — сказал Федя Шипульский сидевшему напротив Мише Черемушанскому и взял в руки карандаш. — Вверху, конечно, крупными буквами напечатано будет название вашего издания: «Слоновый хрящик». Затем дальше пойдет, так сказать, характеристика: «национально-художественно-литературно-сатирический журнал».

— Словно бы маловато.

— Ну, еще воткнем: «политико».

— Неудобно, уж есть «национально».

— Друг мой, не смотри на качество. Умный все равно не купит, а дурак все равно не поймет. Ну-с, дальше: «журнал печатается на дивной веленевой бумаге».

— Гм!. Так-то, так, только вот оберточная-то мало похожа на веленевую.

— Наплевать, нам не год издавать: выпустим номерка четыре, да и пошабашим. Ну, а дальше, разумеется, насчет приложений: мы не так, как иные издатели, старающиеся заманить публику приложениями и в то же время дающие ей по книжечке к номеру. Мы выдадим сразу все книги приложений, да и не какого-нибудь там мизера наших измельчавших времен, а гениальнейшего романиста Прокрустова. Ведь у тебя где-то валялся он?

— Валялся-то валялся, да, кажется, только первый, четвертый да шестой том, да еще часть восьмого.

— Ну, четырем подписчикам и всучим. Ну-с, дальше — цена. Вот и все. Так я сейчас в контору газеты.

Федя направился в переднюю, но вернулся.

— Тьфу, совсем позабыл было, что Прокрустов-то в изящных, тисненых золотом переплетах.

— Ну, уж это как-то, — сконфузился Миша. — Обложки-то мыши изъели.

— Ничего. Дураков стричь сам Бог велел.

Федя приписал, опять вышел, но снова вернулся.

— Да. Вот еще, кстати: все подписчики нашего журнала получат в премию мозолин. В наше бойкое время он всем нужен. Прощай пока, мой ангел.

Федя щелкнул каблуками и выпорхнул с легкостью и очаровательностью балерины.

К.

КАК Я БЫЛ ЛИЛИПУТОМ

Как хорошо!.. Как легко!.. Как хочется простора...

— Какого, в самом деле, черта валяюсь я на этом паршивом столе, весь уставленный тарелками, пустыми бутылками, опрокинутыми бокалами?..

Я делаю небольшое усилие и вдруг... я соскальзываю со стола и лечу вниз... Лечу со страшной быстротой куда-то, глубоко-глубоко, без конца, и сам я такой легонький, такой маленький, как песчинка.

Сколько времени продолжался мой полет, — я не знаю.

У меня сперло дыхание... В висках сильно стучало.

Наконец, я упал. Упал в груду какой-то мягкой материи... Мне стоило громадных усилий выбраться из ее складок. Но вот я кое-как просунул свою голову на воздух и... О, я никогда в жизни не забуду этого страшного мгновения!.. Я вмиг почувствовал, что я превратился в какую-то маленькую, ничтожную мошку, запутавшуюся в морщинке разостланного на полу ковра, показавшегося мне таким необъятно-большим. Каким образом совершилось со мной такое странное превращение, я не понимал, но мне было ясно, что нет в природе лилипута, который не оказался бы в сравнении со мной великаном.

Я добрел кое-как до угла, где стояла тросточка, принадлежавшая, вероятно, одному из здешних лоботрясов. Эта палка помогла мне измерить себя... Увы! — она торчала предо мной, как Эйфелева башня. Один ее металлический наконечник был раз в десять больше меня...

По правде говоря, это меня огорчило... Ну, положим, все человечество, все люди — не больше, как муравьи, облепившие со всех сторон земную кору... Но почему же среди этих муравьев я должен быть на положении какой-то наимизернейшей твари, на которую свысока может смотреть всякая мерзость?..

Все окружающие предметы приняли в моих глазах совершенно новый вид. Самые обыкновенные вещи превратились в гигантов.

Единственное преимущество, какое было у меня в моем новом положении, это — то, что и мог свободно проникать всюду, куда мне только было угодно.

Я присел отдохнуть в тени фарфоровой чашки, стоявшей на полу, и отсюда я созерцал массу пар огромных человеческих ног, передвигавшихся во всех направлениях. Это было очень забавное зрелище: человеческие оконечности, одетые в брюки, разевавшиеся во все стороны, с треском одна за другой упадали на землю, производя страшный шум.

Я вышел из-под чашки погулять, стараясь пробраться к столу. И этот рискованный шаг едва не стоил мне жизни. Из угла комнаты прямо на меня надвигалась пара чудовищных размеров человеческих ног. Я бросился бежать, но страшные ноги продолжали меня преследовать. Я не знал, куда мне броситься. Уже тень огромного сапога покрывала меня. Я засуетился и упал. В это время толстая масса кожи покрыла меня... Гибель моя была неизбежна, но спас меня простой случай: я попал как раз между подошвой и каблуком сапога, и благодаря этому — ну и повезло же мне! — остался цел и невредим. Но едва только миновала одна опасность, на меня надвигалась новая.

Добравшись до стола, я стал карабкаться вверх по его ножке. Как взобрался я на эту высоту — я не помню, но когда я очутился на доске стола и взглянул вниз, у меня закружилась голова. Несколько минут яостоял в каком-то оцепенении. Вдруг я заметил на краю стола какой-то необычайной формы предмет. Наконец, я разобрал, что это такое: это была шляпа-котелок, лежавшая дном вниз. Упираясь ногами в поры шероховатой материи, которых я раньше никогда не замечал, но которые теперь мне казались целыми сугробами, я с огромными усилиями добрался до полей шляпы. Я взглянул вниз, в дно котелка... Подо мной зияла огромная серая пропасть, глядевшая на меня, как отверстие вулкана....Не помня себе от страха, я бросился изо всех сил бежать по полям шляпы, спустился ней вниз и был безгранично счастлив, когда снова очутился на более или менее твердой почве — столе.

Но неприятности продолжали меня преследовать.

Занинтересовавшись грандиозным сооружением из чистого стекла, возвышавшимся на столе и оказавшимся бокалом, из которого пьют шампанское, я взобрался на самый

верх его, с трудом удерживаясь на скользкой поверхности его ободка. Вдруг где-то открылась дверь, дунул ветерок и я, к ужасу своему, полетел кубарем вниз. Проклятие! — бокал был наполнен водой. Я стал тонуть... И, наверное, погиб бы, если бы мне не пришла в голову блестящая идея: я решил выпить воду, наполнившую бокал. По мере того, как я пропускал в себя глоток за глотком, вода в бокале все убывала и убывала, а мое раздувшееся тело поднималось все выше и выше к поверхности.



Словом, когда я выбрался из этого проклятого бокала, я походил на мокрую курицу.

Нужно было пообсохнуть и я решил избрать для этого наиболее спокойное место. Я остановился на клавиатуре рояля. Но неудачи продолжали меня преследовать. Вдруг появились какие-то громадные, как бревна, пальцы и со страшным треском начали рубить по клавишам... Я бросился стремглав по клавиатуре... но пальцы гнались за мной... Каждую секунду я рисковал быть раздавленным в порошок, и если мне удалось избежать такого конца, то я объясняю это только каким-то особенным счастьем.

Вскоре я устал и почувствовал голод.

Откуда-то доносился аппетитный запах жареного.
Я пробрался к окну и увидел вывеску ресторана.

Я спустился по водосточной трубе вниз и прошел в открытое окно ресторана. За отдельным столиком у окна сидел какой-то господин и с большим, видно, аппетитом, с полузажмуренными от удовольствия глазами уплетал какуюто жижицу. Я пробрался к нему на тарелку, рассчитывая чем-нибудь поживиться. Вдруг я поскользнулся и упал в густую зыбкую трясину, покрывавшую дно тарелки. Я не успел еще опомниться, как огромная ложка вдруг очутилась подо мной. Момент — и я вытащен уже из тарелки и лечу прямо в огромную пасть человека... Меня охватил ужас...



— Что же? все кончено? — подумал я... — Какой ужасный конец!.. какая страшная гибель!..

— Караул! — закричал я, почувствовав вдруг необыкновенный прилив сил.

— Караул, спасите меня! — вопил я.

Что такое? жена?.. Откуда она здесь?.. Моя спальня?..

Да что это такое?

— Ваничка, милый, да что с тобой? — говорит она мне...

— Что случилось?.. Что за крик среди ночи?.. Тебе приснилось что-нибудь?.. страшное?.. пригрезилось?..

Я лежал, обливаясь холодным потом.

— Вставай, дружок! пора вставать, — продолжала она все тем же спокойным и ласковым тоном.

— А какой сегодня день? — набрался я, наконец, сил спросить у нее.

— Чистый понедельник...

— А!...чистый понедельник...

После этого все произшедшее стало для меня понятым.

Борис Никонов

СТРАШНАЯ КНИГА

Под Новый год у Лялиных была елка. Мы, взрослые, достаточно потешив ребят и повозившись с ними, стали потом тешиться сами. Когда пробило девять часов, и дети, получив подарки, отправились кто спать, кто по домам, мы — пожилые люди и взрослая молодежь — уселись тесным кружком в гостиной и, чтобы скоротать время до полуночи, стали по очереди рассказывать страшные истории.

— Вот со мной в жизни был один раз воистину святочный случай: и страшный и фантастический, — произнес адвокат Голыбин. — Такое удивительное совпадение случилось, что даже как-то не хочется объяснять его просто случайностью. Вы, я думаю, слыхали о разных странных психических явлениях: вещих снах, телепатии, двойном «я» и т. п. Ну, так со мной случилось что-то вроде этого.

Голыбин с минуту помолчал.

— Надо вам сказать, — начал он свой рассказ, — что я вырос и жил неразлучно с моей сестрой, Верой Николаевной. Но в описываемое время она вышла замуж за горного инженера Алтуховского и уехала с ним на один из уральских заводов. А я остался у себя, на юге, где я служил тогда судебным следователем.

Мне было невыразимо тоскливо без сестры, и, понятно, я страшно обрадовался, когда через год получил возможность съездить повидаться с ней. Я выбрал для этого святочное время и рассчитывал попасть к Алтуховским под самый новый год. Так выходило по железнодорожному расписанию. Но затруднение было в том, что от железнодорожной станции нужно было еще ехать верст пятьдесят на лошадях. И вот это-то обстоятельство спутало все мои расчеты.

Я благополучно добрался до этой станции и высадился на ней 31-го декабря, часа в три или четыре вечера. Было сравнительно еще рано, и если бы попались хорошие лошади, то я поспел бы на завод к 10-11 часам.

Но на мое горе, разыгралась ужасная метель. Когда я вышел из вагона, ветер буквально рвал и метал. В воздухе была какая-то живая белая мгла, ослеплявшая, не дававшая дышать. Даже перрон на станции был весь занесен сне-

гом, так что я увяз почти по колени в снегу, выйдя из вагона.

Ехать на лошадях в такую погоду было невозможно!

— Нельзя ли у вас приютиться тут где-нибудь? — спросил я начальника станции, не видя, где бы приткнуться: станция, по-видимому, недавно сгорела; вместо обычных зданий уныло торчали какие-то развалины, а станционные службы помещались в деревянных бараках.

— Вам переночевать? — спросил он. — Есть у нас помещение, да вам, пожалуй, не понравится.

Он закутался в доху и повел меня по двору. Я еле-еле двигался по огромным сугробам, почти ничего не видя у себя под носом от свистевшей снежной мглы. Наконец, мы остановились у низкого одноэтажного деревянного строения, совершенно черного от сырости и ветхости.

— Вот, тут у нас иногда почуают проезжающие! — промолвил мой проводник, с трудом отдирая занесенную снегом дверь. — Здесь прежде была станционная квартира, когда еще железной дороги не существовало.

Мы вошли в какую-то душную тьму.

— Только уж очень здесь неважно! — продолжал начальник станции, ощупывая в темноте другую дверь. — Совсем скверно, не знаю, право, как и быть? Если уж вам тут очень противно покажется, то можно, пожалуй, к батюшке, а то к становому. Становой — тот даже с великим удовольствием пустит... потому что вы — следователь!

— Ну, зачем же беспокоить их? — возразил я. — Чем здесь плохо? Всего только одну ночь переночевать!

— Как угодно!

Дверь, наконец, была найдена, и мы вошли в комнату. Меня охватил неприятный, спертый и прокислый запах.

Разбуженный нами сторож зажег лампу, затопил печь и поставил самовар.

Начальник станции ушел, а я остался с Василием (так звали сторожа) один на один в мрачной и, надо сказать правду, действительно противной комнате.

Комната была просторная и обставлена с претензиями на удобство, но от нее веяло какой-то непередаваемой гиб-

лостью, какою-то мертвениной и нежитью.

Стены были оклеены потемневшими, рваными и засиженными мухами обоями. Меблировка состояла из темного дивана с ситцевой обивкой, таких же стульев и двух-трех столиков в углах комнаты. Все это было грязное, загаженное, пропитанное наслоениями многолетних следов, которые оставляют за собой нечистоплотные люди. Эта комната была как бы щель, в которой скопилась и осталась невычищенная мерзость старых дореформенных годов, когда здесь, в станционной квартире, проезжающие били по щекам смотрителей, а на окрестных дорогах грабили и убивали проезжающих.

Перед диваном стоял круглый стол из числа тех, которые обыкновенно употребляются спиритами при вызывании духов. На этом спиритическом столе Василий изготовил мне чаепитие, и я потом за этим чаепитием часа два старателльно убивал время.

Василий затем постлал мне на диване постель и, повозившись в передней и подкинув в печь дров, ушел.

Это был неразговорчивый и сумрачный мужик и со своей стороны нагнал на меня неприятное чувство, так что я даже был рад, когда он ушел. Но едва я остался в одиночестве, на меня напала такая тоска, что я, как говорится, места себе не мог найти.

Спать не хотелось, делать было нечего, а наружу выходить я тоже не испытывал желания: уж очень свирепствовала выюга. Она завывала на все голоса, хлопала какими-то воротами, кидала в промерзлые окна целые комки снега.

«Недурно встречу я Новый год! — с досадой подумал я. — Ведь этакая, в самом деле, обида!»

Я стал думать о сестре, но думы эти были нерадостные. Меня почему-то стали все более и более преследовать страшные, зловещие мысли о ней.

Бог весть почему, но мне стало думаться, что с ней должно стрястись какое-то несчастье. Мне стало казаться, что я уже не увижу ее в живых, что меня постигнет один из тех злых капризов судьбы, которые вдруг разражаются над лю-

дьми в такую минуту, когда все уже пошло на лад, когда близко свидание, близко исполнение надежды. Мне стало казаться, что сквозь снежный ураган, сквозь дикую бурю ко мне доносится тайный зов близкого человека, с которым творится что-то неладное... Этот зов, неощущимый для моего слуха, достигал до каких-то неведомых фибр моего существа, и я, хотя и смутно и неумело, но все же реагировал на него этими фибрами.

Я пытался всякими способами заглушить свою тоску. На одном из угольных столиков лежали две-три засаленных, старых книги. Я стал рассматривать их, и первая же из них сразу приковала мое внимание, и, перелистывая ее, я испытывал странное, поразившее меня ощущение.

Нужно вам сказать, что в детстве я одно время очень боялся иллюстраций. Объяснялось это тем, что я когда-то в каком-то журнале увидел какие-то страшные, поразившие мое воображение картинки.

Вследствие этого у меня даже сложилось странное и курьезное представление о какой-то мистической «страшной книге», которая заключала в себе как бы квинтэссенцию фантастических ужасов; книга эта существовала где-то в пространстве и, как мне представлялось, носилась за пределами земли.

Она часто являлась мне во сне, и сны эти так были ужасны и так живы, что я до сих пор помню их. Обыкновенно я сначала не догадывался, что предо мною именно *та самая «страшная книга»*, и принимался во сне доверчиво перелистывать ее. Это был, как мне казалось, ветхий, истрепанный том со старинными, плохо выполнеными рисунками. Сперва шли рисунки простые и нестрашные; но чем далее я перелистывал книгу, тем ужаснее и фантастичнее становились они.

На них были изображены какие-то подземелья, развалины, темные коридоры, старинные замки. В качестве действующих лиц на этих рисунках фигурировали какие-то странные длинные люди с факелами. Потом шли сцены каких-то убийств, злодеяний, смертей. Длинные люди с искаченными длинными лицами в неестественных деревян-

ных позах кого-то душили и резали. Такие же люди лезли в какие-то высокие сводчатые окна. В темном углу неподвижно стояли призраки в виде таких же длинных тонких людей... И самое страшное во всем этом было то, что все это была *правда*. Ужас, который вселяли в меня эти картинки, шел *crescendo*; и вот мало-помалу я начинал догадываться и подозревать, и, наконец, вдруг, словно при вспышке молнии, убеждался, что предо мною — она — таинственная и неведомая «страшная книга»!

Это открытие наполняло меня таким ужасом, что я кричал и просыпался в холодном поту. Но каждый раз, когда я видел во сне «страшную книгу», у меня было такое убеждение, что самого-то главного ужаса, таившегося в ней, я так и не успел увидеть...

Итак, вот, просматривая в станционной квартире старую засаленную книгу, я вдруг с необыкновенной отчетливостью вспомнил эти детские страхи. Истрапанный том какого-то не то журнала, не то альманаха сразу напомнил мне мое старинное жуткое представление о «страшной книге»; что это был за журнал, я не знаю. Я не обратил на это тогда внимания. Скорее всего, это был какой-то специальный трактат, какие-то *«Räubergereschichten»*. Уж очень забористые картинки там были, все какие-то разбойничьи нападения, подвалы, темные коридоры, люди с факелами — и все это допотопное, грубо выполненное.

Одним словом, это была форменная «страшная книга» моих детских сновидений. И я откровенно скажу вам, что мне стало жутко и неприятно, точно я какое-то привидение увидел; словно мне черт подсунул эту книгу, да при том еще в такой момент, когда меня угнетала тоска, а на дворе завывала выюга, и где-то в темном пространстве мира рождался таинственный новый год — это странное, загадочное существо, приносящее с собой надежды и ужас грядущего, жизнь несуществующим и смерть живущим.

И тоска моя, и тревога за сестру все разрастались и разрастались по мере того, как я перелистывал эти *«Räubergereschichten»*. Никакой внешней связи между страшными картинками и моей сестрой не было, но с каждой переверну-

тою странницей тайные фибры моего существа получали какой-то толчок, и я невольно переводил все это на язык моего сердца так: «С Верой плохо!.. С Верой несчастье!..»

И как я ни старался унять свои расходившиеся нервы, детский ужас все более и более охватывал меня, и, как в детстве, мне вдруг пришло в голову, что в «страшной книге» таится какое-то особенно ужасное место, — ее центральный пункт, и что я должен увидеть его.

И вот, слушайте, что случилось!

Мне попался на глаза рисунок, изображающий вторжение разбойников в дом. Разбойники ворвались в спальню, опрокинули стулья, выломали дверь. На полу у двери лежал труп женщины. Другая женщина с испуганным лицом приподнялась на кровати.

Рисунок был грубый, но лицо у этой женщины было изображено довольно явственными, характерными чертами. Оно сразу приковало мое внимание: я нашел в нем сходство с лицом Веры.

И чем более я смотрел на него, тем более замечал это сходство. Что это было такое? Случайное совпадение типических черт? Галлюцинация? Я не знаю. Благодаря моей нервной возбужденности я, может быть, впал в психический транс, и видимый мною предмет принял в моем мозгу другой вид, совпадавший с тем образом, с той руководящей, навязчивой идеей, которые овладели мною? Я читал где-то, что какие-то моряки, спасшись с разбитого корабля, долго бедствовали на пустынном острове и все ждали помощи. И вот, однажды, они увидели корабль. Они ясно видели его паруса, снасти, даже людей различали. Но на самом деле это был не корабль, а плывший по воде ствол дерева с сучьями и ветками. Не то же ли самое случилось и со мною?

Но в ту минуту я не отдавал себе отчета в том, что это такое. У меня мелькнула мысль, что с сестрой, положительно, случилось какое-то несчастье, и что нужно моментально, сию же минуту, ехать к ней, несмотря ни на что! Иначе же я не настану ее в живых!

Я посмотрел на часы.

Стрелка приближалась к двенадцати. Через несколько минут должен был родиться Новый год.

Я торопливо собрался, оделся и, чувствуя дрожь во всем теле и удары пульса в виске, вышел наружу.

На мое счастье метель, совершенно стихла. Снежинки не крутились в бешено схватке, но мирно летели, словно белые ночные бабочки, на свет моего фонаря. Метель словно испугалась рождающегося таинственного незнакомца и ретировалась перед ним, предчувствуя, может быть, что он создаст такую бурю и выигру во вселенной, что не здешним снежным выиграм тягаться с ним!

С огромным трудом удалось мне добыть лошадей. Никто не хотел ехать по плохой дороге, да еще под праздник. Я выходил из себя, банился, обещал награду, но ничто не помогало.

И когда я в полном отчаянии сидел у станового, в канцелярии, вдруг объявился мой спаситель.

Это был огромный коренастый мужичище с четырехугольной бородой и тупым, словно срезанным, затылком.

— Поедем, ваше высокородие! — рявкнул он густым басом. — Я повезу!

— Поедем! — обрадовался я. — Ты кто? Как тебя звать?

— Я — генерал! — ответил он, усмехаясь. — А когда я пьян, я — черт. И лошади у меня черти. Нам все можно! Сейчас я пьян и все могу совершить!

Ехать с пьяным, да еще к тому же как будто сумасшедшем, было более чем рискованно, но я махнул на это рукой.

— А лошади готовы? — спросил я «генерала».

— Лошади будут в секунду! Я свистну — и они прилетят... Идем, садись!

— Куда ты, дурак, едешь? — уговаривал его кто-то на улице. — Проезду ведь нету!

— Для генерала проезды завсегда есть! — басом отвечал он. — Я полечу там, где вам ходу нет!

Он свистнул, и к крыльцу подкатила тройка. Мальчишка слез с козел и передал вожжи «генералу».

— Отчаянный! Пожалуй, и впрямь проедет, горами: там снегу мало, — говорили кругом. — Только ведь и кувырнуться тоже возможно!

И мы поскакали.

Это была какая-то сумасшедшая езда. Лошади у «генерала» были, действительно, какой-то дьявольской породы. Несмотря на глубокий снег, они прордирались вперед с какой-то непостижимой отчаянностью. Потом мы выехали на пригород, где было жестко и гладко, и они понеслись стрелой. Меня подкидывало во все стороны, и я еле удерживался, чтобы не вывалиться. Иногда сани раскатывались в сторону и стремительно неслись под уклон, и мне казалось, что мы летим в пропасть. Но они врезывались в снежный сугроб и останавливались, а затем опять начиналось бешеное прордирание по снегу и отчаянная скачка. Одно время мы ехали по лесу, где было совсем мало снега, и тут скачка приняла уже совершенно фантастический характер: навстречу нам неслись высокие стволы и длинные ветки, звон колокольчика и крики ямщика гулко раздавались в пустынном безлюдье леса, и мне невольно вспоминалась фантастическая картина Штука «Die wilde Jagd».

«Генерал» все время орал на всякие лады, кричал, что он черт, и ему никакие законы не писаны, что он ничего не боится. Он, действительно, гнал по каким-то совсем несуразным местам, где на каждом шагу было можно сломать шею. Но меня это не беспокоило никакого. Нужно сказать, что, вообще, едва я выехал со станции, как всю мою тоску, все тревоги как рукой сняло. Я даже не боялся опоздать.

Стало светать, когда мы благополучно подъехали к заводу: «генерал» дал разных лошадям, и они легкой рысцой спускались под гору в котловину, где раскинулось селение. Сам он тоже попритих и, по-видимому, прозрелся.

— По дороге полсотни верст будет, — промолвил он, обращаясь ко мне уже обычным голосом, — а я прямо по горам дую, и всего тридцать получается. Вперед ладно — все под гору приходится, а уж назад так не поскочишь. Другие боятся, а я нет! Когда я пьян, я все могу!

Дом, в котором жили Алтуховские, стоял у лесной опушки в полуверсте от селения. Мы подлетели лихо к воротам, «генерал» соскочил с козел и стал стучаться.

— Гости приехали! — орал он своим диким басом. — Следователь приехал! Отворяй!

Но никто не отзывался, и в доме было мертвое и безмолвно. Сердце у меня опять сжалось тоской.

— Так и есть! — подумал я. — Так и должно было быть!

— Эка, спят-то! — проворчал ямщик. — Отворяй!! Следователь судебный приехал!..

Если бы я в ту пору был в нормальном состоянии, меня нисколько бы не удивило, что мне так долго не отпирают, и я спокойно барабанил бы целый час в ворота, ибо всякий знает, как трудно иной раз пробраться на заре в жилое помещение. Но в этот раз я был взволнован, я был убежден, что в доме Алтуховских неладно, и поэтому, не думая долго, велел ямщику ехать в полицию.

Тот удивился, но поехал.

Через какие-нибудь двадцать минут мы снова подъехали к дому уже в сопровождении сельской стражи и станового; последний сообщил дорогой мне, что сам Алтуховский накануне выехал экстренно в соседний завод к своему больному брату и что моя сестра осталась на ночь одна.

«Так и есть! так и есть!» — думал я, и сердце у меня так и билось.

Когда мы подъехали к дому, то ворота оказались отворенными настежь, но никто нас не встретил, не вышел к нам из дома, и сенях, куда мы пошли через опять-таки отпертую дверь, лежала на полу какая-то девушка, не то убитая, не то в обмороке.

Становой ахал и ужасался, а я молча бежал по темным, еле освещенным зимней зарей комнатам довольно обширного дома. Наконец предо мной какая-то маленькая комната с кроватью, а на кровати неподвижно лежит женщина.

— Боже мой! Вера!.. — закричал я.

Нет, это была, как потом оказалось, нянька. Ее тоже не то придушили, не то ошаршили. А сестра была рядом в соседней комнате.

Она спала там с ребенком и была совершенно жива и здорова. Она даже ничего не знала, что делается в доме, и была крайне поражена, увидев меня в самом растерзанном и смятленном виде.

А между тем, она была на волосок от смерти. Громулы пробирались именно в спальню, так как знали, что деньги и ценные вещи Алтуховские держали у себя в спальне. Но мой внезапный приезд и вопли ямщика: «Следователь приехал!» — перепугали их, и когда мы поехали за полицией, они удрали. Впрочем, потом их всех отыскали.

Грабители, как потом они сами признались, всего больше были поражены тем, что приехал не кто другой, а именно следователь! Их поразила фантастичность моего прибытия: как будто сама Немезида вдруг восстала пред ними, как святочное привидение, и накрыла их на месте преступления!

— Ну, так вот, вы и объясните все это, — заключил свой рассказ Голыбин, — случайность это или что-нибудь иное?

— А что же это была за книга? — спросили мы. — Видели вы ее потом?

— В том-то и дело, что нет. На обратном пути я нарочно зашел на станционную квартиру, чтобы еще раз поглядеть на «страшную книгу», но ее там уже не оказалось. Василий сказал, что она приглянулась кому-то проезжающему, и он купил ее за двугривенный. И пожалел же я тогда, что сам не купил ее!

— Господа! С Новым годом! — произнесла в этот момент т-tte Лялина, входя в гостиную.

Мы поднялись, стали поздравлять друг друга, пить шампанское, и «страшные истории» кончились! Началась обыкновенная праздничная история.

Александр Измайлов

КНИГА СЕМИ ПЕЧАТЕЙ

Илл. С. Животовского



I

Это говорил старый, в приказах поседелый, судейский чиновник.

— Преступная душа, господа, сложная и загадочная вещь. В ней — спутанные цепи переживаний, о которых обыкновенные смертные едва догадываются. Преступник иногда — артист, со всем увлечением таланта, фантазерством и восторгами достижения.

Я видел поэтов крови, чувствовавших прелесть убийства, как искусства для искусства. В их преступлении было их тщеславие. Ужас и изумление толпы отравляли их, как певицу отравляет треск аплодисментов. Летом, отдыхая под небом Сорренто, она сидит и нервничает. Ей кажется, что ее забыли, и она никому не нужна...

Когда был убит черниговский Ринальдо Ринальдини, знаменитый Савицкий, наводивший со своей шайкой ужас на целый край, его карманы оказались набитыми газетными вырезками. Он читал и перечитывал статьи и заметки о себе, как перечитывает актер старые рецензии.

II

Есть виды преступного сладострастия, до сих пор еще не выслеженные докторами и не обозначенные латинским названием. Есть неотразимое наслаждение жить среди людей, пользоваться уважением всех и знать, что, если бы открылись их глаза, вы пошли бы завтра на галеры. Это — хождение по краю бездны, это — чувство циркового акробата, ходящего под потолком. У всех заиграет дух, и у него больше всех.

Раскольников у Достоевского идет на то место, где он пролил кровь. Я утверждаю, господа, что этого не делает только один из десятка. Большинство влечется к этому непреодолимо. Снимите на месте убийства всех зевак первых дней, — один из этих снимков будет принадлежать убийце.

В доброй половине случаев он стоит здесь, когда мы пишем протоколы и фельдшер потрошит мертвые внутренности. Если в это время кто-нибудь особенно негодует и поминает заветы Христа, — заметьте его. Может быть, убил именно он. И с того дня, когда он убил, он уже не человек, а актер. Он не живет, а притворяется. Он играет роль невинного и наблюдает за впечатлением. Иногда он трепещет, чаще он аплодирует своему искусству.

III

В одной немецкой деревне крестьянин Тим Тоде зверски убил отца, мать, сестру, четырех братьев и служанку.

На все это ему понадобилось три часа. Он обдумал преступление до мельчайших подробностей и совершил его с невероятным хладнокровием. Он хотел стать единственным наследником и стал им. Обшарив карманы убитых, он, окровавленный, прибежал к соседу и поднял тревогу. Он кричал, что на его дом напали разбойники и что, наверное, там все уже перерезаны.

Никому не могло прийти в голову, что девятнадцатилетний мальчишка мог убить пятерых взрослых мужчин. Тем более, он был так снят несчастием! Над могилой дорогих родных Тоде устроил прекрасный памятник и вырезал надпись:

«О, таинственная смерть! Ты приходишь внезапно и требуешь человека на суд. Будь всегда готов, человек, предстать перед Сладчайшего Иисуса!..»

На другой стороне памятника было написано:

«Усыпальница семейства Тоде, злодейски умерщвленного рукой убийцы, в ночь на такое-то число», — и оставлено свободное место, чтобы вписать имя убийцы!..

В тихие летние сумерки, когда за лесом печально догодал край неба, патриархальные селяне видели бедного, одинокого Тима на одиноком кладбище. Он разметал песок и поливал цветы на родных могилах.

Шел из старой кирки старый пастор. Тим благословлялся у него и провожал его до дома, и они говорили о селениях блаженных, о незахолящем солнце праведных и кротком Иисусе...

И все говорили: «Бедный Тим Тоде! Такая мягкая, любящая душа! Нужно же было судьбе избрать именно его для такого испытания...»

Это, господа, присказка. Герой моей русской сказки будет, пожалуй, помудренее Тоде.

IV

— Я только что выскоцил в судебные следователи в про-

винциальный город, когда меня вызвали по делу о дерзком убийстве на самой окраине. Там стояла «Гостиница для приезжающих», — полутрактир, полувертеп, Маскотта местных полицейских. Здесь кутили приезжающие, сюда от центров уединялись обыватели, стыдившиеся открытого разврата. Каждый год здесь кого-нибудь увечили. Половина моих дел исходила отсюда.

Глухой ночью были убиты содержатель гостиницы, старый еврей, и его подросток сын, — убиты нагло, во время молитвы, в вечер шабаша, при зажженном семисвечнике, и мозг старого жида забрызгал листы разогнанной священной книги. Сын, очевидно, вбежал на крик и, очевидно, пал вторым.

Я был молод и не знал, как подступиться. Все, присоавшееся к гостинице и кормившееся от нее, вдруг разбежалось. Было невероятно трудно разобраться в этой куче нужной и ненужной лжи и запирательств. Все это кричало наперерыв, и всем было ясно при взгляде на мое безусое лицо, что я совершенно растерялся.

Одна трагикомическая подробность запомнилась мне за этот двухдневный допрос. Среди толпы суетился немолодой, черный, как жук, мужичонка с внимательными цыганскими глазами. Убийство занимало его, видимо, больше всех нас. Как рыжий клоун в цирке, он суетился под ногами, всюду совал нос, — в комнаты убитых, в наши бумаги, в инструменты фельдшера. Он был рад, как мальчишка рад покойнику, которого хоронят с музыкой. Он ахал, охал и косолапыми словами говорил, как беспощадно надо покарать негодяев.

У меня был опытный письмоводитель, умный пройдоха, пропивший свою жизнь.

— Я вам советую его арестовать, — посоветовал он мне.
— Он подозителен.

— Почему?
— Я вам не могу сказать, почему; но возможно, что убийца — он. Иногда берешь не рассудком, а инстинктом.

— Правосудие не руководствуется ощущениями, — сказал я. — Следствие знает только факты.

Мужичонку арестовали, но подозрение было нелепо. Он был чужой, с ближней улицы, пустой, нехозяйственный мужик, весь ясный, как день. Его выпустили через три-четыре дня. Я показал ему на письмоводителя и засмеялся:

— Моли Бога, что следователь я, а не он. Он бы тебя закатал!..

Он закивал головой, затряс гривой. Я посмотрел в его глаза. Они были разноцветные, — редкий случай аномалии, которую медицина именует анизокорией.

V

Убийству прошла, пожалуй, двадцатилетняя давность. Я устал, мне надоели разъезды. Я предпочел перебраться в другой город, быть там вторым, но пользоваться покоем. Так я прожил не один год.

В провинции сразу замечаешь новое лицо. И вот однажды, на прогулке, я заметил странную фигуру. Это был великолепный экземпляр живописного нищего, точно из романа Гюго или Диккенса. Стояла зима, но он шел по снегу босой, в рубище, точно подпрыгивая легкими маленькими ногами.

Не было шапки на голове, и ветер буйно взметал его защущенные длинные волосы, уже хваченные неровной сединой. Лицо заросло густым черным волосом, и на этом фоне горели экстатические больные цыганские глаза. С него можно было писать библейского пророка или юродивого, стоящего перед Грозным с куском сырого мяса.

Оказывалось, этот полунищий-полуюродивый поселился именно на моем дворе, у горбатого бочара, сдававшего углы. Но в своем углу он, собственно, не жил, и никакого имущества там не держал, ибо его не было. Была у него только большая ветхая Псалтирь, и каждый день с утра выходил он на площадь против моего дома, становился у реки коленями на снежную землю, закладывал камнями от ветра страницы книги и начинал над ней монотонное бор-



мотанье. Так стоял он от утра до вечера, то здесь на реке, под засохшей рябиной, то в узком соседнем переулке.

Он был похож на профессионала-нищего, но ни у кого он ничего не просил. Доброхоты бросали ему медь в разогнутую книгу, он принимал ее и ронял: «Спаси, Господи». Но говорили, будто эти гроши он раздает нищим.

Раз, проходя, я бросил ему двугривенный. В ушах свистел ветер, с неба падало что-то холодное и мокрое, — мне вдруг стал жалок этот старик, тело которого, вероятно, ломал жестокий ревматизм.

В свое окно я потом долго смотрел на маньяка. Никто не прошел после меня. Вот он встал, согнул книгу, положил ее под мышку, выждал нищую и сунул ей монету. Вот какое назначение он придумал для моей лепты!

VI

Русское странничество, это, господа, может быть, самое неразгаданное явление нашей жизни. Когда-нибудь придет

новый Достоевский и откроет эту таинственную книгу за семью печатями и зальет ее всю слезами.

Корни этой тайны в ужасах русской деревни с младенцами, разбитыми об печку, с замытаренными женщинами. Его ветви упираются в монастырь, в Сахалин, в каторгу, в искупительный град Иерусалим. Кто скажет, какая сила греха выгнала на большие дороги весь этот бродячий люд с котомками и посохом, и обрекла на вечный подвиг холода, голода, и оплевания? Кто сосчитает, скольких эта дорожка спасла от намыленной петли в холодном овине?

Может быть, много тут и доброго русского идеализма, но не удивитесь, господа, если бывший следователь хочет прочитать па лице каждого бродячего старца повесть о затерявшемся преступлении...

Наш городок сразу привык к босоногому нищему и принял его, как должное. Простонародье смотрело на него, как на юродивого и божьего человека. Каждый день я видел его па своем пути, и не раз ловил на себе его тяжелый, словно бы выжидающий взгляд. Мне иногда казалось, что он ждал меня в переулке, что он хочет заговорить со мной. Раз я спросил его, глядя на его босые, посиневшие ноги:

— Что, стариик, холодно?

Он подхватил, словно обрадовавшись:

— Под ногами лед, под сердцем угливо! Ух, горячо оказянному!

— А как тебя зовут, стариик?

— Мирон, да не мирен.

Он пошел за мной, неслышно ступая по талому снегу. Я слышал его дыхание, как дыхание загнанного коня.

— Не узнал меня, законный человек?

— Не узнал.

— Не врешь ли?

— А зачем бы мне врать?

— А я тебя помню. Хочу к тебе в гости приттить. Ты меня от Сибири спас. Мирона Клестова забыл?

Я стал расспрашивать. Он несвязно рассказывал, как бредячий, но я понял, что речь — о том, забытом случае на городской окраине! Это был тот мужичонка, арестованный

и отпущенний. Одно из первых трудных дел, та история об убитом жиде крепко засела в памяти. Я поднял глаза на странника, — на меня смотрели незабываемые разноцветные глаза.

Клестов дал мне вспомнить все это и вдруг понес чепуху. Замелькали какие-то библейские отрывки, разорванные клочья молитвенных слов. Было ли это искусство или действительный бред больного,— я не мог понять, как вдруг старик выпрямился, поднял руки к небу и, похожий на большую черную птицу, прокричал:

— Мужа убих в язву мне и юношу в струп мне! Если за Каина отмстится в семь раз, — за Ламеха — в семьдесят семь!..

VII

В тот вечер я рассказывал домашним про босоногого Мирона и убийство старого еврея. Странные слова о Каине сидели у меня в голове. Как-то совсем без труда я нашел их в первых главах Библии. Загадочны были для меня и там слова загадочного Ламеха. В устах Клестова они были понятнее.

— Этот божий человек — убийца, — сказал я. — В этом вы мне поверьте. Я — старый волк, и кое-что понимаю в людях.

— Тогда твое дело его уличить!

— Помилуйте! С той поры двадцать раз застывали реки. Старые дела в синих обертках давно съедены мышами. Сосланные успели умереть в Сибири...

— Ты клевещешь на святого, — обиделась жена. — Твоя профессия ужасна!..

Я больше не вступал в разговоры с Клестовым. Раз в переулке он снова кинул мне в след:

— Я к тебе приду! Пеки блины, законный человек!..

VIII

Другой раз мне сказали, что он, в самом деле, приходил ко мне в часы приема свидетелей. Но посидел на крыльце и ушел. Теперь мне странно, что мой интерес к нему был тогда так ничтожен.

Дальше он на время исчез с моего горизонта. Еще дальше мне сказали, что старый босомыга-нищий умер и, умирая, очень хотел меня видеть. И вставал с ложа своего, чтобы ко мне пойти, но уже не мог. Тогда наказал он отослать мне свою Псалтирь, и ее через несколько дней, подлинно, принес мне горбатый бочар.

Книга была ветхая, дряхлая, с рассыпавшимися пожелательными листами, закапанными воском. Лежала она и на сырой земле, и на тающем льде, и шел от нее нестерпимый запах прелого и сырого жилого угла. Я взглянул на нее и сбросил я угол старья. Оттуда ее взяла старая нянька на кухню, а от нее пошла она по всему двору: «Книга эта святая, и омыли ее слезы праведничьи».

Так и узнал я, господа, последним то, что должен был узнать первым. Кто-то из дворни сидел над Псалтирью и заметил, что некоторые начальные буквы псалмов обведены густым чернильным ободком на манер киноварных букв в Евангелии.

Было это не на каждой странице, и довольно естественно читавшему пришла мысль попытаться связать буквы, перелистывая книгу. Вышло складное слово, а за ним святая книга, как черным по белому, отпечатала:

— *Помяни, Господи, раба Твоего Мирона и зле убиенных им мужа и юношу.*

Тут уж оставалось только ахнуть и бежать с этой книгой ко мне...

IX

Пояснить тут, господа, как видите, нечего, а подумать есть о чем.

То, что эта душа отвергла человеческий суд, — так просто и так понятно. Этого дешевого искупления она не приняла, но доброхотно подняла на себя кару, горщую Сибири и каторги в семьдесят семь раз и равную муке адовой, да еще в одиночку. Может быть, господа, в таком же роде цветочками на родной могилке пытал себя и Тим Тоде, ибо не трудно исповедаться — вот я какой! — и стать со злодеями, а труднее свою казнь в себе носить и чуть не святым казаться.

И не та жена нестерпимую муку несет, что, изменив мужу своему, покаялась, а та, что былую измену свою, как жабу, под сердцем носит, а мужу улыбается светлой улыбкой.

А вот зачем он к следователю на двор пришел и хартию обвинения своего при себе вечно носил, — это не так просто. Думаю только, что всего меньше здесь было озорства и охальства и всего меньше пугал он себя человеческим судом. Вернее, господа, и это было одним из видов злой его самопытки и средством для поддержания вечной метели в смятенной и сокрушенной душе. В этой пытке еще можно было жить, — без нее надо было совать голову в петлю...

Александр Измайлов

БУКИНИСТ

(Из книги «Мистических рассказов»)

I

Несколько лет назад некоторыми лицами из петербургской несомненной и большей частью близкой разным видам искусства интеллигенции были получены обычным почтовым порядком странные письма. Написаны они были на старинной, вышедшей из употребления бумаге, с неясными водяными знаками, слегка дрожащим и крайне своеобразным, но совершенно отчетливым почерком, жидкими и порыжевшими чернилами, какими пишут старики. Письма не имели подписи и обычно носили обличительно-назидательный характер, главная же странность их заключалась в том, что в них были иногда совершенно определенные указания, иногда же более или менее двусмысленные намеки на такие частности жизни и поведения адресатов, о которых могло быть известно только им одним. Тот, кто писал, был как бы олицетворившейся, ходячей их совестью и, так как укоризна была всегда справедлива, а с другой стороны, била иногда в вещи и поступки, которые погрешивший мнил сокровенными от веков и родов, — то письма всегда производили впечатление и смущение и будили беспокойное любопытство.

Писавший предварял, что лучше и о самих письмах, и о содержании их никому не поведывать, ибо вся их цель — исключительно личное «испрямление» человека, и если они побудят его «войти в клеть свою» и временно в ней уединенно затвориться для самоиспытания, — то и этого и довлеет. Излишние же разговоры чужды полезности и даже могут породить в обществе праздные «умомечтания», которые способны охладить и рассеять совесть, уже уязвленную и над собою задумавшуюся. Однако, эти предварения, видимо, не всем казались многозначительными, и часто, когда в обществе, по тому или иному поводу, заходила речь о загадочном учителе или коллегии самозваных учителей, — не один из присутствующих признавался, что для него этот разговор не новость, и такие письма и к нему долетали.

В поле моего зрения такое таинственное попечение выпало на долю некоторых людей очень различного положения. Получал такие письма один старый архимандрит, проживавший в нашей Невской лавре, почтенный и влиятельный, в особенности в последние годы перед своей смертью. Настойчиво называли имя одного сановника, который будто бы даже не скрывал своего общения со странным корреспондентом и подчинялся его советам, не раз убедившись, что он не во зло советует. Приходили письма и к некоторым литераторам и, между прочим, к представителю одного ведомства, очень близкого литературе, но не пользующеся особенной любовью писателей, — человеку, который, держа в своей руке огненный меч, другой рукой воздавал почтение музам.

Однажды захожу к нему и застаю его как бы в некотором смущении.

— Вот, надо, — говорит, — ехать в сегодняшнее заседание и воевать, а одна частность меня смущила и, — смешно сказать, — почти рассстроила. Между нами, — с некоторого времени меня преследуют анонимные письма...

— Но кто же, — спрашиваю, — огорчается анонимными письмами?

— Я знаю, — возражает он, — как надо относиться к анонимным письмам. Но это особенные. В них не было бы смысла, если бы их писал не человек, явно желающий добра. И еще — смущают не столько сами письма, сколько очевидный вывод из них, что за мной учрежден как бы чей-то негласный, но цепкий надзор. Может быть, просто кто-то шутит со мной первоапрельские шутки, но это ощущение недоуменности во всяком случае неприятно и тягостно. Вы умеете сохранять секреты?

— Вы меня не со вчерашнего дня знаете.

— Прочтите. Это сегодняшнее.

Он подал мне небольшой листок толстой старинной бумаги, на которой печатались книги в десятых-двадцатых годах, и вскрытый узкий конверт с небольшой сургучной печатью, изображавшей в середине круга простой продольный крест. На листке было написано:

— «Заставляете скорбеть о себе. Отпугиваете вашего ангела. Вечером прошлого четверга не уязвлены ли ваша совесть? Не полагайте, что невидим грех. Видим грех. Хотел приблизиться к вам, но вы отдалились. Были ближе к свету, стали далеко. Испытайте наедине свою совесть».

— А в виде комментария, — пояснил мой знакомый, — прибавлю, что действительно четверг мне гнусен, потому что, в угоду сильному, я в этот день поступил против справедливости, и дорого бы дал, чтобы это переделать. Очень возможно, что это простая случайная угадка, но скорее не случайность и не угадка. А главное, кому это и для чего понадобилось надо мною шутить или меня высматривать? И то и другое одинаково странно. Кажется, я, с одной стороны, уже вошел в меру возраста совершенного, а с другой, не подаю особых поводов к юморизированию над собой.

— Как же вы, — спрашиваю, — объясняете эти поучительные послания?

— Нет невозможного, что посейчас у нас существует какая-то запоздалая ветвь масонства или розенкрайцерства. Это, конечно, было бы совершенно в их причудливом стиле и жанре — возводить человека к совершенству и попутно вербовать в свою ложу. Этот способ они встарь широко применяли. Но уж больно это не по нынешним холодным и немистическим временам. И у меня шевелится более настойчиво мысль, что это не мистическое, а мистификаторское дело, и для этих целей, может быть, учреждено за мной даже и некоторого рода шпионство.

— И вы можете предполагать, кто это?

— Если это действительно мистификация, то это дело рук непременно того, на кого я думаю. Это N.

Он назвал одно, по тому времени очень крупное литературное имя, имя странного человека, умевшего соединить глубокий и философски настроенный ум и большой художественный талант с непонятной потребностью обмана и какой-то не всегда безвредной шаловливостью и даже мальчишеством духа.

— Мы когда-то были близки, — пояснил мой собеседник, — и не раз похищали часы у ночи на разговоры о мистике, а потом разошлись.

II

Для меня тогда было время первого любопытства к оккультизму, первых, как встарь выражались, «устремлений в светозарный мрак мистики». В сущности, не спит ли до поры до времени мистик в каждом человеке и не нужен ли только простой толчок, чтобы он пробудился и поднял голову, как нужно первое повышение воды, чтобы река взломала всю зиму державшийся лед?

В случае таинственной переписки было нечто интригующее. Это, конечно, было делом человеческих рук и, вернее всего, мистификацией, но, во всяком случае, это выходило из границ обыденного и шевелило мысль, устремляя ее в догадки. Единоличный ли это замысел человека, которому скучно жить, а ежегодная рента позволяет ничего не делать, или это дело целой компании чудаков, которой, разумеется, легче и установить за кем-либо род надзора? Или это в самом деле своеобразное осуществление плана перевоспитания человечества запоздавшего родиться мистика-идеалиста, ибо в самом деле, не лучший ли способ показать сильному его грех, о котором все молчат, — уязвлением таким путем его совести, может быть, и без того смущенной и слегка ноющей? Наши прадеды верили в такое действие внушения на расстоянии и, возможно, что иногда и достигали цели.

Конечно, нельзя было прийти ни к чему в своих догадках, но прийти к чему-нибудь было бы очень любопытно, в особенности уже потому, что недели через две, через три на своем собственном столе я нашел письмо из того же источника и с тою же печатью.

«Устремлением внимания в область положительного знания, — писал мне мой неведомый и нежданный совет-

чик, — век замыкает себе дверь в светлую область духа. Но выше духовное, нежели земное. Не гасите в душе начала любви к таинственному. Всмогревшись усиленно в свою жизнь, усмотрите в ничтожном и мелком — многозначительное, важное и таинственно-мудрое. В сем путь к истинному щастию, коего сейчас вотще ищете. Щастие в этом знании, которое достойных его само обходит ищущи, легко видимо любящими его и обретается взыскующими. Ищите в уединении и молчании и читайте, что писали *знатные*, а о письмах умалчивайте».

Почерк был своеобразно красив какой-то полууставной витиеватостью. До некоторой степени, действительно, письмо давало иллюзию старины, с которой не рознил и стиль письма и даже характерное «щастие» и «вотще». Стильная ли это подделка или в самом деле есть где-то чудак, живущий все еще в старом веке, проникнутый его взглядами, симпатиями и идеализмом? Не сидел ли он рядом со мной где-нибудь в обществе, где заходил разговор о загадочных письмах? Быть может, этот таинственный «кто-то» подстерег не мои думы, когда я сидел за своим столом, в вечернем уединении, за литературой мистиков, а подслушал мой интерес к нему, когда я вслух говорил о загадочных посланиях к моему знакомому.

За неимением ничего лучшего, оставалось принять последнее объяснение. Но новое письмо, скорее записка, где десяток слов улегся всего в две строчки, склонял как будто к иным предположениям. В письме стоял только один известный стих:

«Прежде, неже возгласи тебе Филипп, суща под смоковницею видех тя».

Это уж выходил совсем как бы ответ на мою затаенную мысль, ответ образный и аллегорический, но такой, который можно было прямо и без всякой натяжки приладить к шевелившемуся в душе вопросу.

«Нет, тут ни при чем твой знакомец, а я раньше читал в твоей душе твои мысли». Конечно, и это могло быть случайностью, но на этот раз впервые приходилось над письмом серьезно задуматься.

В конверт была вложена другая записка. Она оказалась списком книг мистической литературы — латинской, немецкой и русской. В подборе чувствовался вкус и знание. Среди знакомых имен, насколько знал, я не нашел ни одного шарлатанского имени.

Новое письмо пришло на следующей неделе. Оно было очень кратко. — «Продолжайте быть деятельным учеником, — писал незнакомец. — Любовь, труд, уединение и молчание. Тоскуете по невозможности общения и руководства. Руководитель идет к вам. Не пренебрегите им, ввиду скромности его положения. Худородная мира и уничиженная избра Бог, да премудрые посрамит».

«Тоскуете». Слово было не то. Таинственный корреспондент преувеличивал. Но не скрою, во мне уж шевелилось жгучее и тревожное любопытство. Еще по-прежнему я ничего бы не мог сказать в пользу или против моего непрощенного учителя, но было совершенно ясно, что он не хочет меня оставить и не оставит в покое. И с интересом и нетерпением я приготовился ждать идущего ко мне навстречу загадочного и непрощенного «руководителя».

III

В свободный час я люблю бродить по лавкам нашим антиквариев разного рода. Под низкими потолками помещений Апраксина и Александровского рынков еще посейчас есть многое, стоящее высокого внимания. В старину водились в них настоящие сокровища. Теперь здесь не найти Рембрандта или Вандика «за красненькую», но можно найти Айвазовского и наткнуться на великолепные уникумы старого искусства или на книгу, уцелевшую от воды, огня и даже от острия меча цензора эпохи Екатерины и Александра Благословенного, когда, после истории с Новиковым, а потом указа о закрытии масонских лож, книги жгли тысячами. Иногда удастся отыскать здесь и интересную ру-

копись, — как удалось, например, найти однажды переписку Герцена на московской толкучке.

В этих лавках старинщиков среди всевозможного бумажного хлама подчас не редкость встретить кой-кого из наших литературных старииков или записных любителей старины. Несколько лет назад здесь можно было часто видеть старика Лескова с палкой, в шубе и меховой шапке с козырем, покойного певца Стравинского, большого библиомана, или старообрядческой складки фигуру знаменитого библиографа Е. Эти уж были аристократами в искусстве и людьми состоятельныйми, но сюда же властно тянет и литературную богему. Это для нее своего рода благородный спорт, захватывающий не практическим расчетом купить рубль за алтын, но удовлетворяющий законной потребности красивого, которое изящной душе хочется насадить даже и в убогой «меблировке». Потому-то эту, в молодости заведенную слабость, трудно бросать, и придя в возраст и завоевав положение. Есть ко всему этому какое-то прикосновение старины к тайне, что-то в ней манящее и интригующее, и это влечет в свою меру и силу. Наконец, среди самих старинщиков попадается любопытный и своеобычный тип людей, с которыми литературному человеку иногда поговорить любопытно и полезно. Видимо, одно простое, но постоянное прикосновение к книге отбрасывает луч света даже на простецкий ум, и мне счастливились находить здесь людей серьезной и многогранной начитанности и живого природного смысла.

В один из осенних вечеров того года я проходил по длинному книжному ряду одного из наших рынков. Темнело. С противоположной стороны улицы, через открытую форточку трактира, излюбленного рыночным обывателем, доносились сиплые, точно простуженные звуки органа. Коптели керосиновые лампочки в лавках. Сновал покупатель по галерейке, его зазывали и над ним пересмеивались приказчики. Заезд оказывался из неудачных, и я уже готов был вернуться домой, когда увидел свет в крайней лавочке...

Странная это была лавочка. Крошечная и, по-видимому, скучная, обычно она стояла запертой, и увесистый зар-

жавевший замок, похожий издали на огромного клопа, сидел на болте, замыкавшем дверной ставень. Никогда я не мог, увидеть ее хозяина. Когда лавка была и отперта, в ней переминался с ноги на ногу сопатый мальчишка со стаканом грязного чая в руках, и что бы у него ни спрашивали, на все отвечал, что такой книги в лавочке «сейчас нет». Порыться на полках он не позволял и, утирая нос, разъяснял, что хозяина нет и долго не будет, а потому все равно о цене договориться будет не с кем. Это повторялось так часто и было так странно, что у меня, не совсем по этой части неопытного, уже мелькала мысль, не существует ли эта лавочка так называемой у антикваров «темной» торговлей, которая процветала в старину и могла еще быть в те годы. «Темный торговец» былой поры имел дело с захожим покупателем только для прилику и отвода глаз, главной же его деятельностью было удовлетворение «своего», постоянного покупателя, которому он, по его заказу, доставал «темную» книгу из тех, что не выдаются в библиотеках. Купят у него на полтинник в продолжение дня или не купят, — для него было безразлично, потому что на стороне добывались им хорошие деньги, а приспешники его, разделяющие для него нужный материал, хорошо знали, в какой час и в каком трактире его можно увидеть.

На этот раз дело обстояло иначе. Лавочка была освещена, двери раскрыты, и у входа стояла фигура как бы всматривающегося в лицо человека с выцветшей узкой бородкой, как у митрополита Исидора, которую духовные именуют святительской. Когда я почти поравнялся с лавочкой, стоявший у дверей человек слегка отскочил в сторону, явно уступая мне дорогу в свой чулан и, слегка дотронувшись рукой до теплой меховой шапки с козырьком, но ничуть не приподняв ее, произнес:

— Пожалуйте-с! — таким положительным и уверенным тоном, как будто бы не договорил:

— Я вас давно поджидаю.

IV

Жестяная лампочка с жестяным же потускневшим и засаленным рефлектором освещала узенькую лавку и спуск в подвальное помещение, сплошь усеянное книгами. Свет ее падал на лицо моего нового знакомца, — маленькое, высохшее, землисто-бурового цвета, с глубоко запавшими глазами, с выражением не то беспокойной подозрительности, не то затаенного любопытства. Сам он мал ростом и сух, и вся фигура его и лицо из тех странных фигур и лиц, по которым совершенно не определить лет. Может быть, сорок, а может быть, и все шестьдесят! Какие-то странные и неприятные черные пятна легли на ввалившиеся щеки, — точно в поры кожи засела и не отмывается земля. Седые усы подстрижены и торчат острой щетиной, и от них и от взмаха тонких бровей лицо получает какое-то выжидательное выражение насторожившейся рыси. Пальто на дешевом меху, со слегка облезающим воротом, тесно облегло эту маленькую фигурку, точно с картины Франчески Гойя, и издали, не видя седой бороды и лица, его можно принять за подростка...

Войдя следом за мной в лавочку, стариk с проворством юноши привскочил на табурет, протянул руку на верхнюю полку и снял обернутую в газету небольшую связку книг.

— Вот это будет вам любопытное и нужное.

Это было немножко самоуверенно, потому что могло оказаться как раз тем, что мне в тот час было и не любопытно, и не нужно, но он быстро и ловко развернул книги и стукнул ими об стол, ставя их корешком кверху. Было странно, но это в самом деле оказалось то, что меня интересовало, и все это в своем роде замечательно и редкостно. Даже в качестве неофита я уже знал, что вся эта мистическая мудрость в свое время энергично преследовалась, строго отбиралась при обысках от книгопродавцев и частных лиц, и была сожжена Прозоровским и Курбатовым еще при Екатерине. Я ушел в эти небольшие старые книжки, напечатанные побледневшей краской на плотной старинной бумаге.

ге еще «новиковским иждивением», а над моим ухом слышался спокойный и веский, внушительный голос:

— Ныне этим мало интересуются, господин. Прошла пора. Немногие теперь это знают и любят, да и те сидят по своим углам и о себе не рассказывают. И лучше молчать — такое дело. Не мечтите бисера. Тяжело одному знать истину, но нужно одиночество истине. Горька истина. Не надо даже никому говорить, что вы мистик. К чему? Посмеются над священной тайной. Истина у немногих, и эти немногие помогут найти ее тем, кто ищет. Милости прошу ко мне заглядывать. Чем могу, — помогу, и еще что-нибудь вам приготовлю...

Выходило как будто так, что и то, что я сейчас смотрел, он именно для меня подготовил, и я не мог не улыбнуться и не поставить ему вопроса, — уж будто он предвидел мое посещение.

— Я чувствовал, что вы у меня будете, — без улыбки и даже как-то особенно раздумчиво ответил он. — Если вы станете внимательно смотреть в жизнь, вы увидите, что нет на свете ни одной случайной встречи, и нет ничего ничтожного и бесцельного. Все важно, мудро и разумно. Вы должны были встретиться со мной, ибо это для обоих нас нужно. И эти книжечки я не показал бы вся кому. Вся кому они не нужны-с. Для всякого — это вздор сумасбродства ма-сонского. Давно его отвергли, и осудили и ему посмеялись. Умные люди отвергали и кому ж охота их проверять? Да, правду сказать, и мы с вами многое здесь отвергнем и осудим. И в самом деле, шелуха не отвяна. Но отвеем шелуху, — пшеницы-то сколько!..

Он предложил мне спуститься по лестнице вниз, обещая любопытный материал. Две комнаты подвала, обширного настолько, что я едва мог бы это предполагать по входу и лавочке, были тускло освещены двумя лампочками. Было немножко жутко в этой полутьме, насыщенной запахом сырой залежавшейся бумаги, — специфическим запахом книжного склада или библиотеки, которую не топят. Всюду книги, книги, книги, подмокшие, отсыревшие, с оборвавшимися и потрескавшимися корешками, точно гробы литературы.

турных мнений, угасших интересов, пережитых и сданных в архив увлечений. Преобладала старина, и чувствовалось, что здесь много хлама в этой, для чего-то хранимой журналистике прошлого — от «Благонамеренного» до «Полезных упражнений юношества», «Утренних зорь», «Амфионов» и «Каллиоп». Зачем сохранила ирония судьбы от гибели эти стопы испорченной бумаги, в которой теперь уж никто не прочтет страницы?

От них веяло какими-то далекими, умершими воспоминаниями, от этих обуявших и утративших душу сокровищ книжного погреба, похожего на кладбище, где на корешках переплетов я, случайный, запоздалый и чуждый гость, читал, как на крестах, имена умерших людей и названия забытых трудов. И этот сырой полусумрак подвала, и фигура странного старика, оставшегося там наверху, в шуме дня и атмосфере обыденности, и его убежденные слова — все это настраивало странно и нервно. Я заглянул во вторую комнату подвала и вздрогнул. Из угла его, где горел тусклый ночник, на меня глядели два больших, острых, болезненно возбужденных глаза. У ночника, с трехкопеечной книжкой для народа в руке, сидел мальчик. Лет 13-14-ти, худенький, бледный, в изношенном рыжем пальто и измятом картиззе. Маленький костыль стоял подле его стула. И костыль, и как-то неправильно посаженная на плечи голова, и сам он, точно замуравленный в мертвом подвале, — производили необычное впечатление, дополнявшее общее впечатление этого вечера и будившее интерес к странным хозяевам странной лавочки.

Помню, я не без удовольствия почувствовал себя наверху, выйдя из подвала. Относительно книг мы сговорились очень скоро. Старик уступал их очень дешево, по цене совсем не на любителя, точно ему было приятно поделиться своими сокровищами.

— Совсем недорого продаю, — заключил он. — И сам их у вас, по этой цене, всегда возьму обратно. Хоть завтра.

— Нет, завтра я приду к вам, но не для того, чтобы возвратить книги, а чтобы посмотреть новые. А кстати, что это у вас там за мальчуган внизу?

— Мальчуган? А! Это мой паренек. Лампы караулит. От пожару бы грехом не было...

V

На другой день я зашел к букинисту. Лавочка была заперта. Железный клоп, как всегда, сидел на двери. Сосед, торговавший готовым платьем, на мой вопрос ответил, что лавочка сегодня и не открывалась. Я ушел не без досадного чувства, а дома меня уже ждала весть от неведомого корреспондента. Он писал, между прочим, что теперь «руководитель подле меня», и мое «желание учения» может вступить в фазу деятельного осуществления. Ничего замечательного не было в этом теоретическом наставлении, но было странно новое письмо. Уверенным тоном здесь заявлялось, что я только что избежал большой катастрофы, и надо мной уже была распостерта рука смерти, но для этого еще не настало время, и случай явился лишь указанием мне видеть в ничтожном значительное.

Разгадывать письмо мне не приходилось. Если угодно, автор его был совершенно прав. Именно в какой-то из тех дней со мною приключилась одна из тех случайностей, которые мы обычно на другой день забываем и которые вместе с тем можно было бы, однако, заносить в книгу жизни, как многозначительные. Задремавший извозчик подставил мою пролетку под разогнанный дилижанс и, соскочив с нее прямо на рельсы, почти подышло лошадей, я рисковал очень многим, если бы вагон не удалось мгновенно затормозить. Как всегда бывает, через пять минут, сидя на той же пролетке, я уже забыл о случившемся. Теперь кто-то, в самом деле умный и вдумчивый, делал мне об этом напоминание...

В новую субботу я прошел к букинисту, намеренно избрав его день и час. Уже издали был виден в лавочке свет. Старик по-прежнему приветливо пропустил меня в нее.

— Прошу милости. А я для вас опять кой-чего приготовил. Не благоугодно ли будет спуститься?

Мы сошли в подвал. Мимо нас проковылял наверх «париенек» с костылем, цепкими, как у обезьяны, руками хватаясь за перильце лестницы. Я заметил его худое, бескрасочное-желтое лицо, какое бывает у людей, живущих ночью или вынужденных проводить дни в свете дымящего огня, а не греющего солнца. Он, видимо, шел караулить вход в лавочку. Старик был в том же одеянии, только на глазах его темнели густоокрашенные дымчатые очки.

Он был чрезвычайно интересен в этот вечер, мой загадочный «руководитель», и удивительно интересной оказалась его лавочка. Настолько-то я был знаком с делом, чтобы видеть, что его мистическая и вообще антикварная библиотечка была совершенно единственной для столицы. Он, видимо, был старинщиком по призванию, и на его лице, несмотря на странно замаскированные глаза, можно было читать настоящую, редко встречаемую теперь любовь к книге, когда он бережно вытаскивал с полки за корешки потускневшие и выцветшие томики.

— Капнистова «Ябeda», — говорил он, обтирая рукавом пыль с переплета. — Первое издание. Узнается по сему гравированному фронтиспису. По высочайшему повелению, отобрана во всех лавках. Автор сослан в Сибирь, но в тот же день возвращен обратно с возведением в следующий чин. А вот для нас с вами любопытнее — «Кольбель камня мудрых». Писана на языке масонов и сплошь курсивом. Из библиотеки розенкрейцера Шварца с его пометой и ex libris. «Об истлении и сожжении всех вещей по чудесам в царстве натуры и благодати». «Хризомандер» — открывает тайну алхимии. Сожжена, яко вредная. «Образ жития Энохова». Предисловие изымалось и сожигалось. Книготорговец Заикин был схвачен с нею на улице и приговорен к наказанию кнутом с вырезанием ноздрей и ссылке в каторжную работу. Экземпляры с предисловием — реже белого ворона. «Божественная и истинная метафизика» — Иоанна Пордеча. Напечатана в тайной масонской типографии. В продажу не шла, — токмо вручена главным сановникам масон-

ства. Оставшееся — сожжено. В 200 рублей ходила книжечка. Госпожи Гион — «О последовании младенчеству Иисуса». Баснословно ценилась во дни мистицизма. А вот «Душеньки» шестое издание. Для нас с вами не нужно, а иным — великая ценность. Вся сгорела до выпуска в продажу, в нашествие галлов. Шестое, а ценнее и второго и третьего, потому те с пропусками, а это да первое — полные. А вот «Письма к другу об ордене Святого Креста». Очень редка. Изволите видеть назидательный виньет.

На выходном листе книги развернулась в самом деле оригинальная виньетка-гравюра. Радуга опоясала землю. Уткнувшись в грязь рылом, спала свинья. Осел, стоя задом к радуге и солнцу, щипал траву. Взлезшая на дерево обезьяна одной рукой держалась за ветвь, другой бросала камень в радугу.

— Любимая аллегория старых мистиков, — пояснил старик. — Прекраснейшее явление натуры! Не надо пялить на радугу глаза, ибо она и в ручейке божественно отражается. Но зрители сего — осел, свинья и обезьяна. Один повернулся спиной и жрет траву, другая спит в грязи и гнусный зрит сон, а третью беспокоит солнце своим неугасающим блеском, и она в него несмысленно камень мечет. Не так ли, — спросим себя, — и люди? Был, к примеру, на волос от смерти. Еще миг — и оборвалась бы нить. Упала стена вечности. Но нищ духом человек и продолжает спокойно щипать траву. Траву житейских попечений, так скажем. И забыл уж о том, что было. Некогда думать, — дел много!..

Намек на мою недавнюю катастрофу выходил очень определенный, а компания, в которую меняставил странный старик, была совсем не лестной. Я внимательно сбоку смотрел на него. Но ничего нельзя было прочитать ни на его спокойном лице, ни в голосе. Ни улыбки, ни иронии. Скорее слышался в его словах оттенок раздражительной досады. Мысль сейчас ошеломить его врасплох вопросом, зачем он следит за мной и пишет мне письма, вдруг мелькнула в моей голове, и мне стоило большого труда удержаться.

К счастью, старик заговорил снова, и я не заметил, как пролетел час нашей беседы. В подвале было сыро, начинали зябнуть ноги. Некоторые из книг он не убрал, но отложил на стол: «Это вот я вам рекомендую». Опять сразу мы сошлись в цене. Он присоединил к купленному еще две книги, прибавив: «Как прочтете, верните», и приподнял козырек шапки.

— Жду вас еще. Заходите.

— Может быть, лучше мне зайти к вам на квартиру, чтобы не отрывать вас от дела?

Старик будто вздрогнул.

— Нет, лучше уж пожалуйте сюда. А мною не стесняйтесь, — это я и считаю для себя настоящим делом. Живу далеко... Здесь же всякий четверг и субботу. Лавочку Лабзина запомните. Номер сто шестой. А книжечки мои прочитайте, не откладывая.

VI

Лабзин! Странное совпадение! Конечно, я знал это имя, хорошо известное в истории русского мистицизма. Неутомимый работник по его насаждению, издатель «Сионского вестника», автор знаменитого «Угроза Световостокова», переводчик множества мистических книг, скрывавшийся под буквами «У. М.» («Ученик мудрости»), воитель со Стурдзой и Фотием, кончивший ссылкой в Сенгилей и Симбирск, как в те ужасающие времена кончали многие. Уходя, я случайно бросил взгляд на вывеску лавочки. Там стояло «А. Лабзин». Совпадение до смешного! У того был тот же инициал имени!

Я уходил все более и более в ознакомление с отраслью исканий, еще не так давно мне чуждой и неинтересной. Эта область сулит неисчерпаемый и захватывающий интерес неофиту. В ней — залежи старой мудрости и старого безумия, и есть в самом деле, как говорил мой «руководитель», в кучах книжной мякины полновесное и насыщаю-

щее зерно знания. Тут много и пристальной наблюдательности к «таинствам натуры», и острых и пытливых заглядываний в сокровения духа, которые теперь становятся уже предметом спокойного и не враждебного внимания эксперименталиста-психолога и медика. Почти бесспорно, что розенкрайцеры знали применения электрической энергии, беспроводной ее передачи и т. д. задолго до Эдисонов и Маркони. Химия к алхимии, астрономия к астрологии, медицина к знахарству не стоят ли в отношении ближнего родства? В самом деле, не в том ли только дело, чтобы отвеять шелуху от пшеницы? А старый букинист напевал мне при каждом новом свидании свои странные мистические речи:

— Есть другая мудрость, кроме обыкновенной человеческой мудрости. О ней ясно написано в книгах Соломона, и с них мудрые начинали свою науку. Для нее нет сокрытого, и пред ней раскрывается величайшая из тайн — душа человеческая. Все ей ясно, и состояние мира, и силы корней, и помышления человеков. Чтение мыслей, по-нашему. С обычной точки эта мудрость — соблазн и безумие. А кто до нее дойдет, тому весь мир — сонный мираж. Только тяжко до этой науки дойти, и жить с ней тяжко. Все умрет, как ей в лицо взглянешь, — и радость, и печаль, — ничего не останется. Ничего такому человеку на земле не надобно. Только все любить будет: и воробья вороватого, и злак полевой, и кривого, и прокаженного, и собачонку последнюю. Весь мир усты ко устам облызает. Людям до такой мудрости обычно нет дела, но нет-нет да и натолкнет на нее человека. А кого она ужалит, тот уж ей не изменит. В один случайный день увидит человек чудо и скажет своей земной мудрости: недалеко на тебе одной уедешь. И переменит... А чудо-то кругом явно зрится, только мы к нему, как свинья к радуге, спиной стоим и заметить его нам лень и некогда...

В книжном подвале всегда было тихо, сырьо, сумеречно. То вспыхивал, то замирал дрянной керосин в лампочке. Было что-то точно средневековое в строгих и суровых очертаниях ниш, усеянных книгами. Если правда, что на вещественном наслояется духовное, — сколько здесь дум и чувств

должно было как бы прилипнуть к этим старинным отсыревшим книгам!

Я стал у Лабзина частым гостем и скоро перешел с амплуа покупателя на амплуа книжного абонента. Всей сокровищницы, конечно, нельзя было перекупить, да едва ли и было нужно. Загадочный стариик обрисовывался предо мной, как глубокий мистик, искренний и фанатичный. Только порой, как змеиные переливы, улавливались в нем какие-то подозрительные и странные черты. Старый мистик окутывал себя намеренным туманом и, как частное лицо, оставался теперь для меня таким же неизвестным, каким был в первый день знакомства. Я не знал, кто он и как живет, с кем водится и что делает всю неделю, кроме своих двух дней. С явной намеренностью он погашал всякий вопрос, вырывавшийся у меня насчет него. Я заговаривал со знакомыми мне букинистами, соседями его по рынку. «Умный старикан!» — говорили они в один голос, но одни были с ним вовсе незнакомы, другие поддерживали шапочное знакомство и ничем не могли пополнить моих справок. «Чудной стариик... Как будто даже малость “с максимцем”... Живет одиноко... Не знакомится... В трактир не ходит... Покупает у них старье, — платит всегда щедро, не как букинист, а как любитель... Огромный знаток своего дела... Не только по печати, — по жуку^{*} безошибочно угадает и место, и год напечатания книги... А только торговец, надо быть, плохой... Видно, больше на знакомого покупателя...»

Должен сознаться, эта таинственность становилась мне уже изрядно досадна, и тем более, что сам я жил перед старииком точно в стеклянном колпаке. Я по-прежнему не мог бы сказать, что письма, приходившие ко мне и теперь, хотя и реже, — писал он. Может быть, для него они были слишком интеллигентны. Но теперь для меня уже не было сомнения в его полной насчет их осведомленности. Если писал

* «Жуками» на языке букинистов называются четыре медные или деревянные пуговицы, обыкновенно приделывавшиеся в старину к задней доске переплетенной книги, чтобы при передвижении ее не стиралась кожа (*Прим. авт.*).

не он, — он был в непосредственных сношениях с писавшим. Сряду и сплошь он делал намеки на письма, и в письмах бывали намеки на его речи.

А намеки на мою личную жизнь становились подчас нескромны и докучны. Кто-то за мной несомненно следил, но следил обычным человеческим глазом, и уже не раз мне пришлось улыбнуться на некоторые догадки моего пестуна. Это было именно то, что должен был предполагать наблюдавший за мной со стороны неглупый человек и, однако, освещалось иногда не моей настоящей психологией. Я осведомился у своего дворника, старого и верного человека, — не интересовался ли кто мной у него. Кто-то интересовался и недавно, но по признакам я решительно не мог угадать, кто был этот неведомый соглядатай.

— А еще какой-то паренек с костыльком с вашим Мишуткой подружился... Придет на двор и про вас спрашивает... Дома ли, мол...

Это была красноречивая улика, и я невольно становился подозрительным. Мишутка, восемнадцатилетний парень, служил у меня с полгода верой и правдой. Но приходилось всматриваться и в него. Я намеренно положил на письменный стол бумаги, заметив их положение, и придавил их маленьким ватерпасом, установив воздушный пузырек в центре. Для такой цели полезен иногда ватерпас и не только на столе инженера и техника. Тронет или не тронет? Не было сомнения, Мишутка соблазнился. Ватерпас лежал в том же направлении, но пузырь сдвинулся, и замеченные уголки листов не совпадали.

Однажды в сумерки, уходя из дома на целый вечер, я заметил шагах в двадцати, около соседней калитки, шмыгнувшую в нее маленькую фигуру. Я прошел вперед и заглянул во двор. Калитка была наполовину отворена, и на тумбе во дворе сидел «паренек» букиниста. Костылек стоял прислоненный подле него. Видимо, не ожидая моего внимания, он сидел ко мне спиной, выжиная, когда я отойду подальше и не видя меня. Я зашел за угол, не оглядываясь, и, остановившись здесь, невидимый ему, оглянулся и стал ждать. Фигура на костыле вынырнула из калитки, огляделась и —

шмыгнула на мой двор.

В этот вечер я вернулся домой через полчаса. Слуга был уверен, что я приеду ночью. Именно из-за этого, вышла маленькая неожиданность. Подходя к дому, я увидел огонь в моем кабинете в нижнем этаже здания. Мишутка стоял перед открытым ящиком моего письменного стола и читал какой-то листок. В щель шторы мне не видно было его лица, но только руки, листок и жилет с серебряной цепочкой.

Он долго не отворял на мой звонок, отворил, искусственно зевая, и пояснил, что успел уже заснуть. Но в голосе чувствовалась не вялость дремоты, а дрожь волнения. «Позабыл папиросы», — пояснил и я, в свою очередь не совсем искренне.

Через пять минут я уехал опять. Только теперь были заперты не только все ящики, но и кабинет, и комната пред кабинетом. Мой извозчик обогнал маленького подростка с костылем. Острые глаза уродца пытливо уставились на меня.

Не скрою, я был бы рад сойти с пролетки и надрать ему уши.

VII

Мишутка был, конечно, очень удивлен, когда наутро получил чистую отставку и заявление, что любознательность — хорошая черта, но не всякий на моем месте сдержится и не отхлещет его по щекам в подобном случае. Бедный, он совсем успокоился за ночь!

А к старику мне удалось сходить только дня через два. Ему, следовательно, все было известно. Ни смущения, ни волнения я не заметил в нем. Проклятые выпуклые очки, делающие совершенно каменное лицо!

Но он едва ли ждал меня в этот день. По крайней мере, тогда он, вероятно, позаботился бы убрать письмо с хорошо знакомой мне печатью, лежавшее у него на столе адресом книзу. При моем входе, он взял его и опустил за пазу-

ху. Я поймал на себе его косой, внимательный взгляд. «Видел ли?» — спросил он себя и ответил себе: «видел».

Старик был малоразговорчив и как бы пасмурен. Он выжидал и следил, прикрываясь обычной мистической беседой. И для него, конечно, было неожиданностью, когда я вдруг остановил его и сказал:

— Оставим это, и скажите лучше, какой смысл вам следить за мной и писать мне письма?

Он не вздрогнул, не изменился, но и не повернулся ко мне лица.

— Я слежу за вами? Пишу вам письма?

— Да, вот одно из тех, какое вы сейчас заготовили и спрятали и которое я получу сегодня или завтра?

— Вы ошибаетесь. Это письмо не к вам, а ко мне, — спокойно ответил он.

— Зачем подсыпать хромоногого мальчишку, входить в сделку с моим слугой, высматривать мои входы и выходы!.. Мне это надоело, —озвучил я голос, — это действует на нервы.

— Вам потом будет самим смешно на это обвинение, — с тем же самообладанием сказал он. — Все это меня совсем не касается. Письмо это от моего «учителя». За паренька я не отвечаю. Письма вы получали и до знакомства со мной... Не я пришел к вам, а вы пришли ко мне, я только исполнял чужую волю...

— Покажите мне только адрес этого письма. Если оно писано не на мое имя, — я поверю вам во всем.

— Письмо писано не на вас, но я вам не покажу его. Надо побеждать праздную пытливость... А беспокоить вас собой я больше не буду. И простите, я должен запирать лавочку...

Старик сказал правду. В самом деле, никогда больше он меня «собой не беспокоил». Я его нигде более не встречал, хотя десятки раз после проходил мимо его лавочки. Большой частью она была заперта. Если в ней был свет, у стола вертелся прежний мальчишка со стаканом чая, но никогда я не видел в ней и хромоногого «паренька». Может быть, он по-прежнему сидел в мертвом книжном подвале, у коп-

тящей лампочки, но ни разу при мне не показался наружу. Однажды, когда лавка была заперта, я спросил у соседа, торговца готовым платьем, куда делся старик.

— Велел сказывать, что уехал в деревню и там помер, — ответил тот и тупо ухмыльнулся. Было очевидно соглашение и напрасны расспросы. В другой раз я спросил о нем у знакомого букиниста.

— Случается, заходит, — сказал он, — только теперь больно редко. И мы-то почти его не видим. Чудной господин.

— А что?

— Да так...

Письма с нашим разрывом не прекратились. Напротив, первое время они были особенно часты. Мне делались энергичные упреки, что я сам лишил себя «руководителя», и что долго ждать другого. Потом на месяц мне пришлось по своим делам уехать из Петербурга. За время отсутствия не пришло на мое имя ни одного письма. Очевидно, кто следил был вполне осведомлен о моем отъезде. И после уже не восстановилась переписка.

А когда, по значительном антракте, я зашел в рынок, то увидел, что на месте букиниста уже устроился убогий торговец рамками и дешевыми картинами. Только вывесочка «А. Лабзин» по-прежнему висела над входом. Я зашел к торгашу в качестве покупателя и задал ему два-три вопроса. Оказалось, что он устроился здесь недели две назад. Старый букинист, которого он не видел в лицо, по его словам, умер. Вывеска осталась «зря». «И букинист-то фамилия была не Лабзин, а как-то по другому, — добавил рамочник, — а впрочем, Бог его знает»...

Я навел в адресном столе справку о месте жительства А. Лабзина. В самом деле, теперь в Петербурге не было ни одного человека с такой фамилией.

Александр Измайлов

ХИРОМАНТИК

I

В первый раз я услышал о нем от своей квартирной хозяйки.

— Так что, говорит, сударь, вы бы сходили к этому человеку. Не пожалели бы. Необыкновенный человек, можно сказать. Он по вашей руке, что по книге, всю вашу судьбу прочитает. Далеко-то оно далеко, в Измайловском полку, — да уж полдня не расчет, а довольны останетесь. Одно слово — хиромантия. Живет он, собственно, под тем видом, как настройщик. Ну, вот по фортульянной части. И во двор как войдете, на угле дома действительно дощечку с рукой увидаете — «настройщик, мол, такой-то». Но только это все для блезиру, — иначе, само собой, его бы давно из Петербурга выслали. А я бы вам и карточку от него раздобыла; знакомая у меня такая есть, ей это все равно, что наплевать, с улицы же он не всякого примет, — рекомендации требует. Как его дверь разыщете, так три раза в звонок ударите, а он уж смыслит. И сразу на него не набрасывайтесь, а дайте ему осмотреться. «Нам, мол, настройщик нужен, и нам вас рекомендовали», — а тем временем его карточку-то ему в руки. Тогда он вас к себе в коморку попросит и, ежели никого нету, так прямо вами и займется. Когда вашу руку смотреть станет, вы ему вопросами не мешайте, — очень он этого не любит, — а только слушайте, и, ежели когда он вам про прошлое говорить начнет, вас страх охватит, — вы этого ему не показывайте и виду. Как все скажет, — тогда его переспросите, чего не поняли, и он без сердцов вам на все даст объяснение. А когда встанет, это значит, пора вам его оставить, и тут он вам две маленькие копилочки незаметно на стол поставит, — на одной надпись «на нищих», а на другой ничего не написано. В первую вы что хотите положите, хоть гривенничек, ну, а ему меньше целкового вам неловко, потому он сразу увидит, что к нему за человек при-

шел. Коли не понравится, вы ему, конечно, можете и меньше, он в это время отвернется и нарочно покажет вид, что на вас не смотрит, а только думаю я, что он на вас потрафит, потому все от него выходят встревоженные и раздумчивые. И еще надо вам сказать, что, ежели у вас на руке что-нибудь очень печальное выходит, так он вам этого не скажет, чтобы человека не расстраивать, но просто предупредит, что предстоит вам нечто неприятное и молиться посоветует...

Все это было любопытно, а времена подходили праздничные, и можно было не пренебречь таким развлечением. Поблагодарил я хозяйку за ее предупредительность и говорю:

— Вы это очень мило рассказываете, и я бы вашему настройщику охотно принес дань своего суеверия. Как будет случай, не откажите мне в самом деле в его карточке и адреске.

— Для вас, сударь, я готова всякую услугу сделать...

Мы достаточно курьезно раскланялись, и я остался в ожидании любопытной аудиенции.

II

В начале двадцатого века рискует показаться смешным тот, кто решился бы признаться в своем доверии к хиромантии. После этих строк, может быть, не один читатель перестанет интересоваться дальнейшим содержанием моего рассказа. Но я говорю не столько о хиромантии, как существующей и применяемой ветви таинственного знания, сколько о возможности научного подхода к этой области, испокон веков темной, загадочной и окруженной туманом сокровенного ведения. Точнее, речь идет о возможности не хиромантии, как искусства *гадания* по руке, но о правах на внимание *хирогномии*, как науки определения человека, его характера, склонностей и в общих чертах его психологического прошлого по его руке. Нет сомнения, что в действиях

людей, промышляющих этим делом, бездна бесцеремоннейшего и наглого шарлатанства. Нет спора, что в так называемых научных трактатах по хиромантии, от старинных латинских фолиантов, созданных главным образом мистикой средних веков, до новейших исследований, особенно значительных у французов, включительно до широко популярных Д'Арпантенни или Дебарролей, — множество вздора и ненаучных, немотивированных положений. Но в этих грудах шелухи и мякины не сохранилось ли зерно настоящего знания? Не завалены ли этим ненужным балластом семена незаурядной наблюдательности и плоды огромного жизненного опыта вдумчивых и пытливых людей, посвятивших целую жизнь этому делу? Не нужно ли только самому обладать зорким глазом, чтобы в грудах угля и пепла уловить едва заметное мерцание огонька таинственного познания?

В сущности, это далеко не так глупо, как кажется с первого взгляда. Бальзаку, вероятно, никто не отказал бы ни в свежести и ясности ума, ни в огромной житейской опытности. А меж тем, он был горячо убежденным адептом хирогномии, и в его сочинениях вы найдете неоднократные признания в этой вере. Кто будет отрицать, что лицо есть отражение всего человека со всем его темпераментом и со всем прошлым? Пережитое безумие не читается ли в глазах человека, вышедшего из сумасшедшего дома и вернувшегося к счастью обладания трезвой мыслью? Не угадываем ли мы предстоящее помешательство за несколько лет по выражению глаз? Надвигающийся тяжелый недуг, задолго до наступления, не налагает ли печати на человека?

III

Почему наряду с лицом не быть таким же зеркалом руке, интеллигентнейшему человеческому органу? Рука — исполнительница воли мозга и рабыня мысли. Когда человеку изменяет слово, она является его заместительницей, и

жест выражает желания и мысли. По почерку с несомненностью определяется характер пишущего. И чем объясняется общность линий руки у людей однородного душевного склада, однородной профессии, одной добродетели и одного греха? Так называемый обруч на жизненной линии почему можно рассмотреть на руке каждого убийцы? Почему французские хирогномисты, исследовавшие руки Шиллеров, Гете, Дюма, Ожье, Ламартинов, Гюго, Прудонов и т. д., были поражены странным развитием у всех холма Аполлона (*Mons Solis*) и глубиной Аполлоновой линии (бутор и линия под указательным пальцем), говорящих о природном предрасположении к искусствам и поэзии, о гениальности и таланте, а руки Бисмарков и Чемберленов развитием Сатурна одинаково говорят о черте, которую хиромантия называет «наглостью желаний» и наблюдает у всех людей власти, силы, крови и железа? Чем объяснить такие случаи, как хотя бы предсказания известного хирогномиста Чейро, сделавшего недавно слепки с рук обитателей одного сумасшедшего дома в Иллинойсе и по ним с безошибочной точностью определившего, кто из них покончит с собой самоубийством, кто в безумии совершил преступление, кто выздоровеет, кто по выздоровлении снова вернется в окаянные стены больничного каземата?

Физиология утверждает, что линии на ладони — не результат механических движений руки, а отпечаток психической жизни. У новорожденного ребенка можно уже рассмотреть с поразительной ясностью начертанную сеть линий. У изнеженной интеллигентной женщины, с широко развитой умственной жизнью, ладонь испещрена гораздо большим количеством линий, чем у труженика-чернорабочего, рука которого никогда не разгибается во время целодневной физической работы. Как бы посредством электрического тока жизнь мозга находит отголосок в нервах руки (пачиниевы атомы). Чем сложнее эта духовная жизнь, тем запутаннее сеть линий руки. Ладонь делается горячей во время лихорадки, когда пылает мозг. Она суха у страдающих сухоткой. Если крупные потрясения организма, — болезнь, печаль, ужас, — оставляют печать на человеке, изме-

няя его лицо, проводя морщины на лбу, превращая в одну ночь его волосы в седые, — может ли рука, непосредственно сообщенная с мозгом, оставаться безучастной к психической жизни человека? Самое плотное тело изменяет свою форму под вечным давлением.

В Риме, в соборе Петра, каменные ступени стерты ногами ползающих на коленях пилигримов. Следы их лобзаний видны на бронзовых ногах апостольских статуй... Нежели вечное отражение жизни души на руке не оставляет никакого внешнего отпечатка, по которому человек опыта и наблюдения мог бы восстановить прошлое и, может быть, предугадать будущее?..

IV

Но это, может быть, скучно, и похоже не на рассказ, а на лекцию, да, наконец, выводы из нескольких специальных книг трудно уложить в сотню беглых строк. Кто интересуется мистикой руки, если захочет, найдет эти книги. Мне остается вернуться к рассказу.

Скорее, чем я думал, через какие-нибудь три-четыре дня, в моих руках уже была засаленная и достаточно обтершаяся по углам визитная карточка, на которой убогим и избитым шрифтом были напечатаны всего три слова:

— «Антиох Паганако, настройщик», — а внизу виднелись следы уже стирающегося карандаша — «Измайловский полк, 12-я рота, д. 16».

Передала мне моя хозяйка карточку и наставляет:

— Вы, сударь, в долгий ящик дела бы не откладывали, потому теперь наступят праздники, и у него сенокос начнется. Видимо-невидимо народу нахлынет, и вам тогда долго своего череду ждать придется. Да и он уж не так будет внимателен. И еще забыла вам сказать, — раньше шести вечера к нему не ездите и субботу пропустите, — по субботам он шабашит и никого не принимает.

В день поездки я случайно побывал у одних своих родственников. Смеясь, я рассказал здесь о предстоящем развлечении, и одна из моих двоюродных сестер, с которой мы водили особенную дружбу, сильно этим заинтересовалась.

— Ах, говорит, как это любопытно! А ты меня с собой взять не можешь?

— Отчего же, Вера? Я думаю, можно. Карточка у меня с собой.

Взглянула она на карточку.

— Какая, — говорит, — противная. Неприятно в руки взять. И какая странная фамилия! Что он, грек или армянин? Па-га-на-ко! Точно от корня — «поганый».

— Не знаю, — отвечаю, — армянин или грек, а только моя хозяйка говорит: «одно слово — хиромантик». Надо поехать. И знаешь что, — представимся ему, как муж с женой. Это смешнее...

Она расхохоталась, надела себе тут же для пущей видимости обручальное кольцо своей сестры, а мне своего брата и — мы поехали в двенадцатую роту.

V

...Я этих мест не люблю. Никогда в них живать не случалось и, должно быть, поэтому, когда сюда попадешь, чувствуешь какую-то нервную подавленность неизвестностью места. Камень и кирпич, отсутствие деревца, хотя бы огленилого, в небе черные змеи фабричного дыма, заводские трубы, как чьи-то предостерегающие, поднятые персты, чернеющие в морозном сумраке, и хмурые, постыло-казенные громады казарм...

Теперь улицы поразрослись, почистились, а тогда все это выглядело как-то убого и безжизненно. Человек, бьющий на мистические слабости себе подобных, не мог бы подыскать лучшего местопребывания. У 12-й роты мы отпустили извозчика и пошли пешком. Я был предупрежден, что Паганако избегает популярности и даже уклоняется от

бесед с посетителями, подъехавшими к нему на ваньке.

Вот и 16-й номер. Все, как говорили. Убогий, точно вдавленный в землю домишко с мелкими, подслеповатыми окнами нижнего этажа, похожего на подвал. Такое впечатление, что — приехал бы часом позже, — эти окна совсем бы ушли в землю. Сбоку узкая калиточка с кирпичом на блоке, и во дворе, сразу за нею, действительно дощечка — «настройщик». Фонарь бросает во двор слабую полосу света, и в ней можно разобрать на стене дощечку и указующий перст, как водится, вывихнутый. Вот и войлочная дверь с набитой на ней такой же, как у меня в руках, карточкой. Признаться ли, — моя рука дрогнула, когда я трижды потянул ручку звонка. Противно задребезжал звонок, — так и вспомнилась сцена, где в такой же звонок звонит Раскольников пред дверью ростовщицы. Обычная нервность, что ли, или незнакомое место так настроило, но только сердце бьется беспокойно, и в душе какое-то странное ощущение не столько страха, сколько гнущения и отвращения к чему-то еще даже и не виденному...

Через минуту за дверью что-то стукнуло. Зазвенела скоба.

— Антиоха Паганако можно видеть?

— Я и есть. Войдите.

VI

Отвратительный трескучий голос и отвратительная фигура! Гном. Маленький и хромоногий, с белым, блестящим старческим лицом скопческого типа. На глазах выпуклые дымчатые очки, в фокусе которых сверкает блик света от висящей на стене и коптящей маленькой керосиновой лампочки, и этот блик совершенно скрывает направление его взгляда. Чудится, будто эти сверкающие точки — огоньки его собственных глаз, и что он глазами смеется в то время, как все его лицо серьезно и сложилось в пренебрежительные складки. На очевидно, выбритой голове — феска-скуфееч-

ка из коричневой шерстяной материи, и сухое тело облечено в худенький, порыжевший пиджак и зеленый шарф на шее. По тому, что он застегивается и оправляет шарф, похоже на то, что он был в «неглиже» и для нас специально примундирился и шарф накинул.

Протягиваю ему его карточку и говорю, что нам его рекомендовали, но он в ту же минуту карточку мне возвращает обратно и говорит:

— Знаю, знаю, — разденьтесь, пожалуйста, и — благоволите сюда.

И сам прошел в соседнюю комнатку, куда следом за ним, сняв шубы, вступили и мы.

Комната крошечная и, надо сказать правду, без всякого расчета на сценический эффект. Каких бы здесь можно было навешать крокодилов, чучел сов и летучих мышей, настраивающих картин и всякой банальной, но производящей впечатление бутафории чародейства. Ничего подобного, а вместо этого совершенно заурядная обстановка шаблонной мещанской комнаты, — разнокалиберные стулья, претерпевший клеенчатый диван, потрескавшийся комод. Единственная картинка на стене — какая-то старинная, в листок *in octavo*, пожелтевшая гравюрка, прикрепленная к стене просто четырьмя булавками и изображающая нечто достаточно сумбурное, — какого-то голого старца с крыльями и косой, опершегося на локоть и прислонившегося к земному шару, над которым парит ангел, указующий вперед, ввысь, пылающим факелом. Аллегория во вкусе тех, которые любили масоны и которых немало рассеяно в старых мистических книжках двадцатых годов.

Старик прошел еще дальше, оставив нас наедине. Видимо, эта комната служила приемной. Мы сели. И опять чувство какого-то омерзения ко всему, — и к продранному, точно липкому дивану, и к аллегорической картинке, и к душному воздуху комнаты, в которой точно только что накурили чем-то приторным и слашавым, — поднялось и стало растя в душе.

Мы просидели минуты три и уже начали переглядываться не без недоумения. Но вот старик, ковыляя, вышел

из своего кабинетика, подошел ко мне и положил передо мной разогнутую старинную книжку.

— Пока благоволите почитать, а вы (он протянул руку к моей спутнице) пожалуйте.

Сестра замялась.

— Но у нас нет секретов. Мы муж и жена. Может быть, можно вместе?

— Нет уж, я попрошу особо. Супруг ваш подождет. Вы не бойтесь. (Он скривил рот в противную усмешку.) Если хотите, мы и двери не закроем...

Она кивнула ему в знак согласия и вместе с ним скрылась в соседней конурке.

VII

Прежде, чем начать чтение страницы, отмеченной большим красным крестом вверху, я взглянул на первый лист книги. Это был третий том знаменитого сочинения Эккардтсгаузена «Ключ к таинствам природы». Книга эта, изданная в 1804 году — очень большая библиографическая редкость. Чуть ли она в свое время не была сожжена, и у антиквариев считается *albo sorvo gagior**. У них она чуть ли не ходячий пример редкости и всегда предмет большого похвaledния, если к кому ее занесет случай. Вверху страницы стояло напечатанное вразрядку — «Глава, которую трижды прочесть должно».

Я начал читать, с трудом сосредоточиваясь и улавливая сокровенные цели старика. Случайно он занял этим мой ум или к чему-нибудь меня подготовляет? В главе говорилось о необходимости высокой осторожности в деле испытания мистики природы.

— «Нет ничего опаснее, как заниматься мистическими науками и ничего труднее, как не впасть при том в сумасбродство... Тысячи людей доведены были мистикой до умо-

* Более редкой, чем белый ворон (*Прим. авт.*).

исступления... Не праздность, но истинная деятельность любви есть наше назначение... Не должно забывать, что сила воображения имеет над человеком больше силы, нежели разум, и потому легко может его уродовать... Испытывать сокровенное с терпением есть упражнение разумного. Попускать себя увлекать мечтам есть свойство безумца...»

Что же это, — слегка, но чувствительно этот Терсит из 12-й роты сечет праздного интеллигента, который от нечего делать сиится подсматривать от века утаенные таинства природы, к которым подходит с священным трепетом и благоговением мистик 18-го века, — или, наоборот, он верит в напряженность моей мистической пытливости и лишь предупреждает меня от крайности?

Я читал настолько тяжело и медленно, что едва успел кончить растянувшуюся на шесть небольших листков главу любопытной книги к тому времени, как у дверей старицкого кабинетика показалась и Вера, и хиромантик. Мельком я увидел ее побледневшее и совершенно серьезное лицо и перевел взгляд на сверкающие точки в очках ее спутника.

— Теперь попрошу вас.

VIII

В кабинетике — то же отсутствие атрибутов чародейского ремесла, но много книг, производящих действительно импонирующее впечатление. Перед ним на столе в углу разогнутая еврейская библия, которую, может быть, он до нашего прихода читал и отодвинул, а теперь он сидит у простого, покрытого черной kleenкой стола и нервно перебирает странички небольшой рукописной тетрадки с закрутившимися и скатавшимися уголками, письмо в которой, очевидно, не русское, а не то греческая вязь, не то еврейский усатый штрих.

Теперь он сидел не против огня, и сквозь мутное стекло его очков я видел его умный взгляд, пытливый и чуткий,

скрывающий много наблюдательности и, может быть, еще больше проницательности. Лицо несомненного восточно-го склада носило отпечаток энергии и ума, но известковая белизна и блеск лба производили отталкивающее впечат-ление, точно это был не живой человек, а восковая фигура.

— Сполосните руки... Вот здесь... Оботрите платком... Позвольте левую. Покойная ладонь. Рука удовольствия. Кри-вая линия жизни — берегите здоровье... И разорванная, — лет в двадцать перенесли болезнь, едва не стоившую жиз-ни... Берегитесь сорокового... Орел на головной линии — потеря глаза в старости... Полукруглая линия печени — склонны к предчувствиям. Кольцо Венеры разорвано, и ост-ров на Юпитеровой линии — бурное прошлое... Крест на Юпитере — супружество по любви... Испорчен Марс — не-воздержны и запальчивы... Луна царит на воде... Один... Два... Три несчастных знака, — бойтесь воды... Раз уже то-нули... тринадцати-четырнадцати лет... Можете не бояться железа, тюрьмы и эшафота... Крест на Сатурне — мисти-цизм и, может быть, гибельный... Избегайте женщин с влаж-ными руками... Две сестры, у головной линии — к сча-стью... И *soror vitalis*... Сестра у жизненной линии... Много друзей... Запомните две вещи — сороковой год и — луна ца-рит на воде... Размышляйте над сказанным и обращайтесь ва-ши роковые знаки в счастливые предопределения... Нет ни-чего непреложного. Кресты печали обращаются в звезды ра-дости. Только согласуйте жизнь с тем, что предуказывает природа. *Homo sapiens dominabitur astris*... И если угодно, уделите нечто от своих избытков бедным.

Передо мной звякнула копилочка с надписью: «на ни-щих». Я опустил в нее приготовленный полтинник и потя-нулся с рублем к другой копилке, стоявшей на подоконни-ке. Старик отвернулся, сделал шаг к двери, прикрыл ее и, понизив голос, сказал:

— Ваша спутница... Я ей не сказал... Но у нее ясный крест на конце линии жизни... *Signum mortis*... Крест смер-ти... Не пугайте ее, но блюдите осторожность... Если эта неде-ля пройдет, — пусть боится следующего седьмого года...

Как подобает любезному хозяину, он, ковыляя, проводил нас до вешалки, подождал, пока мы оделись, и глядя уже на одевшуюся Веру, улыбнулся и сказал:

— А по вашей руке я бы ошибся... Я бы сказал, что вы не замужем... Иногда и Гомер дремлет, — и хиромантия ошибается...

IX

Я вышел из конуры Паганако в полном недоумении. Черт возьми, кто же он, — мудрец, чутким глазом подсматревший сокровенное, или наглый шарлатан, которому пустьк отравить человеческую душу тоской ожидания смерти? Но в таком случае, как же он безошибочно бьет как раз в нужные точки, и откуда ему известно, что ятонул, что я в двадцать лет умирал, что мне грозит слепота, которую мне так дружно суютят и люди науки? Спрашиваю свою спутницу:

— Ну, что скажешь?

— Представь, — отвечает, — я никак не могу разобраться. Много он сказал мне правды, иного я и сама о себе не знаю, но он меня расстроил тем, что велел эту неделю молиться. «Только эту неделю! Молитесь, чтобы миновала напасть». И испугал меня тем, что по какой-то линии нашел, будто у меня на веку будут три удара в голову. «Два уж, — говорит, — были, а от третьего помрете». И еще —«отсчитайте себе шесть лет и бойтесь седьмого». Знаешь, какая странность, — у меня в детстве действительно была расшиблена голова. Подбежала под раскачавшиеся качели — «меня, меня!» — и от удара так и легла пластом без сознания. А тебе что сказал?

— А мне, — смеюсь, — не легче: ослепну на один глаз и помру от гибельного мистицизма. Однако, странно, что он угадал в тебе незамужнюю!

В этот день я проехал в эту родную семью. От впечатлений визита память долго не могла отделяться и в особен-

ности еще из-за одной частности. Рассказала Вера в семье про свои удары и отмечает верность замечания.

— Только, — говорит, — в счете ошибся, — не два, а один.

А ее мать ее поправляет:

— А ведь, если хочешь, Верочка, то и действительно два. Когда тебе было лет пять, тебе делали трудную операцию над ухом. И думали, что уж тебя не отходим. Это так старо, что ты об этом и сама забыла...

Пришлось опять удивиться, но еще больше удивился я дня через три, получив от Вериной сестры письмо. «Над нашей семьей едва не пронеслось ужасающее несчастье. Вчера Верочка ехала на извозчике и, несмотря на ее предупреждения, негодяй помчал лошадь вперед конек и вывалил бедняжку под самые ноги лошадей. Каким-то чудом удалось остановить их. Уж одна копытом измяла ридикюль, что был у ней в руке. Представь ужас, если бы несчастье совершилось! Она нервно потрясена, но это пустяки перед тем, что могло быть...»

Прочитал я и отер пот, выступивший на лбу. Типун бы тебе на язык, хромоногий маг из двенадцатой роты!..

X

Может быть, это странно и неправдоподобно, но через шесть лет сестра Вера умерла, и умерла, разбив голову об острую тумбу, поскользнувшись в гололедицу. Если хотите, все это ряд простых случайностей, сложившихся удивительно выгодно для колченого «настройщика», который сам, может быть, удивился и засмеялся бы, узнав, что он так правдоподобно налгал. Жизнь иногда прихотливее всякой выдумки, нелепа и забавна и играет в руку шарлатанам.

Трагический случай с двоюродной сестрой, конечно, оживил впечатления нашей поездки к Паганако. Вдвоем с одним приятелем мы снова съездили в Измайловский полк. Было любопытно, что сказал бы мне Паганако теперь, разу-

меется, позабыв то, что говорил шесть лет назад. Но мне не суждено было удовлетворить свое любопытство. Было поздно. За шесть лет утекает много воды. Даже убогого домишко Паганако не было следа. Приблизительно на его месте вырос питейный дом. На улице было шумно. Где ютился старый мистик, развертывались сцены живой действительности, которые, впрочем, никак нельзя было бы назвать *трезво реальными*...

Александр Измайлова

ODOR MORTIS

(Запах смерти)

...Говорили о русских мистиках и демономанах и, так как дело было почти сплошь в литературной компании, то естественно вспомнили Лескова, знатока и ценителя мистики, и Тургенева, который всю свою жизнь был западником, жаловался, что его оклеветали перед русской молодежью в отсталости и, однако же, на закате, точно что с ним сталоось, почувствовал интерес к таинственному и внес свой очень значительный вклад в область русского мистического рассказа. Кто-то вспомнил о гиппократовом виде, о печати смерти, о которой, между прочим, идет речь в одной из любопытных лесковских новелл, и припомнил нечто по этому поводу и из своего опыта. Когда он кончил, хозяин дома, седеющий литератор, попросил нашего внимания и осведомился, все ли мы слышали, что наряду с гиппократовым видом — *facies hypocratica* — есть еще иной способ распознавания человека, к которому приближается смерть.

— А именно? — осведомились мы.

— Вам ничего не известно про так называемый *odor mortis*?

Латинский термин мы, последние морикане классицизма, конечно, перевели, но о «запахе смерти», как предшественнике человеческого конца, оказывалось, действитель но никто из нас не слышал.

— Именем *odor mortis*, — пояснил литератор, — медицина обозначает запах смерти, который некоторые, исключительно чуткие люди, от природы одаренные особым чувством, слышат там, где должно вскоре въявь для всех повеять дыхание смерти. И так как это не есть научное положение, а всего лишь медицинская традиция, стоящая на грани знания и предрассудка и «по курсу» не полагающаяся, то поэтому и среди медиков нетрудно встретить людей, которые про *odor mortis* даже не слышали, или и слышали, но слух этот отмечают, как суеверие. На научную устойчивость этому исключительному явлению претендовать, конечно, и не приходится, но внимания, может быть, оно заслуживает, как заслуживают его те явления прозрений, предчувствий и ясновидения, которые несомненны, хотя и совершенно не поддаются подведению их под железные рам-

ки строгих жрецов науки, в которые они усиливаются замкнуть все мироздание со всеми его странностями и тайнами.

— Это что-то очень любопытное и таинственное, — прошептала литературная дама, слегка зажмуриваясь и половчее усаживаясь на кушетке. — «Есть многое в природе...»

— Да, это любопытно и таинственно, — согласился хозяин, — и лишний раз доказывает, что действительно «есть многое в природе, друг Горацио». Но так как вы, господа, конечно, заметили, что к этой фразе прибегают обыкновенно перед тем, как сказать глупость или наврать с три короба, то лучше было бы нам тени Гамлета не тревожить. Итак, я продолжаю.

Таинственная способность предугадывать, о которой я говорю, конечно, необычна и исключительна; однако, когда одно из иностранных медицинских изданий предприняло по этому поводу опрос врачей, фельдшеров, сиделок и т. п. лиц, могущих быть осведомленными в деле, — в результате получился очень значительный процент положительных показаний. *Odor mortis* был ведом многим, и сообщения оказались чрезвычайно любопытными. Среди врачебного персонала нашлись люди, которые прямо засвидетельствовали, что если их визиты к больным не давали им безусловных мистических уверений в том, что пациент победит болезнь, то наряду с этим, по известным обонятельным впечатлениям, они во многих случаях с поразительной несомненностью могли предсказывать за несколько дней до смерти больного, что за его плечами уже стоит и его каравлит смерть, холодная и неизбежная. «Когда я слышу этот запах, повергающий меня в глубокое уныние, — писал один из выдающихся медиков, — я всегда спешу созвать консилиум и, однако, не было случая, чтобы я не оказался дурным пророком».

Одна сиделка рассказала тяжелый случай, которого она была свидетельницей. Ординатор больницы, служивший вместе с нею и обладавший один из всего больничного персонала таинственной способностью, сам тяжело заболел. Однажды, проснувшись ночью, с ужасом почувствовал он

в своей комнате, где лежал одинокий, — особенный, характерный запах, значение которого, к сожалению, слишком хорошо понимал. Трепещущей рукой позвонил он сиделку.

— «У меня, сестра, странное ощущение. Мне кажется, что в моей комнате какой-то особенный, неприятный запах. Не правда ли, я ошибаюсь? Кажется, комнату сегодня проветривали?» — «Да, доктор, проветривали, но тем страннее, что вы правы... Знаете, это тот запах, который мы оба с вами уловили, когда умирал ваш двоюродный брат...»

Сиделка писала в своем показании, что она спохватилась лишь тогда, когда сказала эти слова и завидела необычайную бледность, какая вдруг залила лицо больного, почувствовавшего весь ужас своего приговора к смерти. Но было уже поздно. Доктор слишком обладал ясностью сознания и заговаривать его успокоительными речами было бесполезно. Обычная мистическая чуткость не обманула его и на этот раз. Через два дня он действительно умер...

— Это становится очень интересно! — восхлинула та же дама, имевшая милое обыкновение перебивать на самом интересном месте. — Но это совсем выходит точно подготовленная лекция и вы — точно профессор.

— Благодарю вас за поощрение, — иронически раскланялся рассказчик. — Но, правду сказать, я этим вопросом специально интересовался и, что было можно, — читал. Натолкнуло же меня на это одно жизненное обстоятельство, благодаря которому я сам имел возможность убедиться, что эта странная способность действительно некоторым присуща...

И так как было видно, что наш хозяин не прочь рассказать нам об этом жизненном обстоятельстве и глазами как бы просит у нас внимания, то мы, не дожидаясь его вопроса, в несколько голосов заявили:

— Мы вас слушаем.

II

— Судьба, господа, бросила меня на север, — начал рас-

сказчик, — но, вероятно, вы знаете, что я родом южанин. На юге все мои симпатии, все воспоминания, вся молодость. Даже теперь: серебро в волосах, а все туда тянет. А в те поры, лет двадцать назад, бывало, каждое лето не можешь утерпеть, чтобы не побывать под родными тополями. Тянет, и только и ждешь повода, как бы с хмурого и холодного севера махнуть под милое черниговское небо. У меня там была вся родня, и в городке чуть ли не каждая собака меня знала. Как-то не ездил я на родину года три, и вдруг по зиме получаю письмо от зятя: «Кланяются тебе тот-то и тот-то, а у меня событие. Выдаю Иреночку замуж. Угадай, за кого? — а впрочем, — пишет, — никогда не угадаешь, — за Неулыбина. Рождественский пост скоротаем, а там честным цирком и за свадебку. Приезжай, порадуй племянницу, об этом тебя и сама она просит». А внизу, действительно, приписка Иреночки — какой-то влюбленный вздор, в котором свежий человек ногу сломит: и сама-то она своему счастью не верит, и жених-то у нее — краса, природы совершенство, и тебя, мол, дядя, люблю без памяти, и приезжай непременно и т. д., — словом, такой стиль, от которого холостяка, хотя бы и всего лишь двадцативосьмилетнего, в жар бросает...

Как прочитал я, так в ту же минуту и решил — еду. Землетрясение не помешает! Кругом зима, за окном метелица, на стеклах мороз расписал узоры, а у меня в душе при мысли об Иреночке весной повеяло. Боже мой, да давно ли она была ребенком и бегала в коротеньком платьице, и ее любимым занятием было врасплох для меня поймать мою руку и стащить с моего пальца кольцо своей бессильной ручонкой! И вот уже невеста! Как страшно мчится время, и что же делается с нами, если дети вдруг обращаются в взрослых!

И как я вспомнил Иреночку, так сейчас передо мной предстала и вся атмосфера ее дома. У Иреночки три сестры-красавицы, и еще лет пять назад все они, кроме старшей, были барышнями, и в маленький домик Смысловых, заслоненный малороссийскими тополями, бывало, что ни вечер, как мотыльки на огонек, собирается молодежь, и

звенит рояль и смех, и разговоры, а вечер, тихий и темный, незаметно подкрался, и в окна ползет нежащая и томящая теплота... Всегда у них было весело, шумно, людно; пожилые чувствовали себя здесь моложе, и в доме царила атмосфера вечной влюбленности. Выходила замуж одна барышня, оставались другие, и жизнь по-прежнему кружилась колесом, и были те же горелки, серенады, поздние вечера, таинственные пары в саду и огонь перекрестных острот и шуток. Бывают такие благословенные семьи. На моих глазах уходили сестры и вили свои гнезда и, однако, и после замужества они обыкновенно оставались как-то особенно верны дому. Устраивались они тут же, в городе, и только с положения хозяек переходили на положение постоянных гостей.

Потянуло меня туда необыкновенно. Что там теперь, когда одна Иреночка хозяйничает, да уж и та заневестилась? Не подходит ли конец царству веселья в уютном смысловском доме? Грустно, а ведь, пожалуй, упорхнет от стариков шаловливая радость вместе с последней дочкой, которую я три года назад покинул еще совсем девочкой-вострушкой.

Жениха Иреночки Неулыбина я тоже хорошо знал. Он был младше меня курсом по киевскому университету, и когда-то мы были с ним настолько близки, что даже установили между собой *ты*. Натура это была даровитая и незаурядная, и в студенческие годы весь он сводился к каким-то для непривычного к нему человека странным порывам и мечтаниям. То вдруг в какую-нибудь отрасль науки ударится и все остальное швырнет в сторону, — и лекции забросит, и в университет по неделям не кажет носа, то увлечется скрипкой, то засядет дома и пишет повесть. Сегодня от него уходишь, — он весь полон гражданских чувств, читает наизусть Некрасова, и на глазах у него слезы, а через неделю приходишь, — он весь в глине и лепит Рубинштейна или Сократа. А там глядишь — подошла полоса мистицизма, — и он сидит с утра до вечера за латинской галиматей какого-нибудь Преториуса и сilitся проникнуть в тайны хиромантии. К слову сказать, эта мистическая жилка в нем билась сильно, засев прочнее скрипок и скульптурных тяготений,

и бывало, если наедет в город какой-нибудь «хиромантик с дозволения начальства» или что-либо в этом роде, Сергей один из первых ему визит наносит — «с научными», как он выражался, целями.

По окончании курса и возвращении в родной город, мы как-то вдруг охладели друг к другу. Бог знает, почему это сряду и сплошь случается, по-видимому, без всякой причины. Точно отскочили какие-то шестеренки, которыми люди друг друга затрагивали, и ослабела сила притяжения. Обстоятельства не поддержали распадающейся близости. Он остался в городке, заняв должность учителя в местной гимназии, я же променял родные места на чужбину и вы, конечно, знаете старую истину: «Уж тот скажи любви конец, кто на два года в даль уедет...»

Но, во всяком случае, чувства у меня к нему сохранились дружеские и, откровенно говоря, ни разу сожаления за Иреночку не шевельнулись в моей душе. Пошли им Бог совет да любовь! Лучшего не хочу и не знаю. Такой сумеет полюбить, а полюбит — зря не разлюбит.

Надо вам прибавить, что в дни сближения я был моим другом посвящен во многое и знал, что в отношениях к женщине он был всегда благороден и, если позовите так выразиться, — рыцарствен...

III

Литераторство, как вам известно, имеет свои тяготы, но и свои выгоды. Не всегда сыйт, зато всегда волен, как птица. Дня через два по получении известия я уже сидел в вагоне 3-го класса, интервьюировал, чтоб не терять времени, мушечков-соседей и считал остающиеся станции до С. Тридцать, двадцать, десять... а вот и знакомый остроконечный купол подгородной монастырской церкви!..

Изменилась Иреночка, выросла, похорошела. Что же, господа, может быть лучше девушки-невесты, которая любит и счастлива, и сама своего девственного счастья стыдится!

Все домашние на нее смотрят, не налюбуются, и она действительно прекрасна в своем молодом чувстве и неведении своей обаятельности. И я как увидел ее, не смог скрыть восторга. Смотрю и думаю: вот про кого воистину можно сказать, как сказано в библии про Авессалома, — от ног до последнего волоска на голове нет в ней недостатка! Бросилась на шею, смеется.

— Поздравь меня, дядя. О, кабы ты знал, как я счастлива!

— Уж будто так, дорогая? Не преувеличиваешь ли ты?

— Ах, милый дядя, моего счастья ни в сказке сказать, ни первом описать.

И дальше, что ни слово — все о своем Сергееве Владимировиче. Как испорченная шарманка, что ни начнет, все свидет на «Стрелочка», так и у нее точно мысль сплошь уперлась в Неулыбина. Начнет об одном, — «а Сергей Владимирович по этому поводу сказал то-то», — и все, что ни сказал, кажется ей гениальным, умным, необыкновенным, что нужно повторять с сияющим лицом. Заговорили о комнибудь, — «а у Сергея Владимира не такое лицо, не такой голос, не такой галстук, а вот такой-то и такой-то». Увидала в прихожей калоши с буквой Н, старые калоши, и задок стоптан, — а у ней, смотришь, сердце затрепетало, как вспугнутая птица. Прекомичнейшая пора, господа, а только пошли ее Бог испытать каждой, как говорил Байрон, смотрящейся в зеркало, а нам, старикам, почаще ее со стороны наблюдать...

Я не буду передавать вам подробно, что я застал на родине. Застал, что ожидал. Это был точно последний взмах веселья в смысловском доме, и все как будто ради такого случая и из любви к Иреночке спрыснули себя живой водой. Молодежь всех калибров по-прежнему жужжит в доме, все полны радостной праздничной тревогой, возятся с костюмами и масками, друг к другу ходят показываться и, благо молоды, всякое слово рождает смех и веселье. Скажу одно: если бы не те события, которыми завершилась эта моя поездка на свадьбу, эти дни, ничем не омраченные, остались бы в моей памяти светлым оазисом...

Зима в тот год была чудная, снежная и ровная. В крещенский сочельник мы, молодежь, подбили стариков ехать на двух тройках ко всенощной в пригородный монастырь. Дорога дальняя, через весь городок; мороз щиплет щеки, ветер догоняет тройку и шаловливо заигрывает с молодежью. В тройке тепло, как в юрте, только лицу холодно встречь ветру, а смех звенит так, что даже стыдно, — точно мы не на богомолье, а на пикник едем.

На обратном пути обменялись мы для разнообразия мечтами, и мне пришлось сесть вместе с Иреночкой и Неулыбиным. От обоих пышет весельем, и оба они друг на друга не могут смотреть, не улыбаясь. Иреночку Неулыбин звал Сиреночкой, и, точно по молчаливому взаимному договору, никто уж этим именем ее не называл, чтобы не нарушать привилегии жениха.

— Сиреночка, вы сели против ветра. Садитесь на мое место. Смотрите, как он вам прическу растрепал...

— А вы меня и к ветру ревнуете?

И смеется, и кутается в свою ротонду, и прячет разгоревшееся лицо от поцелуев Морозки...

Помню, как сейчас, этот вечер и все следующие дни. Приехали мы и согрелись за чаем, и уже поздно вечером, собираюсь я идти в свой флигель. Вижу, в холодных сенцах у керосиновой лампочки стоит Иреночка с подругой. Щеки горят, на плечи легкий платок накинут.

— Все еще не спишь, стрекоза?

— О, дядя, нет, — мы еще с Катенькой гадать будем.

— Катенька-то, — говорю ей, — пусть погадает, а твоя судьба разгадана.

Она на меня, помню, шаловливым взглядом смотрит, а я ей отвечаю из Некрасова:

— «Что гадать? — ты влюблена без меры и судьбы своей ты не уйдешь. Я могу сказать и без гаданья: если сердце есть в его груди, — ждут тебя, быть может, испытанья, — но и счастье будет впереди...» И за это счастье я спокоен, Иреночка, но только напрасно ты рискуешь простудой.

— Я еще и на двор выбегу, дядя, и за воротами слушать буду «людскую мольву и конский топ».

— Вот это уж и совсем неумно.

Девушка засмеялась.

— Я, — говорит, — дядя, и так уж простудилась и поездкой простуды прибавила. Попробуй, какой у меня горячий лоб!

Приложила мой руку к своему лбу. Действительно, жарок. Но только что я вернулся к своим нравоучениям, она мне торопливо ответила:

— Сном пройдет, милый дядя.

И со смехом выпорхнула из сеней с своей подружкой.

IV

В Крещенье я с утра уехал от Смысовых, — нужно было кой с кем повидаться, — а возвратившись вечером, узнал, что Иреночка расхворалась. К чаю утром вышла она совсем больная, а за обедом даже и не показалась. Пропал аппетит, отяжелела голова, заболело горло. Нагадала себе беду. Призналась матери, что ей уж давно не по себе, и что действительно ездила она на монастырскую прогулку уже с больным горлом и дорогой чувствовала озноб, да пожертвовать таким большим удовольствием не нашла в себе силы.

— Как же, мама, ведь это такое огромное счастье!...

Напоили ее малиной и всевозможными домашними средствами и уложили в постель, окружив склянками полосканий. Послали и за домашним врачом, но он, оказалось, уехал на охоту и должен был вернуться домой только на другой день. Заглянул я на минуту к больной. Лежит, видимо, вся в жару, глаза впали и лихорадочно блестят. Тоненькая ручка лежит на одеяле — бледнее мрамора. Никогда мне этой ручки не забыть!..

— Ах, дядя, как мне плохо. Все для меня безразлично, и как мучительно стреляет в виски!..

И голос не ее — какой-то подавленный, словно охрипший. Помню, что-то я сказал ей насчет Сергея Владимиро-

вича: «Не валяйся, а то рассердится». Думаю, — улыбнется. Нет, не улыбнулась. Точно и в самом деле ей все опостылело...

Ушел я с тяжелым чувством, уступив место одной из ее сестер, вошедшей с Неулыбиным. За день устал я и, не раздеваясь, прилег слегка отдохнуть в своей комнате.

Не знаю, сколько времени прошло, но чувствую, что уже начинает меня одолевать и вот-вот сейчас одолеет дрема. Окутывает голову туман, и только где-то далеко-далеко догорает последняя искорка сознания действительности. И вдруг в этом полусне-полубодрствовании с закрытыми глазами слышу, точнее чувствую, что колыхнулась над дверью портьера, и кто-то вошел, и мне его вхождение страшно, потому что этот кто-то пришел не вовремя и что-то мне сейчас скажет ужасное и новое.

Смахнул я дрему, вскинул глаза — Неулыбин! И, еще не совсем возвратившись к действительности, спрашиваю:

— Это ты, Сергей?

— Это я.

И хоть теперь я уже не сплю, однако, никак не могу отрешиться от своего дремотного убеждения, что он мне что-то страшное скажет, и в голосе его улавливаю необычные нотки.

— Ты, Диодор, еще не спиши?

— Нет, так валяюсь. Зажги свечу и садись, — гость будешь.

Он пошарил спичку, зажег свечу, сел у стола и сжал голову руками.

— Какой ужас!..

— Что такое? про что ты говоришь, Сергей?..

— Как это бессмысленно, нелепо, несправедливо!.. Она *не должна умереть!* Этого не может быть!..

Он сделал шаг ко мне, уже поднявшемуся и севшему на постели, и взял меня за руку.

— Ты даешь мне слово, что никому из здешних не скажешь, что я тебе говорю? *Иреночка умрет.*

— Ты с ума сошел!

Я почувствовал, как мураски пробежали у меня по корням волос. Все во мне настолько протестовало против этой страшной мысли, что я вдруг ощутил в себе прилив злобы против Неулыбина и почти закричал:

— С родными так не шутят! К черту!..

Он снова взял мою руку и молчаливым движением своей руки предложил сесть к столу. Только теперь я мог рассмотреть, как он был страшно бледен. Рука, которую он положил на стол, вздрогивала в нервном трепете.

— Не оскорбляй меня. Верь, что Иреночка мне так же дорога, как и тебе. И убитого не бывают. Это ужасно, но — она умрет.

V

И здесь, господа, в этот ужасный вечер, в полумраке комнаты, слегка освещенной колеблющимся светом свечи, я впервые услышал про «odor mortis».

То, что он мне говорил, было нескладно и несвязно. Я не могу воспроизвести его речи, отрывистой и трепетной, но сумею верно передать ее сущность. Только сейчас он был у Иреночки и вышел от нее в полном уныния. Ах, этот проклятый, никогда не обманывающий запах!... Какие его свойства, — он не мог бы сказать определенно. Это что-то напоминающее сладковатую гниль, неприятную и тяжелую, — запах намоченного полотна или белого хлеба с оттенком затхлости. Он резко щекочет обоняние, внушает неопределенный страх и наполняет сердце тоской безнадежности. Когда он был еще ребенком и фельдшер-отец посыпал его вечером разносить термометры больным, — он уже тогда безошибочно указывал отцу, кто был безнадежен. Этот запах встречал его при входе в больничную палату, и по степени его напряженности у той или другой постели он угадывал кандидата смерти.

Отец звал его пророком и удивлялся странным случайностям. Но случайности были слишком часты и повторялись

с научной точностью. Он предсказывал смерть, когда были все шансы на выздоровление. Из комнат выздоравливающих больных, от своих родных и знакомых он уходил, унося в душе мучительный гнет сознания какой-то виновности. Малютку своей сестры он взял на руки совершенно здоровой и с ужасом почувствовал знакомый, не обманывающий запах, и — она умерла. В бытность в университете он не раз убеждался в том, что его странная способность в нем не исчезла.

Через Киев проезжал психиатр, всероссийская знаменитость. Неулыбин заявил к нему, рассказал о своей странности. Знаменитость заинтересовалась субъектом с «обонятельной идиосинкразией», но нашла, что это — внеученное явление, и удивилась лишь тому, что у юноши, по всем видимостям, не могло быть наследственного психоза, как основы той или иной психологической уродливости. В объяснение возможности явления психиатр сослался на существующую, но требующую аргументации теорию, что процесс трупного разложения организма, может быть, действительно начинается иногда еще при жизни, за день, за два до того, что мы называем смертью... и мирно проследовал из Киева.

Мне остается доказать немногое, и я буду краток и пре-небрегу эффектами. Неулыбин и на этот раз оказался прав. На третий день после Крещения — Иреночка умерла. Доктор, приехавший слишком поздно, констатировал дифтерит. Медицина была уже бессильна, и паралич сердца неизбежен. Я избавлю вас от тяжелых подробностей конца этой прекрасной, так пышно распускающейся жизни. С того времени двадцать раз цветли цветы и падал снег, но воспоминания эти до сих пор мучительны. Что мы пережили, легко представят каждый, потому что, — увы! — все мы богаты печальным опытом. Скажу одно: не придумать муки беспощаднее, чем мука потери родственной души в прекрасной оболочке девушки, только что расцветшей для любви и как бы созданной для того, чтобы тем, кому на земле темно, светить лучами своего счастья. Но эта мука становится адской пыткой, когда это, вчера еще прекрасное те-

ло сегодня является предметом ужаса, и от него с трепетом сторонится все живое и желающее жить...

VI

— Может быть, вам любопытно узнать, не встречался ли я с Неулыбиным после?

Нет, не встречался. Я скоро уехал из С., — там мне было слишком тяжело. Через год и Неулыбин покинул город. Он остался холостым и до смерти носил обручальное кольцо Иреночки, которое было уже заказано, но которое ей не пришлось одеть. Потом он был инспектором народных училищ и лет пять-шесть тому назад умер. Через знакомых я наводил справку об его последних днях. Мне было любопытно, — дала ли почувствовать себя на этот раз его исключительная способность? Я намекнул об этом в письме, но мне ответили незнанием. Умер он от чахотки, и скорый конец его можно было предвидеть...

За два дня до смерти он попросил перевезти себя в больницу и составил новое завещание. Может быть, он действительно уже видел смерть у своего изголовья. Но это могло быть и простой случайностью. И дай Бог! Сознание неизбежности перехода через день или два за таинственную грань земли, вероятно, было бы для него бесконечно мучительно...

Александр Измайлов

ПЬЯНЫЙ ЯД

Илл. С. Животовского



I

Вчера в 9 ч. 20 м. вечера, босой и осторожный, как дьявол, я пробрался в директорскую и в отчетной книге против своей фамилии прочитал бессмысленные слова: «Первичное сумасшествие с идеями садического бреда». Как врач, я перевел латынь, и меня сотряс внутренний смех.

В моей власти было превратить книгу в кучу лоскутков. Психически больной не устоял бы на моем месте. Но я даже не написал на этой странице «идиоты». Я только подчеркнул тут же лежавшим цветным карандашом дурацкую строку и поставил около нее три вопросительных знака. Пусть они поймут сами!

Потом я так же осторожно вернулся в свою комнату и лег на койку. А ночью, когда мне по обыкновению не спалось, я взял бумагу я написал вот это, чтобы вы судили сами, похож ли я на человека, у которого первичное сумасшествие с идеями бреда.

* * *

В дворянском гербе моего рода есть жезл, — эмблема власти, а власть, как известно, редко обходится без наси-

лия и жестокостей. Происхождение символа затерялось, но смысл ясен.

Родовая легенда рассказывает о моем деде, что однажды он вызвал на дуэль неприятного ему человека и проткнул его рапирой с тем спокойствием, с каким повар пропыкает шашлык. Мой отец был известным хирургом, руки которого не дрожали в самых рискованных операциях.

Горе тому, кто родился сыном знаменитости. Люди не простят ему этого. И не простили мне. После одной убийственной хирургической ошибки, когда мое имя пронеслось с ненавистью и насмешкой, как мне казалось, по всему миру, я поставил крест над этой карьерой и добился того, чтобы меня забыли.

Что было потом, прежде, чем поседели мои виски и я заперся в своем имении, — это к делу не относится. Если вам все-таки любопытно проследить извины моей психики, я скажу коротко. Да, здесь было многое того, что обычательский язык зовет эксцессами. Было вино, были женщины, было все, что несет жгучее и острое наслаждение или блаженство забвения. Были радужные опьянения, гашиш, опиум, морфий.

II

Я поселился в имении отца, когда все эти развлечения молодости потеряли свое очарование.

Первые дни мне показалось почти счастьем это великолепное одиночество в старой усадьбе за высокой железной решеткой с острыми пиками, среди таких спокойных, таких мудрых, таких старых дубов. Такой великолепный девственный снег лежал повсюду! Чтобы не скучать, я выписал заранее из-за границы целую библиотеку и целый физический кабинет, — все новости медицины, все последние слова химии.

Был отведен целый угол двора, для разводки кроликов. В полдень я иногда заходил сюда и сам указывал тех, кто

уже созрел для моего мраморного стола.

Вы скажете, что мои опыты были жестоки. Может быть, но не я первый додумался резать кроликов.

Впрочем, было бы неправдой сказать, что процесс вскрытия не доставлял мне удовольствия. Удовольствие было. Вы держите еще трепещущее сердце, уже отрешенное от тела, которое его живило. Все тело еще дергается в последних судорогах, но вам оно уже не интересно. Интересно это сердце, которое я могу заставить замолчать и снова заставить жить.

III

Каково было существо моих опытов? Они были разнообразны и иногда причудливы и фантастичны, как грезы старых алхимиков.

Меня интересовали все опыты так называемого оживления сердца. Но ничуть не менее занимали секреты пола, тайны оплодотворения, рождения, сна, тайны перехода жизни в смерть. Еще юношей последний вопрос увлекал меня с болезненным интересом.

Я был жесток к кроликам, но я был жесток и к самому себе. На себе, как *in anima vili*, я перепробовал все возбуждающие и усыпляющие средства. На собственном сердце я испытал гибельное и сладкое действие хлоралгидрата, и на мозговой корке чары сульфонала и гедонала. Однажды, под лошадиной дозой веронала я проспал, не пробуждаясь, 23 часа.

Было так тихо, что мир казался вымершим, когда вечерами и иногда ночью я сидел у своего мраморного стола. Во имя науки я загубил уже столько красноглазых животных, что ими можно было бы накормить французскую деревушку. Мои свиньи явно хорошили. И когда утром мой старик-лакей, очищая лабораторию, с отвращением двумя пальцами сбрасывал в корзину холодные, застывшие тру-

пики, я видел на его лице осуждение моему маньячеству и «живодерству».

Я догадывался, что говорил он, что вообще говорила обо мне моя челядь. К счастью, это меня совершенно не интересовало. У меня крепкие нервы. И у меня были крепкие замки, которые я лично осматривал на каждую ночь, и острые пики на высокой железной решетке под окнами кабинета.

IV

Я прожил год в уединении, никуда не выезжая, не отвечая на письма, когда меня увлекла волна исследований алкоголизма. Ради научных удобств, я должен был заменить кроликов собаками. В усадьбе была целая псарня. Я зашел к старому егерю и, отделив десяток добрых псов, велел отослать их ко мне.

— И с этого дня, — сказал я, — не топите щенков. По возможности, выкармливайте всех. Они понадобятся.

Человек давно сделал животное участником своих пьяных радостей. Уже книга Маккавеев в Библии свидетельствует, что в древности боевых слонов напаивали перед боем, чтобы они были смелее. Африканские негры ловят обезьян на вино и потом пьяных берут за лапу и уводят в свои деревни.

Меня заняла мысль, что может дать алкоголь в конечном итоге. Разрушение, конечно, но этому разрушению не будет ли предшествовать волшебная вспышка утонченных и обостренных сил? Разве у меня самого не было в прошлом минут, когда, под влиянием таинственного могущества алкоголя, я становился остроумным, находчивым, талантливым? Когда-то ум обезьяны преодолел какую-то грань, и на земле явился человек.

V

Люди, понимающие толк в собаках, скажут вам, что к пуделям относится все, что говорят об уме и добром нраве собак. В научных книгах вы прочтете о пуделе, пользовавшемся вставными зубами или ловившем раков для монахов какого-то французского монастыря. Но мне нужна была утонченная, рафинированная порода, уже исключительно окультуренная и стоящая на дороге к неврастении. И, я взял гончих, эту нервную, тонкую породу, умную, как человек и, как человек, злую.

И вот огромную залу, известную в усадьбе под именем второй столовой, я превратил в зверинец. Может быть, людская сочла меня сумасшедшим в тот день, когда я представил дубовый паркет, старинные зеркала и лакированные двери в распоряжение двух десятков псов. По объявлению я выписал из города бывшего фельдшера. Его лета, род занятий, привычка к крови казались мне подходящими свойствами. Когда я увидел несколько дикого, малоразговорчивого, по-видимому, озлобленного человека, прихрамывающего на одну ногу, я решительно остался им доволен.

И тогда мы начали спаивать сразу восемь собак, тех, которых было намечено спарить по весне.

VI

Не верьте басням естествоведов, что говорят о влечении животных к алкоголю. Ввести собак во вкус оказалось так трудно, что поначалу я был почти близок к отчаянию. Все без исключения они отворачивали морды от алкоголя во всяком виде с непреодолимым отвращением.

Это были еще существа вполне здоровой, деревенской крови. Они предпочитали голодать, чем съесть кусок мяса со слабым запахом спирта. Тогда я должен был принять суровые меры и взять их измором. Я заставлял их голодать,

и после они жрали все, и пили молоко, сдобренное спиртом, — с отвращением, но и с жадностью.

Спирт вызывал жестокий насморк, иногда угрожавший их жизни. Инстинктивно они бежали отпаиваться водой, но вода уже была предусмотрительно убрана. Не скрою, к наиболее упрямым я должен был применить насилие.

Вино вливали им в раскрытую пасть.



Я был свидетелем диких зверских опьянений, неистовства и распутства. Эта ошалелая, кривляющаяся, стонущая в пьяной радости собачья свора казалась сорвавшейся с жуткой картины кошмарного Гойи. Что было неотразимо, — это поразительное сходство этих пьяниц и распутников с людьми.

Они разно поддавались степени опьянения. В то время, как одни, уже сморенные сном, падали и бредили или стонали в изнеможении, другие только входили в азарт, третья плакали, четвертые смеялись. Да, да, это были настоящие плач и смех! Верхняя губа их приподнималась и морщилась, клыки оскаливались, уши прижимались кзади, на мордах появлялась гримаса, пунктуально соответствующая улыбке.

Потом передо мной проходили все степени собачьего похмелья, которое опять было чистым обезьянством человеческого. Псы ходили шатаясь, с воспаленными глазами, с опущенными хвостами, лохматые, грязные, скверные. Некоторые вздыхали буквально так, как вздыхает с похмелья человек.

Похмельных, их уже не нужно было спаивать. С жульническим видом и находчивостью истинных пьяниц, они сами вынюхивали каждый угол. И, конечно, всюду находили алкоголь. Так они вступали в заколдованный круг, и дни вертелись, как колесо, и спасения не было.

VII

Итак, если для первого поколения требовались некоторые усилия, то со вторым дело шло само собой. Это были уже наследственные алкоголики, всосавшие яд с молоком матери.

Книги говорили мне, что оплодотворение будет, но признаться, я боялся, что пересолил на первом поколении, слишком быстро споив его. Собаки не развивались, были ленивы, вялы, трусливы. У иных наблюдалось явное расстройство центральной нервной системы.

Я ждал третьего поколения с тем нетерпением, с каким глубокий старик, стоящий одной ногой в могиле, ждет внуков от любимой дочери. Казалось, все готовило мне разочарование. Были преждевременные разрешения, были смерти матерей в родах. Новорожденные оклеветали через час после появления на свет от острого малокровия или эпилепсии.

Я радостно вздохнул, когда предо мной, наконец, оказался довольно жизнеспособный щенок. Это был потомок лучших собак, когда-то побивавших рекорды и сорвавших целый ряд призов. Но, Боже мой, что осталось ему от величия предков! Я назвал его «Ульт», — первыми звуками

латинского «Ultimus», — последыш. Было ясно младенцу, что ждать потомства от такого — бессмыслие.

VIII

Это была картина полного и оскорбительного вырождения. Щенок был безобразен, как пародия на собаку, как та помесь четвероногого и жабы, какую можно увидеть среди кошмарных гадов на старинных картинах «Искушения св. Антония» или «Шабаша на Брокене».

На кривых ногах явного рахитика держался мешок тяжелого живота, глаза вечно слезились, золотушный нос сошел, асимметрия отекшей морды била в глаза. Кожи казалось слишком много для низкого вырожденского лба, и она ложилась на нем просторными складками. Иногда это давало впечатление мучительного напряжения его мозга. Чаще это было воплощенное выражение тупости, апатии и нравственной опущенности. При взгляде на Ульта вспоминался ернический тип ночного забулдыги последнего разбора из последнего квартала.

Я искал «утонченной психики», и вот чего достиг! Собака была тупа до такой степени, что привыкнуть к своему имени для нее уже было непреодолимой трудностью. Неврастения Ульта была чудовищна. При первом звуке музыки или пения он начинал плакать глухим, отвратительным воем, точно его пилили деревянной пилой. При малейшем неожиданном звуке он весь вздрагивал. И невероятную порочность его превосходила только потребность непробудного пьянства.

Насколько можно было угадывать, обычное настроение его было убийственное. Невероятный пульс отражался постоянным дрожанием всего тела. Он не находил себе места. Только опьянение сбрасывало с него этот гнет.

IX

На некоторое время Ульт всецело завладел мною. Я берег его, как берег наследника, со смертью которого ускользнет миллионное наследство. Я взял его из зверинца к себе, вел о нем точную запись, следил за его питанием.

Чем он платил мне? Пьяный яд, по-видимому, вытравил из него все чувства. Никогда я не уловил в нем малейшего проявления привязанности. Приближение мое будило в нем только подозрительность, злобу и глухое ворчанье. В его просьбах еды и питья было нахальство, но не было ни ласковости, ни благодарности.

Однажды, более притворяющийся, чем действительно пьяный, он больно хватил меня зубами за палец. Я размахнулся изо всей силы и дал ему оглушительную пощечину, отшвырнувшую его на другую сторону комнаты. Ульт заорчал с выразительностью неимоверной. Мне так явственно почувствовалось в этом ворчании: «Погоди же!..»

X

Мы смотрели друг на друга, как два врага. И вот я увидел, как морщинистая кожа на его низком лбу натянулась, глаза потемнели, вся морда получила выразительность человеческого лица, чудовищную, обжигающую ненависть к себе, — ненависть за споенного деда, за отца, за мать, за свою погибель, которую в эту минуту он сознавал, — и обещание свести счеты...

Пускай пощечиной, но я выбил искру ума из этого тупого комка мяса, и в этот день я был счастлив, как Пигмалион. Моя теория оказывалась не так уж безнадежна. И я настойчиво всматривался в эти состояния редкой трезвости Ульта.

В этой вырожденской голове работал отяжелевший, но уже утонченный мозг. Ульт, без сомнения, сознавал ужас

своего падения. Столько тоски было в этих глазах! Несколько раз я заставал его плачущим. Чистые слезы дробно катились по его короткому носу. Наука давно признала, что животные плачут. Слезы брызгают из глаз обезьяны, когда ее пугают. Если сверх силы навьючить верблюда, он вздыхает и плачет.

Я ждал предчувствий и ясновидения от Ульта, и тоже не ошибся. Несчастная собака, без всякого сомнения, страдала галлюцинациями. Сны ее, по-видимому, были сплошным кошмаром. Спящая, она стонала, скулила, подвывала, иногда просыпалась с резким вскриком.

XI

Галлюцинации обычно приурочивались к вечеру. С открытыми глазами она вдруг вскидывалась, оскаливала зубы, приседала назад и замирала, не в силах попятиться, как если бы на нее надвигался призрак. Не могу скрыть, что всякий раз этот мистический ужас Ульта всецело передавался мне. У меня железные нервы, но, почти оцепенелый, я несколько секунд прислушивался, готовый сам увидеть кого-то, вошедшего сквозь двери.

Иногда через несколько минут в самом деле где-то стучала дверь чьи-либо шаги приближались к моему кабинету, кто-то входил. Но тогда, когда настораживался Ульт, еще не было никакой возможности предвидеть этот приход. Я мог быть доволен. У моего сверх-животного было второе зрение.

Я ошибался, когда думал, что в Ульте умерло чувство. С некоторого времени я стал замечать, что он радостно бросается навстречу фельдшеру. Однажды, совсем невидимый, я случайно подслушал разговор человека и собаки. Человек ставил ему питье на ночь, собака прыгала около него, лизала ему руки.

Он похлопывал ее исыпал ласковыми ругательствами.

— Рада, сволочь! Ну не падай духом, Улька. Будет и на нашей улице праздник!..

Он буквально сказал так, — «будет и на нашей улице праздник!» Тогда я понял их заговор. Когда слуга ушел, я посмотрел и понюхал оставленное молоко. В нем не было ни одной капли алкоголя! Ни одной капли! Он меня обманывал, став на сторону собаки.

В этот вечер я вынул ящик с двумя револьверами и посадил в каждый по пяти пуль. И один я положил под подушку, другой — на письменный стол, под правую руку, и прикрыл газетой.

XII

В тот памятный вечер Ульт был годен для опытов, то есть трезв и в жестоком похмелье и тоске. Приступы галлюцинаций возвращались к нему периодически. Он был весь в тревоге и настораживался поминутно. Стоял августовский вечер. В открытое окно кабинета вливалась теплая тьма...

Около одиннадцати Ульт тревожно вскочил с хриплым лаем и бросился к двери. Словно чувствуя за нею чье-то присутствие, он ощетинился, осел и замер. Эта поза уже была запечатлена у меня десятком фотографий. Движение было настолько резко, что заставило меня вздрогнуть и просыпать на стол химическое соединение, какое я вешал на аптекарских весах. Это, наконец, раздражало. Пес вел себя так, точно в этот вечер должно было произойти что-то необычайное и трагическое!

«Глупый пес, — подумал я, вставая, — ничего не может произойти здесь, и ничто не произойдет, и, если у тебя расстроены нервы, я помогу тебе их настроить...»

И я взял дорогой гибкий жгут, с каким обычно ходил в «зверинец» и на псарню, и больно хлестнул Ульта по спине. Он взвизгнул от острой боли и отпрянул в сторону, но, к удивлению, не переменил позы и не отвел загипnotизированных глаз от двери.

В углах кабинета уже оседала тьма. Может быть, иной на моем месте испытал бы чувство жуткости. Но громким, без дрожи, голосом я сказал:

— Кто здесь?

XIII

Ответа не было. Тогда я подошел к двери, повернул ключ и сам открыл ее. За нею стоял, и, не дожидаясь зова, вошел мой фельдшер,

— Я пришел с вами переговорить...

Он сказал что-то подобное, и голос его дрожал, как голос человека, поднявшегося на седьмой этаж. Вдруг он взвизгнул: «Вы не имеете права издеваться над животным!» — значит, он слышал визг, — и я не успел мигнуть, как хлыст выскользнул из моей руки, и что-то огнем обожгло мою щеку...

Я не наблюдал его дальше, — так я был занят в ту минуту собой, и зато помню хорошо каждый свой шаг и каждое движение. Они были полны достоинства и даже красоты. Из-под газеты на столе я взял револьвер и, не целясь, выстрелил в него в уровень лица.

Помню, я нажал курок трижды и тогда подумал: «Довольно». Ибо он взмахнул рукой, как поскользнувшийся на льду, и упал. Повторяю, я действовал не в аффекте. Каждое движение мое было сознательно. Так покажу я и тогда, когда меня будут судить.

Я отвел глаза от убитого на единственного свидетеля нашей ссоры. Ульт стоял на окне и смотрел на меня глазами, полными ненависти. Миг, — и все тулowiще его взмахнуло в воздухе.

Он выбросился в окно и напоролся животом на острую пику решетки. Я утверждаю, что это был не несчастный случай, а самоубийство, не неудавшееся бегство, а сознательное характеристику, — «сухая беда».

Он не спасался от моего раздражения, он не действовал в панике, видя кровь и смерть. Один я могу это утверждать, ибо один я видел его глаза. Наука тоже признала самоубийства животных. Он хотел, чтобы я всегда вспоминал его и «каялся». Он знал, что от того, кто видел собаку на пике, побежит сон.



Потом, так же сознательно и наружно спокойно, я сел к столу, взял телеграфный бланк и написал:

«Извещаю ваше превосходительство. Во время наглого покушения я убил своего служащего выстрелом револьвера. Прошу оградить меня крестьянского самосуда»...

Александр Измайлов

ГОМУНКУЛ

(Рождественский рассказ)

I

— Вы видите пред собой человека, который, так или иначе, был однажды прикосновенен к делу рождения Гомункула.

— Ах, это должно быть очень интересно, — сказала дама с мечтательными глазами.

— Это очень страшно, профессор? — спросила другая.

— Это не очень неприлично? — обеспокоилась третья.

— Я бы попросила предварительно объяснить мне, кто это Гомункул, — сказала четвертая, очень хорошенъкая, но довольно глупенькая.

Дамы всегда говорят вчетвером, если их в комнате не больше четырех, и для светских людей нет большой трудности ответить им всем сразу.

— Это интересно, — сказал профессор. — Это не дальше от страшного, чем от смешного, и не более неприлично, чем современная беллетристика. Впрочем, это хорошо, что все здесь присутствующие замужем. Что же касается Гомункула, то для интеллигентного человека обязательно знать только то, что такого химического человечка создает доктор Вагнер в реторте во второй части «Фауста», — есть такая поэма, mesdames.

II

— Видите ли, сударыни. В средние века думали, что человека возможно создать еще и путем кристаллизации, и над этим ломали головы тогдашние химики и врачи, которым казалось мало обычного способа появления на свет.

Штопая дырки мироздания, они хотели поправить и эту маленькую ошибку природы.

Знаменитый Парацельс, о котором вы, вероятно, слышали...

— Да, я читала его сочинения! — невпопад сказала хорошенькая, но глупенькая дама.

— О, я не предполагал, что вы так хорошо владеете латынью!.. Так вот, знаменитый Парацельс исследовал этот вопрос в своей книге «О происхождении вещей» и раз чуть не отравил насмерть своего ученика, понюхавшего паров из реторты. Парацельс мечтал найти Архей, — жизненную силу, поддерживающую бытие всего животного. Ему казалось, что надо так соединить серу, соль и меркурий, чтобы создалась жизненная теплота.

III

— Какая чепуха! — сказала одна дама. — Это глупо, как святочный рассказ.

— И что же, вы в наш век повторили опыт Парацельса? — спросила другая.

— И вам это удалось, профессор?

И серые глазки хорошенькой дамы стали большими.

— Мы делали это несколько иначе, — отвечал рассказчик, на этот раз только троим. — В какой мере нам это удалось — вы увидите. Что же касается до чепухи, то по тому младенческому времени это было простительно.

Видите ли, человечеству искони была свойственна вера в особое самобытное рождение.

Платон оставил изречение, что живое рождается от смерти. Аристотель думал, что насекомые рождаются сами.

Плутарх уверял, что земля Египта рождает крыс. Еще в XVII веке Кирхер доказывал, что из сушеной и истолченной змеи выйдут после дождя мелкие змейки, если этот порошок посеять в землю.

— Кажется, что это будет что-то очень умное, и я ничего не пойму, — улыбнулась себе хорошенькая, но глупенькая дама, закрыла глаза и сказала: — Какой вы умный!..

— Я не думаю, что не поймете, — утешил профессор. — И вот точно так же думали о человеке. В сущности, mesda-

mes, мечта современной науки очень близка к этой мечте о «философическом человеке». Современная наука мечтает создать искусственную человеческую клетку...

— Клетку? — с ужасом спросила хорошенъкая дама.

IV

— Да, сударыня, не пугайтесь, — человеческую клетку, ту первичную основу тела, из которой создается организм. Найти секрет клетки значит найти секрет бессмертия.

Заболевшие, одряхлевшие, умершие клетки мы заменили бы в себе новыми и новыми.

Солдату, у которого выхватило бы бомбой бок, вставляли бы новый кусок мяса, и он продолжал бы отбывать второй срок повинности.

Что для вас не совсем безразлично, mesdames, был бы вместе с тем найден секрет вечной молодости, и дамы были бы прекрасны, пережив сто тридцать пятую весну.

Четыре слушательницы вздрогнули и навострили ушки.

— К великому сожалению, наука до сих пор не может ни подделать клетки, ни создать хоть одну каплю крови, отлично зная, сколько в нее идет белковины, фосфора, поваренной соли или железа.

Из человеческого железа можно сделать брелок. Но из железа, соли и пр. до сих пор не удалось никому создать каплю крови.

— Как брелок? — воскликнули дамы все вчетвером. — Вы шутите, профессор!

— Ничуть. История знает случай, когда один парижский студент задался целью подарить невесте колечко из собственной крови. Через известные промежутки он делал себе кровопускания и химически выделял железо из крови. Конечно, он истощил себя и умер.

— Вот такую любовь я понимаю! — сказала мечтательная дама и улыбнулась хорошенъкой.

V

— Я был студентом. У меня был друг. Мы жили в одной улице, но в разных домах.

Это был именно из тех людей, которые для вящей славы науки готовы выковать кольцо из собственной крови, — удивительный фантазер, странно совмещавший в себе научность с мистикой.

Ему надо было родиться в эпоху Раймонда Люлля или Парацельса. В науке он был фанатик, но над всеми его исследованиями веяло странной для ученого мечтой случайно подсмотреть и поймать какую-то тайну природы.

Он менял увлечения, как Дон Жуан — женщин.

То он носится с цветной фотографией, то варит и кипятит в своих кастрюльках состав из белковины, фосфора и железа, которым бы можно было заменить обеды и ужины, то пробует на плешиевой голове гуляки-сапожника свои составы для ращения волос.

VI

Руки у него были вечно обожжены кислотами, жилет — в цветных пятнах. В своей студенческой компании мы его не звали иначе, как Менделеевым. И для многих он был притчей во языцах.

— Будет тебе, — говорим, — стряпать, пойдем пиво пить. Малый ты еще мальчик-несмышленочек, — где тебе порох выдумать? Да и надо же что-нибудь оставить Вирховым и Павловым.

А он в ответ огрызается:

— А кто, — спрашивает, — открыл семенные тельца человека? Не студент ли Гам из Лейдена? А то, а это?..

И заведет такой монолог, что, бывало, махнешь на него рукой и идешь по своим делам, оставив его с его «услужающей», разбитной хохлушкой Христей, которая была у

него и за повара, и за портниху, и за горничную.

VII

Раз в думной голове нашего Менделеева засела мысль о Гомункуле. Разумеется, не в той детской форме алхимиков, что вот, мол, что-то надо смешать и встряхнуть в баночке, — и выйдет жив человек, а в форме мечты о создании искусственной клетки.

Показывает он мне однажды какую-то старую рукопись и говорит:

— Прочитай.

Читаю:

«Для рождения философического человека возьми колбу из лучшего стекла, положи в оную чистой майской росы, в полнолуние собранной, две части мужской крови и три — женской, потом поставь оное стекло с сею материею сохранно на два месяца для гниения в умеренную теплоту, и тогда на дне оного ссядется красная земля...

По времени процеди сей менструм в чистую колбу, возьми одну грань тинктуры из царства животных и поставь сие паки в умеренную теплоту на месяц. Тогда подымится кверху пузырек. Когда же покажутся жилки, влей туда твоего процеженного менструма, и тако твори четыре месяца. Услышав нечто шипящее и свистящее в колбе, подойди к ней и, в велий радости и удивлении, увидишь тамо живую тварь».

VIII

— Что ты, — спрашивает, — на это скажешь?

— Посрамил парижскую академию!

— Видишь ли, — говорит. — При буквальном понимании это, конечно, зеленая чепуха, но не есть ли это обыч-

ное для алхимиков иносказание об искусственной клетке, которая, может быть, была известна древним, как, например, было известно розенкрайцерам применение электричества до его официального открытия? Может быть, надо только расшифровать, что надо разуметь под тинктурой царства животных или под майской росой, чтобы создать клетку. Ты понимаешь, — клетку! Милый мой, ведь это перевернет оба полушария!

— Правильно, — говорю, — перевернет. Только полуший твоего мозга и перевертывать не надо. Перевернуты!

— Человечеству, — продолжает, — всегда была свойственна эта вера. Может быть, Гомункул — аллегория, маска. Вон я вчера с Христей разговорился. Есть народное сказание о гусином выродке. Нужно, — говорит, — девке семь недель носить под мышкой гусиное яйцо, и родится из него подобие человека.

Вознес я над ним благословляющие руки, как отшельник в опере, и говорю:

— Действуй, Андрюшка Менделеев! А как родишь, зови меня в крестные...

IX

Думал я, конечно, что через неделю этой блажи конец, — ошибся. Захватило его крепко. Сидит день и ночь в своей норе, возится с микроскопом, анализирует бычью кровь, кипятит в склянках какую-то дрянь.

— Что, — смеюсь, — еще не шипит? Жилки не пошли?

— Смейся, — отвечает. — Ты не один. Над громоотводом Франклина смеялось лондонское королевское общество. Парижская академия выпустила телеграф. Ты — в почтенной компании.

...Была зимняя ночь, mesdames, — одна из тех, за которые дорого дал бы рождественский беллетрист.

Ветер вздыхал в трубе, как приговоренный к повешению.

На башне Сульпиция пробило 12.

Я сидел у себя, когда за мной прибежал запыхавшийся дворницкий парнишка моего друга.

Запиской он звал меня немедленно к нему по неотложному делу, прося захватить с собой денег.

— В чем дело?

— Не могу знать. Только как будто у барина несчастье. Кто-то у его кричит, — надо быть, помирает...

X

Мела метелица, и снег плевал прямо в лицо. Огонь в фонарях шатался, как пьяный. Кутаясь в плед, я перебежал улицу.

Конечно, больше всего я склонен был догадываться, что Андрей «сделал что-нибудь над собой», порезался и истекает кровью или отравился каким-нибудь кислотным паром.

Это было так просто и возможно, но, должен сознаться, напрашивались и дикие предположения. Не то что бы я мог поверить в рождение Гомункула, но невольно думалось, что если в самом деле сейчас там, в тесной мансарде, под низким потолком подле Христины кухоньки, совершилось одно из мировых открытий!..

Я влетел на четвертый этаж бомбой. Дверь была не заперта. В квартире стояла тишина. Андрей встретил меня бледный, с волосами, прилипшими ко лбу.

— Слава Богу! — сказал он, стараясь улыбнуться. — Все кончилось благополучно. Мальчик. Ну, и была ж история.

— Ты с ума сошел! — воскликнул я. И я это действительно думал, mesdames. — Родился Гомункул?

— Какой Гомункул? Я ж тебе говорю, — мальчик. У Христи мальчик. Ты понимаешь русский язык? Ей было преждевременно, но она поскользнулась, идя в погреб, и ускользила...

Тут уж судите меня — не судите, но, невзирая на всю торжественность момента, я расхохотался, как оглашенный.

В то время, как он трудился над химическим Гомункулом, жизнь, здоровая, прямая и животно-откровенная, спустила над новым Вагнером-книгоедом одну из своих добродушных, не без цинического оттенка, шуток!.. И как просто и метко!

Христя оказывалась для него немножко больше портного, повара и горничной и немножко меньше жены.

Потом, конечно, *mesdames*, я узнал все.

Почему он не посвятил меня раньше в свой роман? Знаете, молодость застенчива, а ему приходилось быть отцом в первый раз, да с непривычки.

Христя же этот маленький секрет так мастерски умела прятать платочком, что неопытному человеку не подавала и повода.

Я кончил.

Три дамы были явно разочарованы, а мечтательная вздохнула и уронила:

— В конце концов, все мужчины одинаковы...

Александр Измайлов

КТО ОН?

I

Еще минута и вместо того, чтобы вскочить с своим чемоданом в вагон, Сиркс увидел бы только хвост уходящего поезда.

Можно быть профессором белой и черной, египетской и индийской магии, престижитатором и чревовещателем, пускать пыль в глаза и голубей из рукава, — но не уметь исправить дрянных отставших часов и быть бедным, как Диоген. Сиркс мог утешать себя разве тем, что фавматуриги всех времен и народов отличались крайней умеренностью. Вероятно, они так же, как и он, всегда ездили третьим классом, когда не удавалось проехать зайцем, и обедали через день.

Хотя до Рождества оставалось дня два, — а может быть, именно поэтому, — движение было слабое. За полтинник Сирксу предоставили место в спальном вагоне. Кто-то, повернувшись к нему спиной, возился в проходе между скамейками.

Фокусник бережно поставил наверх свой чемодан с фраком, сорочкой, афишами, десятком технических «приборов», руководством «производить 150 замечательных явлений» — и осмотрелся.

Электричество еще не было扑щено. Горела свеча. Было темно. Устраивавшийся рядом человек повернул лицо к свету, и Сиркс почувствовал на себе холодный, колючий и любопытный взгляд.

Это был весь бритый мелкий человек, черный, как жук, с широким и тяжелым подбородком. Немножко раскосые глаза смотрели недоброжелательно. В выдавшихся скулах и этой неприветливости выражения было что-то неинтеллигентное, мещанско...

II

Сиркс писался на афишах физиономистом, чтецом мыслей и хиромантом. Присматриваясь к толпе, он часто наблюдал в себе какое-то интуитивное, безотчетное угадывание людей, их положений, характеров. «Вы, вероятно, рыбник?» — и, к его собственному удивлению, человек оказывался, действительно, рыбником. Почему? От него не пахло рыбой. К его одежду не пристала чешуя. Но так случалось. И часто.

Сейчас в незнакомце было что-то, отличающее людей сцены. Вернее всего, какой-нибудь мелкий актер. Что-то надменное, заносчивое в складе губ. Что-то выдает человека, привыкшего, чтобы на него смотрели. А впрочем, черт его знает.

Однажды к Сирксу пришел человек и попросил определить род его занятий. Престиджитатор прищурил глаз. В его деле апломб значил все. «Вы, вероятно, имеете свой магазин... И даже скажу вам, что это, вероятно, магазин аптекарский»...

Владелец магазина оказался... репортером местной газеты. Он выпустил в хронике заезжего физиономиста и испортил ему все дело. Не окупились даже афиши. Но сам знаменитый Лафатер из Цюриха разве не наградил однажды всеми добродетелями каторжанина-убийцу, присужденного к казни?

Сиркс утешил себя, но с этих пор стал осторожнее и налег на глотание шпаги и чревовещание.

III

Сосед снял пальто с баращковым воротником, развязал узелок, достал из него колбасу и, не разрезая ее, отгрыз от нее половину, прикусывая булку.

«Может быть, сценариус, суфлер, кассир, — поправил себя Сиркс. — Провинциальным модисткам выдает себя за обеднявшего премьера. “Играл первые роли, но — видите — сакрAMENTO! — какие времена!” Неопрятен. Живет без женщины. Берет в долг без отдачи...»

Вкусный чесночный запах раздражал обоняние фокусника, поевшего только утром. В молчании и потемках тоска голодного желудка словно бы была ощущительнее, и Сиркс решил заговорить. Когда сосед кончил есть, опустил верхнюю скамью и приспособил ее для ночевки, фокусник уронил:

— Раненько собираетесь.

— Чего-с?

— Спать-то, говорю, рано. Всю ночь едете?

— Всю ночь.

— Как и я, значит. А куда путь держите?

Незнакомец усмехнулся и показал съеденные зубы.

— Отсюда не видать.

— А я в Белосток, — откровенно сказал Сиркс, как человек, которому нечего прятаться и который хочет вызвать и другого на искренность. — Я фокусник, и фамилия моя Сиркс. Ксаверий Сиркс. Чем город больше, тем в нем легче погибнуть маленькому человеку. В столице я захудал, как мышь в костеле. Кормился в день на один злот. Пришлось продать и зеркала и электрическую машинку. Вы знаете, без зеркал и машинки — это уже не фокусник. Это — мразь! Без этого нельзя показать ни золотого дождя Юпитера, ни северного сияния, ни светящегося дыхания, ни электрического паука. Это не фокусник, а бродящая собака или бродящий пес, — как правильнее сказать по-русски? Проглотить шпагу или вставить гвоздь в нос — это стоит очень дешево. Этим заинтересуешь только штабных писарей. Я — вантирилок, но этим можно завлечь только гимназистов первого класса.

— Как вы сказали?

IV

Престидижитатор показал пальцем на свой живот.

— Вантрилок. Чревовещатель. Я могу говорить животом. («Он неинтеллигентен», — заключил он). Я также читаю мысли. Но от всего этого я получаю совсем ничтожный интерес! Когда я в последний раз спросил у моего антрепренера в саде «Магометов рай» денег за два воскресенья, он мне сказал: «Вы плохо читаете мысли, если думаете, что у меня есть деньги». И он мне выворотил карман с дырой. Карман с дырой у него был на случай и тогда, когда он греб золото, как шинкарь на Пасхе.

— И вы, действительно, угадываете мысли?

— Да, я могу.

— И мои можете?

Острые, как два стальных шила, глаза незнакомца остались на Сирксе почти с беспокойством. Фокусник опустил взгляд и скромно сказал:

— Да, если я захочу.

— То есть, если и я захочу?

— Нет, это не важно. Независимо от вашего желания, я могу прочесть ваши мысли, сказать, сколько у вас денег в кошельке, по чертам вашей руки определить ваше прошедшее, настояще и будущее, все замечательнейшие события вашей жизни...

— Сколько же у меня в кошельке денег?

— Сейчас немного. На днях будет больше. Но все-таки есть настолько, чтобы оплатить мой сеанс.

— Значит, то, для чего я еду...

— Будьте покойны. Не сорвется.

Фокусник исподлобья взглянул на соседа внимательным и умным взглядом, как всегда смотрел, когда предсказывал или «читал мысли», и выразительно подчеркнул последнее слово. Под его ответом незнакомец вдруг совершенно явственно подался назад, в тень скамейки, и его лицо

приняло несомненное выражение огороженности, почти испуга.

Будто не замечая этого смущения, а на самом деле стараясь не разрушить впечатления новыми расспросами, Сиркс поднялся, вынул папиросу и вышел на площадку. «Клюнуло!»

V

Когда он вернулся, маленький человек уже забрался на верхнюю скамейку и лежал там, закрывшись пальто. На электрическую лампочку был надвинут коленкоровый чехол.

— Спите?

— Ну, где же так скоро!

— Знаете, рядом с нами в купе едут жандармы, — растерянно сказал Сиркс. — Даю вам честное слово. Двое жандармов. Честное слово поляка!..

— Верно, с дела домой едут, — безразлично сказал сосед. — А знаете, я тут лежу и думаю. Хорошо чужие мысли читать. Про что кондуктор думает, жандарм, студент, институтка. Лучшего своего друга можно поймать. Преступник, который злоумышляющий. Сидит с вами в трактире, чай пьет, орган слушает... Все честь-честью, а вы его насквозь видите. Госпожу Скублинскую изволите знать?

— Скублинскую?

— Которая устроила, ежели не спутал, в Варшаве фабрику ангелов. Прелюбопытный тип уголовной преступности. Во всех музеях Европы и заграницы показывается. Восковая фигура во всей правдоподобности. Смотрел я в Вильне и удивлялся. Можете себе представить, — женщина как женщина, а какой преподлый характер!.. Кабы ежели кто угадал вовремя, чем она занимается!..

VI

Похожий на жука человек вдруг как-то всхлипнул, и Сиркс только через минуту догадался, что он смеется.

— Вы извините, господин, но я вам не верю, будто вы мысли читаете. Не может такого быть. Уж очень чудно. Вы мне одну такую штуку сказали, что я и рот разинул. Только это, может, больше от воображения моего ума. («Что я такое сказал ему?» — подумал Сиркс). Больно бы уж вы удивились, ежели бы узнали мои мысли. Да и зачем вам тогда в Белосток ехать, ежели бы вас в государственную службу на тысячный оклад взяли в обер-сыщики? Однако любопытен был бы, чтобы вы мне на руку взглянули.

— Если вы находите, что это стоит полтинника, — сказал Сиркс, — слезайте.

Незнакомец свесил ноги и соскочил сверху грузно и неуклюже. Слезая, он свалил шапку фокусника со столика и поднял ее, странно согнувшись в пояснице и не сгибая груди, как сделал бы это человек, имеющий в груди рану или проглотивший шпагу.

— Пшепрашам пана, — засмеялся он, видимо, щеголяя единственным известным ему польским словом.

«Сказать ему, что он в панцире, или лучше не говорить?» — подумал фокусник.

Эта подробность и жандармы по соседству не оставляли теперь в его душе никакого сомнения, что рядом с ним едет шпион.

VII

— Прибавим света, — сказал Сиркс, дергая шнур и раздвигая абажур. — Вы родились ночью? Так. Тогда не эту. Левую. Согните здесь. Распрямите пальцы. Средневековые хироманты требовали, чтобы человек, приступающий к гаданию, не ел четыре часа до сеанса.

Как всегда, не без противного чувства он прикоснулся к этой чужой, неопрятной и влажной руке, столько же понимая в ней, сколько и в своей собственной. Рука была грубая и жилистая, неинтеллигентная, с трауром за ногтями, но без мозолей, и в ней не было сейчас, как бывало у большинства клиентов, ни малейшей нервной дрожи.

— На вашем деле не наживешь мозолей, — уронил фокусник больше как бы для себя и почти зло и язвительно.

По лицу бритого человека скользнула точно улыбка самодовольства.

— Дело нетрудное-с.

— И привычное.

— Не впервый.

— У вас решительный и твердый характер, — продолжал Сиркс, входя в привычную роль угадчика наобум и не улавливая в руке нервности. — Не поддакивайте мне. Это мне не нужно. Один раз вы не то тонули, не то были смертельно больны... Прерванная линия жизни... Определяется млечный путь... Покажите правую...

Сиркс знал, что редкий из людей не был смертельно болен, редкий не тонул, и это был один из тех первых способов хватать внимание, которые потом заставляли его клиентов самих подсказывать ему нужное.

Впутывая для эффекта термины вроде «Соломонова пояса» и «Венерина запястья», вычитанные из плохой лубочной книжонки о хиромантии, Сиркс стал говорить о том, что ему нужно бояться под старость слепоты на левый глаз, влияний луны, бешеной собаки, — те вещи, которые всегда ни к чему не обязывали, но слагали впечатление.

Вспомнив жандармов и панцирь, он уверенно ткнул в ладонь спутника пальцем и сказал внушительно:

VIII

— Вы едете по одному делу, требующему большой осторожности.

— Смелым Бог владеет.

— Прошу не перебивать. Вы несколько волнуетесь. Но вам нечего бояться. Вы сейчас под счастливыми созвездиями. И хотя ваши враги не дремлют, им ничего не удастся.

Лицо клиента оживилось и стало наивным и доверчивым.

— Не удастся? А ну-ка, ну-ка, от чего я помру? Своей смертью, али как иначе?

— На вашей руке есть роковые знаки, — уклончиво сказал Сиркс. — Ваш Сатурн изломан. Но, во всяком случае, вам нечего бояться до 43 лет. Нет, до 44-х!..

— Хватит. Ворона двести лет живет, да сокол ей не завидует.

— Дело ваше вам удастся... Но вот... этот крест. Хотел бы я знать, действительно ли оно удалось вам. Знаете, некоторых из моих клиентов я просил извещать меня, и они писали мне письма. Бывали поразительные предсказания...

— Хотите, я вам пришлю открыточку... С видом распределенного красного города Варшавы... Ежели, как вы сказали, *не сорвется...*

— Много обяжете. Знаете, хиромант век живет, век учится. Мое имя — Сиркс. Ксаверий Сиркс. Но надо писать: «В Белосток, Игнатию Сирксу»... Это мой брат. У него прачечное заведение.

— А меня зовут Фома Качурин.

Он полез в карман, вынул засаленный кошелек и стал искать полтинник.

— Станция Псков! — сказал в дверь кондуктор.

IX

Фокусник вышел на станцию, выпил рюмку водки, и настроение его изменилось к лучшему. Когда он вошел в купе, Качурин лежал, закрывшись пальто. Сиркс что-то сказал, — спутник не ответил. Престиджитатор снял сапоги, положил под голову шапку и сразу заснул.

Проснулся он среди ночи. Поезд, весь содрогнувшись и загремев, стал и стоял что-то очень долго. Не надевая сапог, Сиркс поднялся взглянуть, где остановка. Качурин спал и похрапывал.

Хиромант взглянул в окно, но увидел только черную ночь и пятно своей щеки на фоне черного зеркала. Он кинул взгляд на лицо спутника и вздрогнул от неожиданности. Из-под накинутого на голову пальто на него смотрел стальной, внимательный, напряженный до тревоги глаз Качурина.

«Не спит, дьявол. Привык шпионить. Храпит, а смотрит!» — подумал фокусник, снова укладываясь спать и чувствуя сотрясение двигающегося дальше поезда.

...Утром его разбудил кондуктор. Подъезжали к Белостоку. Качурина не было. Выйдя из купе уже с чемоданом, Сиркс увидел его у дверей соседнего купе. Качурин стоял без пальто, но в шапке, и разговаривал с жандармами.

— Господину чревоувещателю! — сказал он, протягивая Сирксу руку. — Гут морген. А я тут, покуда вы спали, знакомство свел. Им тоже до Варшавы. Вот вы — колдун, а не угадали. А открыточки ждите, — пришлю.

— Дзенькуем.

X

Первый день по приезде Сиркс метался по городу, как всадник без головы. Он сбросил чемодан у брата и весь отдался делу. Надо было схлопотать право на представление, на расклейку афиш, из полиции бежать в типографию, из типографии — в редакцию, снимать помещение и всюду поспевать прежде, чем перед его носом закроют двери на праздничник.

Время было такое, что всюду требовали удостоверений его благонадежности, и никто не хотел верить, что он заплатит за заказ. Голова престижитатора шла кругом.

Только ко второму дню праздника ему удалось угомониться. Все было сделано. На третий день в здании местного клуба он должен был являть свое искусство. Билеты, сверх ожидания, раскупались. Широковещательные афиши сделали свое дело. Даже местная газета не отказалась в публикации в кредит. Сиркс почти на коленях выпросил эту милость.

Вечером можно было вытянуть ноги и отдохнуть в предвкушении благ. В родственной обстановке, в сытости и тепле, Сиркс расположился на диване и занялся местной газеткой, изучая нравы.

С приятным удовлетворением он перечел несколько раз публикацию, где его имя было набрано жирным шрифтом и он титуловался «профессором магии». На видном месте в хронике газеты стоял заголовок: «Казни». Сиркс начал читать заметку полуапатично и, когда дошел до ее конца, его руки опустились от неожиданности и какого-то другого сложного чувства.

В заметке стояло:

«Вчера в предместье Варшавы приведен в исполнение смертный приговор над NN. Среди арестантов местной тюрьмы не нашлось ни одного, кто бы решился явиться исполнителем казни через повешение. Палач был вызван из другого города. Это — бывший каторжанин, Фома Качурин, в последний год содержавшийся в Х-ской тюрьме. Качурин совершает казнь уже над пятым осужденным. Он прибыл в Варшаву инкогнито и под охраной, так как товарищами по тюреммам давно присужден к убийству. По совершении казни и получении платы, палач одел пальто казненного и в тот же день отбыл из города».

Сиркс отбросил газету и поймал себя на инстинктивном желании вымыть руки...

Через день он получил открытку. На ней стояли только два слова и подпись:

«Не сорвался. Фома Качурин».

Николай Энг

ЗЕРКАЛО

В маленьком двухместном купе было душно и накурено.

Инженер Викторов лежал на верхнем поднятом месте и думал, что ему мешает спать зеркало. Оно стояло перед ним белесоватым пятном, занимая всю дверь, и назойливо, упрямо лезло в глаза, точно смотрело на него. Он поворачивался лицом к стене, закрывал глаза и так лежал несколько секунд, силясь заснуть, но сейчас же снова и снова начинало казаться, что зеркало смотрит на него в упор,зывающее, — на его спину, затылок, пятки...

Весь день ему было не по себе. Болела голова, и почему-то было грустно, тоскливо, невесело уезжать. И жена его, Елена Михайловна, высокая красивая блондинка, на которую вое оборачивались, когда она шла по улице, тоже испытывала что-то странное. На вокзале, провожая Викторова, она крепко прижималась к его руке и все спрашивала:

— А может быть, ты можешь и не ехать?

Когда после третьего звонка он, накоротко поцеловав жену, вскочил в вагон и уже с площадки закивал ей, она вдруг заплакала, побежала за вагоном, хотела что-то сказать... Но поезд пошел быстрее, она отстала, и Викторов долго видел еще, как она, стоя у колонны, как-то жалко махала ему платком...

Эта сцена расстроила его. Ехал он всего на какую-нибудь неделю, в губернский город, осмотреть в комиссии законченную постройку моста, расставаться с женой вообще приходилось часто, и никогда предстоящая разлука не вызывала таких сцен, слез, недоговоренности и грусти.

Если бы Викторов был суеверен, он истолковал бы все эти слезы и непонятную щемящую тоску как предчувствие, предостережение. Но он был трезвый, интеллигентный и неглупый человек, и единственное, на что натолкнуло его все пережитое за этот день — это на старые воспоминания об одном странном, даже таинственном случае, вдруг ворвавшемся в жизнь его и жены.

Два года назад, как раз весной, как и теперь, его жена, Елена Михайловна, поехала на два месяца к своей тетке, в имение К-ой губернии. Выехала она под вечер, с этим же

поездом и по этой же дороге по которой сейчас ехал Викторов.

Были они тогда оба веселые, счастливые и своею новой любовью, и этим тихим весенним вечером и надеждой скоро встретиться снова, в деревне, на отдыхе, где не надо будет отрываться друг от друга... И вдруг... через неделю, без предупреждения, Елена Михайловна вернулась.

В ее лице, главах, фигуре, походке, даже голосе Викторов сразу заметил какую-то перемену. Было что-то в ней новое, чужое, какой-то уголок завелся в ее душе, в который он проникнуть не мог.

Свое возвращение она объяснила нездоровьем, желанием посоветоваться с врачом и тоской по нему, муже.

Но он не поверил ей. Было ясно, что в имении она оставила какую-то тайну. Но она ничего не говорила. Ни слова. Только твердила все о незддоровье, о тоске, просила не оставлять ее одну.

Он написал тетке, в имение, и осторожно расспрашивал: в чем дело? Но тетка сама ничего не знала и сама недоумевала:

— Приехала больная, нервная, чем-то расстроенная, жаловалась на незддоровье и через три дня уехала обратно.

Тогда он спрашивал ее:

— Что с тобой? Что-нибудь случилось в дороге? Ты испугалась? Тебя обидели? Ты сделала что-нибудь, что мучает тебя? Какое у тебя горе?

Но она печально улыбалась и говорила, что у нее нет никакого горя и никакой тайны, и ничего с ней такого не случилось. Просто она нездорова, расстроены нервы и поэтому она чувствует себя несчастной.

И доктор тоже говорил :

— Ничего особенного. Нервы. Вам надо иметь детей!

От их веселой, счастливой и, как им казалось, интересной жизни не осталось и следа. Елена Михайловна бродила по квартире сонная, вялая и грустная, подолгу стояла у окна в столовой и тупо, бессмысленно смотрела сверху вниз на улицу, где волной бежала шумная, интересная, полная неожиданностей жизнь: звенели трамваи, торопились люди,

хлопали двери магазинов, носились и гудели автомобили и горели сотни, тысячи огней со всех сторон, почти в каждом окне...

Она отходила от окна и говорила:

— Все бегут куда-то, бегут... И каждый думает, что он один, что вокруг — так, что-то ненужное, лишнее, а самое главное, настоящее и единственно заслуживающее внимания — это он: его нос, очки, шляпа, пальцы...

За два года Викторов как-то привык к новым странностям своей жены. Уже не казалось такой непонятной ее молчаливость и задумчивость, боязнь общества, стояние у окна в столовой и все одни и те же рассуждения о бегущих внизу людях, из которых каждый наивно считает себя первым и самым нужным...

Год назад приятель его, тоже инженер, познакомил его с маленькой оперной артисткой. И знакомство это окончилось для Викторова романом, таким же маленьким, как и то положение, которое героиня этого романа занимала на сцене. Но были моменты, когда Викторов думал, что он увлекся этой большеглазой, черненькой, худенькой, глупой певичкой, о которой его приятель говорил, что у нее «глаза большие голоса»... Потом певица уехала в Харьков, и после этого дома стало казаться совсем скучно, чуждо, а временами даже жутко.

И теперь, лежа в купе и стараясь не глядеть на зеркало, Викторов вспоминал эти два последние годы своей жизни, обещавшей когда-то быть такой прекрасной, особенной, полной, и вдруг кем-то или чем-то искаженной, так глупо осмеянной.

Он вспомнил жену, какой она была тогда, до той роковой, проклятой поездки к тетке, и — ее теперь, на вокзале, заплаканной, жалко машущей мокрым от слез платком, с грустными испуганными глазами. И такой близкой, родной, несчастной, одинокой и затравленной показалась она

ему, что у него сжалось сердце от любви и жалости к ней и захотелось сейчас, скорее — скорее взять ее за руку, прilaстать, нежно, как ребенка.

Он решил на первой же большой остановке послать жене ласковую, дружескую, ободряющую телеграмму.

«Я напишу так, — думал он, — “Не надо плакать... Скоро будем вместе и все рассудим”... Или лучше так: “Вспоминаю тебя”...»

Викторов лежал на спине, закинув руку под голову, курил и сочинял телеграмму. Внизу мерно, едва слышно, точно стараясь быть деликатным, хранил сосед, старик, польский помещик.

Перед глазами у Викторова стояло зеркало.. Кто только не смотрелся в него!

Сочиняя телеграмму, Викторов рассеянным взглядом брал по зеркалу и видел свое отражение: локоть правой руки, закинутой за голову, и один глаз, на который все сползали волосы со лба.

— Может быть, его жена тогда, два года назад, ехала в этом же купе. Смотрелась в это же зеркало... Что она думала тогда?.. Может быть, это зеркало одно во всем мире видело странную тайну Елены Михайловны... Вот здесь, в этом блестящем стекле отразился на мгновение кусочек какой-то драмы, и отражение пропало, точно кто-то стер его со стекла, и только оно одно, это зеркало двухместного купе, хранит, быть может, ревниво и молчаливо тайну его, Викторова, жены... Кто знает,— кто только ни смотрелся в это зеркало? Какие лица, движения, гримасы, сцены ни отражались в нем... Если бы все, что за свой век отразило это зеркало, вдруг выплыло на его гладкую поверхность — сколько жизней, драм, фарсов, анекдотов, страдания и смеха прошло бы перед глазами Викторова...

Но зеркало ревниво и молчаливо оберегало чужие тайны. Оно стояло перед Викторовым строгое, молчаливое, отражая его локоть и правый глаз, на который все сползала прядь упрямых волос...

Постепенно Викторову начало казаться, что в зеркале виден не один его глаз, а целых три. Да, это было именно три

глаза: один знакомый, светлый, и два — черных, как угли... Он приподнялся на локте и всмотрелся. Теперь на него смотрели уже четыре глаза: два его и два... ничьи. Они не были связаны ни с чем, а были сами по себе, где-то в пространстве, отдельно два глаза. Черные, живые, в упор смотрящие на Викторова, они, казалось, что-то говорили ему. И Викторов, приподнявшись на диване, вытянув вперед шею так, что воротник сзади врезался в тело, тянулся взглядом, всем существом своим к этим черным, живым, повелевающим что-то и зовущим куда-то глазам...

Зеркало заколебалось, или это только показалось так. Викторов хотел обернуться, чтобы посмотреть, кто стоит за его спиной — кому принадлежит эта пара черных, как угли, глаз, но все тело его, его воля, душа, мозг были связаны этим упорным взглядом, который приказывал, требовал, вытягивал голову Викторова, как клещами, все ближе и ближе к себе... Нельзя было оторвать взгляда от этих глаз, и не было силы, которая заставила бы Викторова крикнуть, или шевельнуться, или отвести глаза в сторону.

Зеркало опять заколебалось, и Викторов увидел в нем отражение двух фигур, сидящих на диване, под ним, где спал старик-помешник. Одна фигура — мужская, другая — женская.

Викторов узнал свою жену. На ней было то серое дорожное пальто, в котором два года назад он провожал ее на вокзал, та же шляпа, то же маленькое с бирюзой колечко на руке. Лица мужчины он не видел. Тот сидел спиной к зеркалу и лицом к жене и, по-видимому, смотрел на нее в упор. Викторов видел, как страдала она, какой ужас, испуг, отвращение и ненависть были написаны на ее лице... Но глаза ее, такие знакомые, милые глаза, были устремлены прямо на незнакомца, тянулись к нему, повиновались ему, были покорны и готовы на все...

Потом, как во сне, Викторов видел, как жена его откинулась на спинку дивана, обессиленная, точно засыпающая, и как незнакомец придвигнулся к ней, наклонился и дрожащими прыгающими пальцами начал расстегивать ее пальто, потом лиф...

И вся ужасная и отвратительная сцена насилия прошла перед Викторовым. Вытянув шею и не зная, спит он или не спит, бредит или сходит с ума, он смотрел в зеркало, не в силах оторвать воспаленного взгляда от того, что происходило перед ним... только в зеркале или там, внизу?..

И только когда зеркало снова слабо, чуть заметно, заколебалось и перед ним осталась одна его жена, со сбитой прической, растрепанная, жалкая, он вдруг пришел в себя, схватил лежащую над ним в сетке палку и со всего размаху ручкой с серебряной головой собаки ударили по зеркалу...

И сразу же он почувствовал слабость и тошноту. И опустился на подушку...

Около него хлопотал старик-сосед. Он поил его водой и бормотал:

— Цо, пани? Может, пани, доктора надо?..

Поезд подошел к какой-то большой станции. Поляк поднял занавеску и спустил окно. Было светло. Свежий весенний утренний воздух отрезвил Викторова. Он спустил ноги и, чувствуя ужасную, незнакомую ему головную боль, но не чувствуя уже страха, начал извиняться перед соседом. Ему приснился дурацкий сон, он вскочил в полусне и собственное отражение принял за кого-то чужого и вот — разбил зеркало. Придется заплатить...

В зеркале отражалась полная, крепкая фигура старика-соседа с добродушным лицом и седыми усами, отражалась красная, кирпичная стена станционного здания, деревья в садике, бегающие по перрону какие-то люди, и зеркало не казалось уже страшным и таинственным. Ясное, светлое, оно не таило в себе никаких тайн. В него смотрелось весеннее, радостное утро.

Старик-сосед уже не предлагал звать доктора, а смеялся и все повторял:

— Я думал, може крушение, катастрофа! А то — пан ... В молодости все мы горячи!...

Потом крепко пожал Викторову руку и назвал себя:

— Пан Владислав Плохоцкий.

Через час Викторов был уже на месте.

В гостинице «Франция», где для него был приготовлен номер, его ждала телеграмма из Петрограда, от сестры:

«Возвращайся немедленно случилось большое несчастье Лена безнадежна».

Поезд отходил только через четыре часа. Викторов послал две телеграммы сестре и одну домой швейцару. В городе ни с кем не повидался, а только по телефону предупредил в комиссии, что он не будет, и поехал на вокзал.

Головная боль не только не проходила, но, казалось, только начинала разыгрываться. Голову ломало, она была тяжелая, странно пустая и казалась огромной. Эта незнакомая ему, резкая боль не давала ему сосредоточиться, мысли прыгали с предмета на предмет и ни за что не могли зацепиться...

Думал он о жене, стараясь представить то «большое несчастье», о котором телеграфировала сестра, и сейчас же мысль перескакивала на воспоминания о прошедшей ночи, на черные глаза, на зеркало, наочные кошмары... Он чувствовал связь между виденным в зеркале и «несчастьем» и той тайной, которая два года назад ворвалась в его жизнь, но уловить этой связи он не мог. Казалось, что мешает головная боль.

И пока он ходил взад и вперед по вокзальному буфету, от книжного киоска до стола с гигантским самоваром, он думал ясно и определенно только об одном:

«Скорее приехать и увидать».

В 12 часов 40 минут дня он уехал. Ехал он в большом, грязном, пыльном купе, набитом какими-то дамами с напудренными носами, студентами, комиссионерами... Ночью он не ложился, а до утраостоял в коридоре у открытого окна и думал все об одном:

«Скорее приехать и увидать».

Елена Михайловна отправилась ночью, через пять-шесть часов после его отъезда. Приехала с вокзала, постояла у ок-

на, потом велела прислуге идти спать к себе в людскую и осталась одна.

А ночью вдруг пришла в людскую, в одной рубашке, разбудила Лушу и сказала:

— Луша, вот я отравилась. Сейчас умру. Позвоните бариновой сестре, а вот это передайте барину... Я отравилась и сейчас, вот сейчас умру...

Викторов застал ее уже на столе, одетой в белое, со строгим, очень постаревшим лицом. Никакой тайны не хранили эти черты, так знакомые ему, и ничего, кроме спокойствия и какой-то настойчивой строгости, нельзя было прощать в этом лице...

В конверте, который передали Викторову, на чистой, простой карточке было написано знакомым, прыгающим почерком:

«Я сейчас умру. Я не знаю, какая тайна вошла в нашу жизнь и исковеркала ее, я не знаю этой тайны и не знаю, была ли она вообще. Но я очень несчастна и не могу жить».

Викторов перечитал записку раз, другой, стараясь в буквах найти разгадку этой тайны, которая — «была ли еще вообще», но буквы были обычные, знакомые, самые простые...

Он перевернул карточку.

С этой стороны было четко, красиво, как на дорогих визитных карточках, выведено:

— Владислав Плохоцкий.

Владимир Анзими́ров

УЖАСНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Давно это было...

Я торопился докончить остаток скирда до обеда и стоял у барабана молотилки, весь обсыпанный колючей кострикой, покорно глотал горькую, едкую пыль, когда в ригу неожиданно вбежал, запыхавшись, поповский работник и замахал руками, прося остановить работу.

— Чего тебе? — сердито встретил я его, выждав, пока вспотелые лошади на приводе встали, самодовольно помахивая хвостами, и лишь барабан продолжал ворчливо дразнить:

— У-у-у... пустяки!.. У-у-у... пустяки!..

Рябой Архипка, смущенный переполохом, который вызвало его внезапное появление, не знал, с чего начать и мял картуз в корявых, нескладных руках.

— Да ну же, говори! — еще более раздражительно заторопил я.

— Как значит, молодая попадья померши...

— Какая молодая попадья у отца Ивана? Ведь он, без малого, 30 лет настоящим?

— Ейнова дочь, то есть, что за батю Пустозерского выдана. На престольный, вечерясь, погостить к нам приехала... А сам-то батюшка — ныне поутру... (его требы дома задержали). Да так и обмер, как покойницу... жену, значит, свою увидел... Так и повалился! — загнулся торопливо Архипка, видимо волнуясь от необычного важного поручения и давясь словами...

— Ну, померла — царство ей небесное!.. Чего ж тебе надо?

— Царство небесное! — жалостливо отзвались, быстро крестясь, девки и бабы, уже успевшие, с вилами и граблями в руках, обступить его, чтобы послушать любопытную новость.

— Полечить покойницу, значит, батюшка с матушкой тебе приходить велели! — наконец неожиданно выпалил Архипка...

— Ах, глупой, глупой!.. Да нешто упокойничков лечат?!

— закачали головами бабы, а девки задорно захихикали...

Решив, что с молодой попадьей, вероятно, глубокий обморок и ее родители нуждаются в моем совете, я с досадой передал свою работу старосте и поспешил выручить Архипку:

— Ну ладно, иди себе домой! Скажи — приду сейчас, только помоюсь...

В округе я был единственный образованный человек. Приходилось, поэтому, не только писать всякие прошения мужикам, давать агрономические и юридические советы, но и — «порошки» от лихорадки, «полоскание» от горла, перевязывать раны и т.д.

Я, по мере возможности, пополнял свои медицинские познания, покупал и раздавал лекарства для подания первой помощи. А главное, — ободряя растерявшихся, просиживал ночи у труднобольных... утешал... Мужики говорили, что от одного моего «глаза помогает». И, в конце концов, за мной утвердилась в округе слава чуть не всемогущего колдуна.

— А за доктором послали? — крикнул я вдогонку Архипке.

— Как же... Как помирать стала, подводу за ним угнали, — отозвался он, весело шагая.

«Покойница» лежала еще на кровати, покрытая простыней, когда я пришел к нашему старику-батюшке. Около нее уже возился поджарый «доктор» на тоненьких ножках, оказавшийся «земским фельдшером», живущим в 25 верстах, случайно очутившимся поблизости.

— Ну что? — обратился я в нему.

— Я приехал, уже когда все было кончено, — как-то конфузливо отозвался он.

— И вы ничего не предприняли?..

— Ничего... Она уже была без пульса... А у меня — ни шприца, ни возбудителей с собой не было... Ведь я с оспопрививания прямо...

— Ко мне бы послали, — лез я с юношеским задором, чувствуя неодолимую потребность «заступиться» за покойницу.

— Поздно!..

— А все-таки, попробовать бы, — не унимался я... — Ведь такая загадочная, скоропостижная смерть...

— Еще утром сегодня веселая Маша встала, — вставила, давясь слезами, матушка, — вишь, она на 4 месяце тяжела...

— Воля Божья! — вздохнул старик-отец.

— А может просто — глубокий обморок?.. летаргический сон? — приставал я к фельдшеру. — Ведь бывает!.. Попытаться бы! У меня есть и эфир, и камфара, и кружка для физиологического раствора...

Он только пожал плечами... Вскоре его позвали к умирающей роженице; он раскланялся и уехал, тоскливо отказавшись даже от поданной уже на подносе закуски с графинчиком.

Молодого батюшки я не дождался. Он уехал в город за покупать все необходимое для похорон...

Из соседнего села донеслась жалобная дробь набата. А из-за леса вдруг выплыли густые клубы багрово-вишневого дыма... Он быстро расползся...

— Пожарище-то какой! — степенно пробасил батюшка, отгибая опущенную занавеску.

— Поеду!.. — решил я. — А вы все ж за доктором пошлите освидетельствовать усопшую, — обратился я к родителям... Все — бывает...

— Придется!.. — как-то нехотя отозвался старик.

Пожар в Перкине разыгрался огромный. Огонь перекидывало и большое, крытое соломой село запыпало сразу в нескольких местах. Многие попадали между двух огненных потоков и, растерявшись, бежали вдоль них, пока не падали, задыхаясь от дыма и жары.

Кроме работы у пожарных машин и по спасению мухицкого скарба, пришлось заняться и перевязкой обожженных. Их оказалось более двух десятков...

Далеко за полночь я вернулся домой, еле держась на ногах, голодный, с отвратительной горечью во рту от дыма пожара и утренней молотьбы...

— Ну и денек выдался! — думал я, слезая с тележки и мечтая о постели.

Но едва я вошел в свою полутемную прихожую, как какая-то волосатая фигура (женщины с распущенными волосами, как мне показалось) бросилась на колени и стала целовать мне руки...

— Спасите! Помогите!.. Вы все можете!.. Одна надежда на вас...

Муж «покойной» — молодой, статный батюшка — ползал у моих ног и умолял вернуть ему жену.

— Только и радости у меня было на свете — Машенька!.. Отдайте ее мне!..

Как я ни пробовал отговориться от щекотливой просьбы «воскрешения», он — не отставал.

Наскоро захватив все необходимое, чтобы убедиться, по моему крайнему разумению, в несомненности смерти молодой поповны, я поехал с дрожащим, как в лихорадке, батей к дорогой ему «покойнице».

Она лежала уже на столе, покрытая кисеей с 3-мя свечами кругом; рядом «черничка», нараспев, коверкала псалтирь...

Лежит молодая Маша, как живая, только очень бледная... И губы совсем не синие... И пальцы рук свободно гнутся... И запаха — никакого...

Повозился я около нее с час... Давал нюхать нашатырный спирт, вспрыснул эфир под кожу, колол булавками ноги, зеркало к губам приставлял...

— Живая она! — так и вертится в мозгу...

Упросил я свечи убрать, псалтирь в соседней комнате читать (мнимоумершие слышат иногда) и не назначать похороны, пока от трупа не пойдет запах...

— Все, все сделаем! — твердил молодой батюшка, провожая меня и обещая тотчас же послать вторую подводу за доктором с моим подробным письмом об этом случае...

Вернувшись домой, когда уже совсем рассвело, я заснул мертвым сном и проспал до полудня. Из окна моей спальни видно было новое, еще не заросшее кладбище.. Я был поражен непривычной толпой собравшегося туда народа и поспешил осведомиться у своей всеведущей кухарки.

— Батюшкину дочку хоронили! — успокоила она.

Я вскочил и бросился, в одном нижнем белье, спешно писать телеграммы: становому, исправнику, доктору, следователю...

Никто не решился, однако, впутаться в это деликатное дело и, основываясь только на одних моих показаниях, вырыть могилу...

Через 10 лет умерла старая попадья, завещав схоронить ее рядом с дочкой...

Когда копали могилу, мужики, слышавшие про похороны «живой», о чем, не переставая, говорила вся округа, — тронули и ее гроб. Он почти весь истлел, но было ясно видно, что крышка его сдвинута и из-под нее торчат часть головы и вся рука, ставшие уже скелетом.

Маша проснулась... Ужасное пробуждение совершилось слишком поздно...

Василий Ярославец

ЛЮБОВЬ К МЕРТВОЙ

— Так, по-вашему, со мной в жизни не случалось ничего страшного?

Я — ординарен, обыденен и ни к чему таинственному не причастен? Ну, так вы ошибаетесь, друзья мои! Был и со мной случай, — единственный, необыкновенный, о который разбиваются все доводы трезвого ума.

Тайные силы, сокрытые в человеке, о которых мы так мало знаем или, вернее, ничего не знаем, а о которых только догадываемся, — эти тайные силы руководили мной и заставили меня пережить то, о чем я хочу рассказать.

Говорившему было лет 45-47; это был немногого полный блондин с голубыми добрыми глазами, с копной каштановых волос; упрямый подбородок и насмешливая складочка в углах губ изобличала в нем этакого себе на уме субъекта; такие типы часто встречаются в славянской расе, они как будто говорят: я добр, и простоватым кажусь, но палец мне в рот класть не советую, да и мозоли мои прошу оставить в покое, лучше будет!

Приятели-рыболовы дали место, Иван Владимирович расположился, выпил походный стаканчик, закусил и, заскутив, начал.

— Было это годов двадцать пять тому назад, я тогда носился с идеалами, родственную душу искал, значит, горел любовью к людям и все прочее, что полагается, был я вполне нормальным, никаких физиологических извращений у меня не было, крепыш и здоровяк, каких немногого, а идеалист, как институтка.

В большом я городе жил тогда, на Волге, дело одно изучал, знакомых было мало, да я не подходили они к моим понятиям о человеке, уж слишком реально, по-коммерчески, смотрели на жизнь человеческую, и скажу еще, что тогда я подругу искал и чист был, как Иосиф Прекрасный; пристукало меня одиночество мое, глаза мои останавливались на каждой хорошенькой особе женского пола, искал я идеала своего, значит, и, конечно, не находил, да и мудрено мне его было найти — уж очень я был робок в обществе женском.

Идя один раз на занятия, я встретил похороны, хорошили девицу, гроб барышня несли молоденькие, гроб был розовый, много было фиалок и лилий. Поравнялся со мной гроб, и вот тут-то что-то меня остановило, я прирос к тротуару, внутри властно заговорило — не рассудок, не любопытство поглязеть — нет, голос говорил, приказывал:

«Она, подруга твоя, тут в гробу, проводи ее!»

Я пошел за гробом и выстоял панихиду, оцепенелый, неподвижный, с одним желанием видеть мое умершее счастье, заглянуть в гроб.

Облокотясь о края гроба, я наклонился над умершей, я не верил, что она умерла, но мертвенная синева в лице и окостенелая худоба ясно говорили — жизнь отлетела.

Я наклонился и поцеловал покойницу мучительным долгим поцелуем, поцеловал в губы. Я не ощущал трупного запаха, ого не было, но холод смерти скжал мне сердце, и едва я оторвал свои губы от губ мертвой, как услышал шепот: «Ты придешь. Придешь, чтобы еще раз поцеловать меня...» Я ясно уловил вздох...

Я сам превратился в труп, все внутри меня замерло, похолодело, мои глаза впились в лицо покойницы, и я увидел чуть заметное подергивание губ, мертвых губ... Я видел! Видел! Побежали мысли одна другой нелепей, одна другой кошмарней...

Неужели легенда о вампирах-упырях и ведьмах, — не легенда, а явь? Неужели я во власти одного из них, неужели я жертва его похоти? Я целовал вампира, значит, его власть надо мной почти неограничenna!..

Ошеломленный и безгласный, стоял я ...

Меня привел в себя заплаканный старик — отец покойницы, он отвел, вернее, оторвал меня от гроба, он что-то говорил, утешал... Я слышал только, что Лена, — так звали покойницу, — умерла неожиданно, никто не ждал этого и вот... старик заплакал, слезы, как бисеринки хрустальные, катились по бороде, усам, в них играл огонь свечей и лампад и отражалось золото риз. «Ее нет! Нет Лены. Тroe суток она лежала дома, мы думали, спит — доктора сказали....» Старик не мог говорить.

Гроб остался на ночь в церкви, завтра его поставят в склеп.

Церковь постепенно пустела, вышел и я.

Как лунатик, бродил я по городу. Что мне эта мертвая девушка, незнакомая, никогда не виденная мною? Но отчего так ноет и болит сердце, какая сила вмешалась в мою судьбу и зачем она поставила мертвую рядом со мною?

Ответа я не находил.

Я зашел в какой-то садик ресторана. Лакей поставил передо мной пиво, и я уловил странный и испуганный взгляд, который он бросил на меня украдкой.

Мысля путались, терялись, но одна настойчиво все более и более овладевала мозгом, и я понял! Понял, но это было так чудовищно и противоестественно, так не похоже на жизнь.

Да. Я боялся сознаться самому себе, что я влюблен в мертвую, которую только сегодня увидел и целовал в гробу. Нет, даже не влюблен, а люблю, люблю... мертвую!..

Было уже поздно, когда я вышел из ресторана. Идти, идти туда, в храм, проститься и еще раз поцеловать...

И я пошел.

Церковь была открыта, слабо мигал огонь от немногих свеч, было темно в углах и в алтаре, воздух был тяжел и удущлив.

Сторож прикорнул в притворе.

Гроб выделялся темнеющим пятом, я подошел к нему, монахиня, которая читала псалмы, вышла. И я остался один.

Поднявшись на ступеньки, я долго-долго смотрел в лицо мертвый.

— Ты уйдешь и никогда, никогда не вернешься...

Я протянул руки. Ты уходишь. Прощай! И опять то же состояние раздвоения охватило меня и желание взять поцелуй, ее мертвый поцелуй, толкало меня к мертвым губам: пусть он останется со мной на всю мою жизнь, другой женщины я не поцелую, он будет прощальный и последний!

Мои слезы падали на сложенные руки покойницы, страшная, наблюдающая смотрела она на меня сквозь опущенные веки, закрытый взгляд ее отдавался во мне.

И опять мысль, что предо мной вампир, стала предо мной, но сдержаться я не мог, руки мои обхватили ее голову, приподняли, губы мои приникли к устам мертвой, я впился в них мучительным поцелуем...

Страшный, нечеловеческий крик разнесся под сводами храма... Предо мной мелькнули раскрытые глаза, холодные, неподвижные; скорее почувствовал я, чем увидел, как взмахнули руки мертвой и хлестко сомкнулись надо мной, прижав меня к своей груди, холодной, обреченной могиле и тлению.

Очнулся я в больнице, больше месяца я был между жизнью и смертью. Но вот я жив и, как видите, не потерял расудка...

— А она? Она — мертвая? Где же она и что это было?

Рассказчик прищурился и лукаво протянул:

— Мертвая...

— Да не томите!.. Ну что за манера!..

— Она похоронила себя, выйдя за меня замуж и вы не раз целовали этой мертвой руки и вели с ней беседу, не подозревая, что с вами говорит покойница.

У нее была какая-то особенная летаргия — доктора ее не знают: у уснувшего в этой летаргии никаких признаков жизни, он совершенный труп, но уснувший живет и мучается. Что сравнится с этими муками, что?..

Она внушала мне и приказывала, облекла меня своей душой и руководила мыслями, я был ее частью. Я светился любовью и был чист.

Что она пережила, того не дай Создатель никому испытать, словами не скажешь...

Ну, вот вам и мое страшное. Не знаю, понравилось ли только, а теперь стать пора... на боковую. По погоде судить, — утром клев важный будет.

КОММЕНТАРИИ

Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.

Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.

В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 использованы работы С. П. Лодыгина.

П. Зайкин. Проклятый замок

Впервые: *Журнал-копейка* (СПБ.). 1909. № 2.

С. 14. ...«*И, может быть, на мой закат печальный*» — цит. из «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье...») А. С. Пушкина.

А. Оссендовский. Сочельник в старом замке

Впервые: *Жизнь и суд*. 1913. № 15.

А. (Антоний Фердинанд) Оссендовский (1876-1945) — польско-русский писатель, ученый, журналист, путешественник и авантюрист, человек с запутанной биографией, автор ряда фантастических и приключенческих произведений на русском и десятков книг на польском языке. Получил всемирную известность благодаря беллетристическо-документальной книге *И звери, и люди, и боги* (1922) о гражданской войне в Сибири и Монголии и бароне Унгерне.

С. 24. *Tenez!* — здесь: «Держите ее!»

Б. Никонов. Легенда старого замка

Впервые: *Светоч.* 1910. № 1. Илл. на с. 53 (из ориг. издания) с картин М. Малышева.

Б. П. Никонов (1873-1950) — прозаик, поэт, журналист. Сын председателя съезда земских начальников Вятской губ. Получил юридическое образование в Петербургском университете, был присяжным поверенным Судебной палаты (с 1910). С 1891 г. публиковал в периодике стихи, очерки и рассказы. В 1920-х гг. продолжал выступать с рассказами рассказы, опубликовал два романа, после этого не публиковался.

Б. Никонов. Лунный свет

Впервые: *Аргус.* 1914. № 15, март.

С. 56. *O, если правда, что в ночи...* — Цит. из «Заклинания» А. С. Пушкина.

С. 60. *Кларимонда* — имя вампирической красавицы из новеллы Т. Готье *La Morte amoureuse* («Любовь мертвой красавицы, 1836), с которым и соотнесен рассказ.

С. 80. *Ни жизнь, ни сон...* — Искаж. цит. из «Демона» М. Ю. Лермонтова, в оригинале «Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!...».

Б. Никонов. Легенда о фортепиано

Впервые: *Огонек.* 1914. № 13, 30 марта (12 апреля).

М. Розенкноп. Легенда о разбитом рояле

Впервые: *Пробуждение*. 1908. № 1.

М. Розенкноп (1876-1914) — беллетрист, печатался в периодике 1900-х – 1910-х гг.

М. Розенкноп. Ганнаккуллу

Впервые: *Пробуждение*. 1911. № 10.

Б. Реутский. Царица Земли

Впервые: *Журнал-копейка* (СПб.). 1909. № 19.

Б. Реутский – псевдоним издателя, прозаика, поэта Б. А. Катловкера (1872 – после 1944). Сын казенного раввина Кишинева, выпускник медицинского отделения Киевского университета. Работал врачом в Кишиневе. Один из основателей изд-ва «Копейка» и одноименного акционерного общества, выпускавшего *Газету-копейку* и многочисленные журналы-приложения, многие из кот. Катловкер редактировал. После революции возглавлял редакции газ. *Батрак* и *Рабочая газета*. В 1930-х гг. работал в изд. «Молодая гвардия», позднее в изд. Академии архитектуры СССР. Автор книги стихов, авантюрных романов, рассказов.

Б. Реутский. Сосед

Впервые: *Всемирная панорама*. 1911. № 91, 14 января.

П. Громадов. Черный дог

Впервые: *Волны*. 1912. № 10, октябрь.

Д. Михайлов. Ярчук

Впервые: *Журнал-копейка* (СПб.). 1910. № 101.

Возможно, «П. Громадов» и «Д. Михайлов» — псевдонимы писателя и журналиста М. М. Асса (1874-1941), публиковавшегося до революции в многочисленных тонких иллюстрированных журналах Петербурга под псевдонимами «М. Михайлов», «Лев Максим», «Михаил Раскатов» (под последним опубликовал цикл романов о благородном разбойнике Антоне Кречете).

П. Дмитриевич. 13

Впервые: *Журнал-копейка* (СПб.). 1911. № 107/4.

А. Королев. Ужас

Впервые: *Журнал-копейка* (СПб.). 1915. № 313/3.

Д. Цензор. Удавленники

Впервые: *Журнал-копейка* (СПб.). 1916. № 375/13.

Д. М. Цензор (1877-1947) — поэт, прозаик. Сын портного. В 1900-х гг. учился в петербургской Академии художеств и на филологическом факультете Петербургского университета. Входил в многочисленные художественные объединения, тяготея к символизму. Автор сб. стихов *Старое гетто* (1907), *Крылья Икара* (1908), *Легенда будней* (1913) и др. В 1910-х гг. издавал журнал *Златоцвет*, редактировал *Альманахи стихов, выходящие в Петрограде*. В советские времена публиковал в основном детские, сатирические и агитационные стихи.

Н. Айлев. Призраки

Впервые: *Журнал-копейка* (М.). 1912. № 20/148.

Н. Киселев. Видение

Впервые: *Журнал-копейка* (М.). 1912. № 20/148.

Видимо, автор — литератор Н. Н. Киселев (1894 — ?), публиковавшийся в периодике 1910-х гг., автор книги рассказов *Мира-жи* (М., 1911).

Н. Киселев. Реклама

Впервые: *Журнал-копейка* (М.). 1911. № 49/126.

Б. Никонов. Страшная книга

Впервые: *Нива*. 1906. № 1, с подз. «Новогодний рассказ».

С. 202. ...«*Räubergeschichten*» — «Истории о разбойниках» (нем.).

С. 205. ...картина Штука «*Die wilde Jagd*» — Имеется в ви-ду «Дикая охота» немецкого художника, скульптора и архитек-тора Ф. фон Штука (1863-1928).

А. Измайлов. Книга семи печатей

Впервые: *Огонек*. 1912. № 52, 25 декабря (7 января 1913).

А. А. Измайлов (1873-1921) — литературный критик, прозаик, поэт, пародист. Сын дьякона, окончил курс Петербургской духов-

ной академии. Печататься начал в 1895 г. как беллетрист, с 1897 г. широко публиковался в периодике, с 1916 г. редактировал газ. *Петербургский листок*. Завоевал широкую известность как критик, выступавший вместе с тем против радикального модернизма и авангарда, и пародист (сб. *Кривое зеркало*, 1908, и *Осиновый кол*, 1917). Менее известен как прозаик, нередко склонный к мистической фантастике. После революции занимался культурно-просветительской работой, читал лекции о литературе.

С. 210. ...*знаменитый Савицкий* — А. И. Савицкий (1886-1909), атаман разбойничье-анархической шайки, действовавшей в начале XX в. в Черниговской и Могилевской губерниях; убит в перестрелке с полицией.

А. Измайлова. Букинист

Публикуется по авторскому сб. *Осени мертвых цветы за-поздалые: Рассказы* (СПб., 1906).

С. 224. «Прежде ... тя» — «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя» (Ин. 1:48).

С. 225. «Худородная мира ... посрамит» — «Незнатное мира и униженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 1:28).

С. 226. ...*певца Стравинского* — Ф. И. Стравинский (1843-1902) — оперный певец, с 1876 г. солист Мариинского театра, отец композитора И. Стравинского.

А. Измайлова. Хиромантик

Публикуется по авторскому сб. *В бурсе (Бытовая хроника в двух частях): Третья кн. рассказов* (СПб., 1903).

С. 242. *Homo sapiens dominabitur astris* — Мудрый будет повелевать звездами (лат.).

С. 251. ...*Терсит* — букв. «дерзкий», в древнегреч. мифологии один из греков, осаждавших Трою, человек уродливый и заносчивый, который постоянно поносит других.

С. 261. ...*Преториуса* — Возможно, имеется в виду немецкий пастор и богослов А. Преториус (1560-1613), который в своем *Подробном отчете о ведьстве и ведьмах* (1598) выступал против пыток и преследований ведьм.

С. 261. «Уж том скажи любви конец...» — Цит. из «Горя от ума» А. С. Грибоедова.

А. Измайлов. *Odor mortis*

Публикуется по авторскому сб. *В бурсе (Бытовая хроника в двух частях): Третья кн. рассказов* (СПб., 1903).

А. Измайлов. *Пьяный яд*

Впервые: *Огонек*. 1913. № 51, 22 декабря (4 января 1914).

С. 273. ...*in anima vili* — на малоценном организме (*лат.*).

А. Измайлов. *Гомункул*

Публикуется по авторскому сб. *Кривое зеркало: Пародии и шаржи* (СПб., 1914).

А. Измайлов. *Кто он?*

Публикуется по авторскому сб. *Избранные рассказы* (СПб., 1913).

Н. Энг. Зеркало

Впервые: *Синий журнал*. 1916. № 26.

Возможно, автор — прозаик, поэт, публицист, лит. критик Н. А. Энгельгардт (1867-1942).

В. Анзимиров. Ужасное пробуждение

Впервые: *Журнал-копейка* (СПб.). 1909. № 8.

В. А. Анзимиров (1859-1921) — писатель, издатель, промышленник, просветитель. Незаурядная и многогранная личность. Сын полковника Корпуса горных инженеров, в молодости революционер народник, позднее основатель российской промышленности фосфорных удобрений, издатель семейства газет *Копейка*, публицист, общественный деятель, организатор Общества деятелей периодической печати и литературы. Во время Гражданской войны находился в Сибири, примкнул к белому движению. В сентябре 1921 г. пропал без вести вместе с экспедицией в Горный Алтай, организованной созданным им в Ново-николаевске (Новосибирске) Музеем мироведения.

В. Ярославец. Любовь к мертвотой

Впервые: *Синий журнал*. 1916. № 17.

Оглавление

П. Зайкин. Проклятый замок	8
А. Оссендовский. Сочельник в старом замке	19
Б. Никонов. Легенда старого замка	26
Б. Никонов. Лунный свет	55
Б. Никонов. Легенда о фортепиано	87
М. Розенкноп. Легенда о разбитом рояле	97
М. Розенкноп. Ганнаккуллу	103
Б. Реутский. Царица Земли	118
Б. Реутский. Сосед	124
П. Громадов. Черный дог	135
Д. Михайлов. Ярчук	144
П. Дмитриевич. 13	148
Ал. Королев. Ужас	154
Д. Цензор. Удавленники	160
Н. Айлев. Призраки	169
Н. Киселев. Видение	174
Н. Киселев. Реклама	181
К. Как я был лилипутом	185
Б. Никонов. Страшная книга	191

А. Измайлов. Книга семи печатей	202
А. Измайлов. Букинист	213
А. Измайлов. Хиромантик	235
А. Измайлов. <i>Odor mortis</i>	250
А. Измайлов. Пьяный яд	264
А. Измайлов. Гомункул	278
А. Измайлов. Кто он?	287
Н. Энг. Зеркало	298
В. Анзимиров. Ужасное пробуждение	307
В. Ярославец. Любовь к мертвой	313
К о м м е н т а р и и	318

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.